

Дария Беляева

Жадина

Третья и предпоследняя часть тетралогии о Марциане и его семье. Марциану и его друзьям предстоит столкнуться с загадочным миром, преследующим Нису, отправиться в ее страну для того, чтобы найти ответы и узнать тайны, которые связывают Марциана и Нису еще крепче.

Глава 1

Когда философы, которые пишут книжки и формируют культуру спросят меня, что такое счастье, я им скажу: значит так, счастье, это когда все, кого я люблю здоровы, не сошли с ума (или сошли с ума не больше обычного, как папа и сестра), не плачут и радуются тому, что происходит вокруг.

Но самое большое, самое эгоистическое счастье — это когда все они вместе.

Я спрошу у философов, бывало ли у них приятное ощущение, когда они познакомили двух своих друзей, и те находили общий язык. А потом попрошу их умножить это ощущение во много-много раз.

Это и получится счастье.

Атилия мне говорит:

— Вот ты и впереди, старший брат.

Но вместо того, чтобы наткнуться взглядом на ее зубастую улыбку, я вижу, что у нее глаза сияют.

— Это не только я, — отвечаю. — И даже не столько я. Но я молодец.

Я ведь спас папу. Папа здесь, и он снова самый лучший в мире. Здесь моя мама, и она не плачет. Здесь моя сестра, и она не злится. Здесь мои друзья, верные и поверившие в меня, помогавшие мне до самого конца.

Все хорошо, и мы остались вместе. Словно фильм закончился, и мы сидим, после того как прошли титры, в совершенно идеальном мире.

Когда папе стало лучше, он сам попросил пригласить моих друзей на ужин. Он сказал, что хочет увидеть их, потому что они спасли его вместе со мной. Мои друзья — герои, и я герой. Папа умеет дать каждому поверить в то, что он сильный и смелый, а люди от этого такими и становятся.

В тот день он, еще слабый, усталый и бледный, как Ниса, сказал мне самую удивительную вещь, которую я когда-либо слышал. Папа сказал:

— Я горжусь тобой, Марциан. Если какая-то сила на земле и могла мне помочь, то это была вера. В самое невозможное на свете. И если хоть один человек мог мне помочь, то это непременно должен был быть ты. Я люблю тебя, Марциан.

Папа часто говорит, что гордится мной. И часто говорит, что любит меня. Так что, начало и конец были для меня и радостными, и привычными. Но я никогда не думал о себе, как о ком-то по-настоящему особенном. А тогда подумал. И это было здорово быть кем-то специальным. Способным на невозможное.

Мама отпустила прислугу и сама ухаживала за папой. Теперь не потому, что боялась, как бы кто не узнал, а потому, что хотела быть рядом.

Мама сказала мне вот что:

— Марциан, мой милый, ты наша награда за все. Я так счастлива, что ты у нас есть. Чтс бы я ни сказала тебе, этого никогда не будет достаточно.

Она сияла, а потом вдруг погасла. Глаза у нее стали грустные, потому что она вспомнила. Я сказал:

— Это было неправильно. И правильно. Потому что без безумства я не спас бы папу.

— Марциан, я никогда не хотела, чтобы тебе было больно.

— Поэтому мне не больно, — сказал я. — Тебе не больно, если мне не больно?

Она покачала головой, стала хрупче обычного, как прозрачная. Я знал, что этот разговор никогда не повторится вновь, и я хотел закончить его правильно. И она хотела закончить его правильно. Когда два человека не хотят причинять друг другу боль, они выглядят как прохожие, которые не желая сталкиваться, никак не могут разойтись.

Она сказала:

— Прости меня.

А я сказал:

— Прости меня.

И мы сделали это одновременно, и оказалось, что голоса и интонации вышли до ужаса похожими.

А сестра ничего не сказала мне раньше. А теперь она говорит:

— Поздравляю тебя, теперь твой портрет не будут держать в подвале.

— А у меня есть портрет? — спрашиваю я.

— Да, но мы тебя стыдились, — шепчет она, чтобы родители не услышали, а потом подмигивает мне, и мы оказываемся совсем маленькими, а она задира, несмотря на красную помаду для утонченных женщин. Я высовываю язык, Атилиа стучит пальцем по виску.

Так меня хвалит сестра. Я понимаю, что собрал все похвалы, и это заставляет меня радоваться, как будто у меня есть коллекция чего-то очень дорогого и хрупкого. Офелла бы меня поняла, но она слишком занята, рассматривая столовые приборы. Наверное, думает, какой вилкой есть. Я думаю подсказать ей, но когда Офелла поднимает взгляд, чтобы посмотреть, кто как справляется с выбором вилки, папа проводит рукой над длинной батареей столовых приборов и выбирает наугад, подмигивает ей, тогда Офелла вдруг улыбается.

На самом деле она могла бы и не переживать, потому что за столом творятся вещи намного более чудовищные с маминой точки зрения. Ниса вот перекладывает свою еду в мою тарелку. Я столько съесть не смогу, поэтому планирую передать ее Юстиниану.

Вообще-то Юстиниан в нашем плане уже задействован. Он отвлекает маму, папу и Атилию рассказом настолько красочным, что он совершенно не похож на правду.

— Казалось, мы бежали целую вечность, — говорит Юстиниан. — Лес становился все темнее, все выше, нам казалось, что мы стали меньше в этом огромном, антиантропном пространстве. Я не знал, который час, и уже почти не помнил, что я здесь делаю. Но мы, словно дикие звери, продирались все дальше в чащу, руководимые смутным желанием добраться в место, которому и названия-то нет.

Вообще-то у места было название, но я решаю не поправлять Юстиниана.

Мама, папа и сестра выглядят как дети, которым рассказывают страшилки, а Юстиниану не хватает только фонарика, свет которого расставит тени на его лице самым жутким образом.

Ниса заканчивает транспортировку овощей, которую папа и мама, я знаю, все равно заметили, и говорит:

— Серьезно, ты что нашел похожую историю в каком-нибудь журнале?

— Нет, я напишу эту в какой-нибудь журнал, — говорит Юстиниан.

— О, Юстиниан, — говорит мама. — Ты теперь и писатель? Я бы с радостью прочитала что-нибудь в твоём исполнении.

— Я занимаюсь всем известным человечеству творчеством. Даже скучными вещами.

Шью лоскутные одеяла, к примеру, или оправдываю субъектно-объектное разделение, когда мне скучно в поезде.

Мама смеется, потом просит:

— Пожалуйста, продолжай, Юстиниан.

И хотя они слышали эту историю сначала от меня, затем от Нисы, а в начале вечера еще и от Офеллы, кажется, им все равно нравится. Никто из моих друзей не рассказывает об испытаниях, которые им пришлось преодолеть. Я хорошо понимаю, почему. Каждый из них нарушил волю своего бога ради нашей дружбы и нашей общей цели. Это вещи, о которых не говорят вслух, даже если все случилось понарошку. Наш маленький секрет. Их большая жертва.

Я благодарен им, и так хочу, чтобы у них все было хорошо.

Все совершенно не похоже на обычный прием гостей. Все улыбки — настоящие, смех громче, вилки звонче ударяются о тарелки. Офелла нервничает, но даже ее волнение радостное. Она множество раз повторяла мне, что никогда не думала оказаться за императорским столом, что не мечтала увидеть самого императора, что не знает, как одеться и как говорить.

Все оказывается простым и правильным, потому что сегодня все говорят, как хотят. Папа сказал, что мы справляем его второй день рожденья, и все сразу стало очень легко, все расслабились, как будто он произнес какие-то волшебные слова.

Все веселятся, а мама даже особенно, лихорадочно радостная, и мне кажется, что это оттого, что иногда она смотрит на Нису, и ее сердце бьется как-то иначе, чем всегда.

— Ниса, дорогая, — говорит мама, когда все устают восхищаться рассказом Юстиниана. — Ты ведь останешься еще на некоторое время? Нам бы так хотелось, чтобы ты погостила у нас. Мы рады, что Марциан нашел такую отважную девушку.

Я думаю, что теперь Ниса может ничего не скрывать, потому что все мы дома, как будто даже одна семья.

— О, — говорю я. — Раз мы все выяснили, я хочу сказать, что Ниса не...

В этот момент она целует меня в губы, быстро, почти по-дружески, но я понимаю, что мы все еще скрываем настоящую Нису.

— Не просто моя девушка, — заканчиваю я. — А прямо любовь. Вот.

— Но я тоже претендую на ее сердце, — говорит Юстиниан. Я хочу сказать, что в таком случае я собираюсь пригласить на свидание Офеллу, но тогда все получится совсем неловко, а мама с папой ничего не поймут.

Папа смотрит куда-то поверх нас, взгляд его блуждает, и в то же время кажется удивительно цепким.

— Думаю, сейчас подадут десерт, — говорит он. И все смеются, потому что ожидали чего-то совсем другого, какой-то серьезной, торжественной фразы, такое у него было лицо. Становится еще смешнее, когда десерт именно в этот момент и подают.

Офелла становится, словно девочка, которую впервые привели в магазин игрушек, когда видит, как пошатываются радужные пирамидки фруктового желе, как возвышается торт, покрытый шоколадной глазурью и сахарными жемчужинами, как сияют бока фруктов, и гребни взбитых сливок, как барашки на вершинах волн, украшают ягоды.

— Я просто обожаю сладости, — говорит она, а потом прижимает руку ко рту, словно у нее вырвалось нечто неприличное. Юстиниан смеется, но я толкаю его ногой под столом. Получается, правда, что задеваю и Атилию, так что она бросает на меня испепеляющий

взгляд, ожог от которого мне приходится тушить мороженым. Мороженое вкусное, шоколадное, так что, в конце концов, оно того стоило.

Мама говорит:

— Сладости, это чудесно, дорогая. В мире не так много вещей, способных с ними сравниться.

Офелла как будто даже напугана тем, что к ней обращается императрица, и мама вдруг говорит вещь личную, которую в другой обстановке никогда бы не произнесла.

— Я знала твоих родителей, — говорит мама. Голос у нее становится задумчивый и нежный, таким она обычно говорит только со мной или Атилией. — Твоя мама была младше тебя, когда мы с ней познакомились. Она была чудесной, очень непосредственной, и многому меня научила.

— Я тоже ее знал, — говорит папа. — Она жила здесь некоторое время, с нами.

— Да, — говорит Офелла, и впервые за вечер она кажется очень спокойной. — Мама говорила мне о вас обоих. Я, если честно, считала, что она выдумывает. Вы были героями моего детства. Это удивительно, как будто я увидела персонажей из сказки.

И, испугавшись своей откровенности, Офелла принимается разделявать на полосы радужное желе в тарелке.

— Тогда, — говорит папа. — Тебе совершенно не нужно стесняться нас. Мы старые друзья твоей мамы, чьи приглашения на праздники она упорно игнорировала почти десяток лет.

— Потому что они выглядели жутко, Аэций, — говорит мама

— Я просто писал, что знаю, где они живут и хочу их увидеть.

— Да, — говорит Офелла. — Из-за этого нам пришлось несколько раз сменить место жительства.

И тогда они все втроем смеются, и я думаю, как же удивительно, что Офеллу связывает с моими родителями мне незнакомое прошлое. Удивительно и чудесно, как могут быть переплетены человеческие судьбы, словно гирлянды у меня над головой. Они мигают разноцветными огоньками, цепляются друг за друга сосудами проводов и делают мир чуточку ярче.

Пахнет сладким, льется и меняется хорошо подобранная музыка, а столовая кажется непривычно теплой, как место, где никогда-никогда прежде не умирали люди, и все так отчаянно и удивительно живы, что ничего нет лучше на свете.

За окном осень становится дикой, гнет к земле кусты в саду, сдирает с них умирающие цветы и, кажется, еще чуть-чуть, и ветер сдует с неба саму луну, как воздушный шарик.

Но здесь, среди моей семьи и друзей, хорошо совершенно невероятно, и я вспоминаю, как обычно говорит мама.

В такие моменты, говорит она, понимаешь, зачем ты появился на свет.

Атилия сказала мне пару часов назад, что столовая выглядит нелепо. Это потому, что я сам ее украшал, сам развешивал гирлянды, ведь у нас праздник, сам вешал воздушные шары, потому что все мы радуемся, что папа снова здесь. Мне кажется, что все вокруг стало таким уютным, как на детском рисунке, где маленькие люди изображают свою большую семью. Я даже решаю, что и гирлянды мне нравятся, хотя висят криво, а мигают через раз, потому что слишком уж их много.

Офелла говорит, вдруг принимаясь водить ложкой по краю тарелки:

— Мама сказала передать, что ей ужасно жаль. И что она просит прощения.

Папа и мама переглядываются, потом качают головами.

— Мы на нее злимся, — говорит папа.

— Ни минуты не злились, — говорит мама.

— Нет, минуту мы злились абсолютно точно.

— Так говорят, мой милый, когда продолжительность чего-то так минимальна, что не имеет значения.

— Это погрешность. Мне так не нравится.

А я боялся, что больше никогда не увижу, какие они смешные вместе. Мне кажется, что Офелла, Ниса и Юстиниан правда им нравятся. Обычно мама и папа позволяют себе быть такими только при мне и Атилии.

— Кстати, — говорит Юстиниан. — Офелла мечтала остаться здесь на ночь, если мы засидимся.

Офелла издает звук средний между смехом и писком, затем говорит:

— Он просто шутит.

Взгляд у нее такой, будто сейчас она воткнет в Юстиниана вилку, но все обходится без насилия.

— Конечно, — говорит мама. — Мы с радостью примем тебя на ночь, я велю приготовить тебе комнату.

— Я исполнил твою мечту, а ты хочешь воткнуть это мне в сердце! — говорит Юстиниан. — Без меня бы ты не решилась, правда?

Я смотрю на лезвие ножа, в котором тонут огоньки гирлянды, как синие, красные и желтые звезды на металлическом небосводе. Так красиво, что можно вечно любоваться. Мне кажется, я могу совсем ничего не говорить, просто слушать. Ниса улыбается, а потом вдруг становится грустная. Может быть, скучает по своим родителям. Я беру ее холодную руку, и она смотрит на меня, в глазах у нее сосуды, давно наполненные только моей кровью.

От света гирлянд белки ее глаз кажутся изменчивыми, то радужными, то синеватыми и темными. Ниса ничего не говорит, но глаза у нее веселеют. Тогда я понимаю, что ей одиноко без собственных родителей. Она вправду скучает.

Дом — самое лучшее место, и когда твой дом за морями, накатывает тоска. Я хочу, чтобы она поняла, что и здесь ее место, потому что мы друзья. Ниса начинает качаться на стуле с видом самоуверенным и вызывающим, будто ничто на свете не может ее задеть. Я придерживаю спинку ее стула, потому, что не хочу, чтобы она упала, да еще в таком настроении.

Когда всем достается по первому кусочку торта, а у меня во рту сладко и прекрасно от сливочной помадки с патокой, папа поднимается и говорит:

— Раз уж все попробовали торт, и я никого ни от чего не отвлекаю, пришло время сказать скучные слова благодарности. Вы сможете это перетерпеть?

Самое смешное в папе то, что он всегда спрашивает странные вещи очень серьезным тоном, как будто вправду нет ничего важнее ответов на вопросы, на которые неловко отвечать.

— Да, — говорит папа, так и не дождавшись ответов. — Я приму и молчаливое согласие. Я хочу сказать, что вы смелые молодые люди, и мне повезло, что у моего сына есть такие друзья, а у меня самого такой сын. Это чудесное совпадение позволило мне продолжить жить на этой земле. Без сомнения, это лучший подарок на свете. И за него мне совершенно нечем вам отплатить. Все, что я могу дать вам, это деньги, а деньги, как

известно, не приносят счастья сами по себе. Но, уверен, вы сумеете распорядиться ими правильно, а это значит в свое удовольствие. Вы же подарили мне настоящее счастье, счастье быть со своей семьей и делать то, во что я верю. Спасибо вам, друзья.

— А большие деньги? — спрашивает Ниса. Папа улыбается, потом пожимает плечами:

— Эквивалентные полному курсу обучения в государственном университете на факультете медицинской техники.

Офелла снова издает этот странный писк, будто у нее в груди сидит резиновая игрушка. Только теперь звук кажется пронзительнее и отчаяннее.

— Прошу прощения, Ниса и Марциан, что и ваши чеки снабдил этим пояснением. Ты слишком изменчив и непостоянен, а ты довольно загадочна, поэтому я не мог придумать, что записать в графе "назначение", а там ведь нужно что-нибудь записать. Никогда не могу оставить пустую графу, это основная причина моих проблем с документами.

Ниса склоняется ко мне и шепчет с восторгом:

— Ты представляешь, сколько вещей можно купить?

Юстиниан говорит:

— Пожалуй, куплю подлинник какой-нибудь культурно значимой картины и прилюдно ее сожгу.

Папа говорит:

— Да, я мог бы догадаться. Стоило это и записать.

Я люблю, как папа говорит. Когда он не с народом, голос у него тихий, сдержанный, словно бы и лишенной всякой силы. Вся она хранится в потенциале где-то у него внутри, готовая выплеснуться, когда ему будет нужно. Он словно бережет ее или боится использовать не по назначению, оттого кажется потерянным и задумчивым, как доброе привидение. Он строгий правитель и может быть очень жестоким, но иногда мне кажется, что добрее него никого на свете нет, хотя большинство принцепсов и преторианцев так не думает.

— В любом случае, — говорит папа. — Вы подарили мне много больше, чем я вам. И я всегда буду благодарен. Теперь, когда я буду вспоминать, как хрупка и беззащитна подчас наша жизнь, то мне будет приятно думать о том, как сильны в противовес этой хрупкости люди.

И это такое правильное завершение всей истории, такая идеальная мораль всего, как в настоящей сказке, что я физически ощущаю, как все прошло, даже со стула едва не падаю от этого ощущения.

Мы хлопаем папе, но на самом деле и себе тоже. Лица у нас становятся самодовольные, а мама и Атилия восхищены и радостны тому, какой счастливый у всего конец.

Теперь все становятся еще веселее, чем в начале вечера, даже Ниса. Шутят и смеются, а я смотрю на гирлянды и насвистываю. Мне хочется, чтобы время остановилось, и Юстиниан исполняет мое желание. Он фотографирует нас. Этот день будет сохранен навсегда, а вместе с ним и рассеянный папа, и счастливая мама, и довольная мной Атилия, и смеющаяся Ниса, и пытающаяся пригладить непослушные светлые волосы Офелла, и даже Юстиниан, неловко влезший в свой собственный кадр.

И я сам. Но сам я не так важен, потому что останусь с собой навсегда.

За окном начинается дождь, капли бьются о стекло, как чьи-то слабые пальцы, и на улице наверняка совсем холодно, а злой ветер гоняет по ночному небу одинаковые грозовые тучи.

А мы веселимся, и даже Офелла и Ниса больше ничего не стесняются. Маме нравится говорить с Юстинианом, она и сама пишет книги про науку неосязаемую и находящуюся у людей в голове, поэтому она хоть немного его понимает.

— Я представляю, — говорит мама. — Что ты имеешь в виду, но если язык не референциален, как ты собираешься пробиться к реальности?

Ниса и Атилия обсуждают сериалы, и оказывается, что вкусы у них похожи.

— У нас передают ваши сериалы, но все время лажают с переводом. А еще бывает смешно, когда парфянские бандиты у нас вдруг оказываются из Кемета.

Офелла и папа говорят о политике и о том, что еще нужно сделать, чтобы преодолеть неравенство. Оно все еще остается большим, потому что такие вещи не исчезают за двадцать лет, и потому что за равенство нужно непрерывно бороться.

— Это не естественное состояние человечества, — говорит папа. — Мы стремимся к установлению иерархии, такова наша природа. Мы должны бороться за равенство. Однажды мы научились бороться за цивилизацию, обуздав инстинкты. Теперь нам предстоит поворот от человеческой природы ничуть не менее серьезный. Поэтому мы не должны строить новую иерархию, где угнетатели становятся на место угнетаемых. Мы должны разрушить эту систему в принципе. Это долго. Но это приведет нас к миру по-настоящему справедливому.

А я иногда протягиваю руку и касаюсь ножом одной из лапочек над моей головой. Она синяя, и от ее света нож кажется льдинкой из мультфильма. Я ловлю случайные фразы и соотношу с огоньками надо мной.

Когда говорит мама, я ищу золотые огоньки, когда говорит папа — красные, когда говорит Атилия — синие, а когда Офелла — розовые. Когда говорит Юстиниан, я смотрю на зеленые огоньки, а черных огоньков для Нисы нет, поэтому я ищу белые.

Это хорошая игра, она не скучная и помогает мне слушать много разговоров одновременно.

Мы расходимся далеко за полночь. Папа не любит чужих во дворце, но мои друзья ему теперь совсем не чужие, и это здорово.

Когда мы выходим из столовой, я говорю Нисе, Офелле и Юстиниану:

— Спокойной ночи, ребята. Спасибо, что пришли!

И еще говорю только Офелле:

— И здорово, что тебе понравились мама и папа.

— Ты серьезно? — спрашивает Офелла, ровно таким образом, что я понимаю, сейчас она будет очень и очень зла. Может, папа что-то не так сказал? Она не таким его себе представляла?

Но оказывается, что Офелла выражает радость точно так же, как и злость, только когда радуется, еще и подпрыгивает. Пайетки на ее балетках ловят и отпускают свет.

— Они самые лучшие люди на земле! И я встретила с ними! Твой отец даже еще лучше, чем я себе представляла!

Потом она добавляет:

— Хотя и более странный, чем я себе представляла. Вообще-то таким ему и нужно быть согласно его природе, странно, что я об этом не думала! Но все равно, это невероятно! Я в императорском дворце! Все по-настоящему! Я буду спать во дворце! Проснусь во дворце!

— Не проснешься, — говорит Юстиниан. — Если твое сердечко разорвется от восторга, дорогая.

— Ты ей просто завидуешь, — говорю я.

— Вообще-то я тоже остаюсь.

— Но ты не испытываешь от этого такой радости, потому-то тебе и завидно.

— Ты раскрыл мои карты, дорогой.

— У тебя нет карт.

— У тебя нет понимания метафорической природы языка!

— Прекратите! — говорит Офелла. — Я в полном восторге, поэтому прекратите ругаться! Мне срочно нужно покурить!

Ниса все это время молчит, и только когда Офелла говорит, что хочет покурить, вскидывается.

— Я с тобой.

— Ты же не куришь, — говорю я.

— Я хочу подышать дымом.

Мне это кажется странным, но кто я такой, чтобы судить, хочется ли человеку сидеть в клубах дыма, выпускаемых клубничными сигаретами Офеллы.

— Спокойной ночи, ребята, — говорю я. — Кроме тебя, Ниса. Ты приходи, потому что мы живем вместе. Хотя если я уже буду спать, то и тебе спокойной ночи.

Офелла качает головой, а Юстиниан отправляет мне воздушный поцелуй. Я бы предпочел, чтобы все было наоборот, но жизнь нужно принимать такой, какая она есть (теперь я знаю: кроме тех случаев, когда в опасности те, кого ты любишь).

Сначала я жду Нису в комнате, думая, что нужно поговорить с ней. Она весь вечер странная, неразговорчивая, то веселая, а то грустная. Может, ей одиноко. А, может, она все думает о том, как мы решим нашу проблему. Например, смотрит на моих родителей и представляет, как убьет меня, и оттого ей страшно и печально.

Потом я уйду мыться, думая, что Ниса и Офелла заболтались. Потом я выхожу, расслабленный от горячей воды, и обнаруживаю, что Нисы все еще нет. Я ложусь в кровать, некоторое время смотрю в потолок, а потом мои внутренние часы сообщают мне, что на самом деле прошло очень много времени.

Мои внутренние часы не очень точные, вот почему они так сообщают. Я собираюсь зайти к Офелле, чтобы посмотреть, не в ее ли комнате заночевала Ниса ради разнообразия, но что-то, какое-то чувство, наверное так ощущается интуиция, заставляет меня подойти к окну. Дождь все еще идет, а беззвездное небо накрыто одеялом тяжелых облаков, сквозь которое едва проглядывает луна.

Почти ничего не видно, но именно поэтому движение в темноте привлекает мое внимание. Я не то чтобы узнаю Нису, не то чтобы понимаю, она ли это, но я чувствую, кожей под пижамой, натянутой в груди струной волнения, зудом в голове, означающим приход верного ответа — мне туда нужно.

И это чувство не оставляет мне времени даже переодеться, потому что оно такое огромное, что все становится неважным. Ниса говорила, что между такими, как она и их донаторами есть связь. Я ощущаю ее так хорошо, как никогда прежде.

В столовой еще горит свет, поэтому я выхожу в сад окольным путем, через террасу. Холодно оказывается просто невероятно, а ногам еще и мокро. В следующий раз, думаю я, не буду доверять своим чувствам, по крайней мере так быстро.

Дождь хлещет и холодный, но все становится неважным, когда я вижу Нису. Она сидит прямо на земле, астры, сбитые дождем, склоняются к ней так низко, словно хотят успокоить.

— Ниса! — говорю я. — Тебе плохо? Ты голодная?

Теплый свет, льющийся из столовой кажется нестерпимо далеким в этом насквозь вымокшем саду с поникшими цветами, которым и так осталось совсем недолго.

Я подхожу к Нисе, кладу руку на ее плечо, но она не реагирует на меня.

— Ты плачешь? Я могу тебе помочь? Я не слишком навязчивый?

— Я не понимаю, — говорит она неразборчиво, и я низко склоняюсь к ней, чтобы услышать, отодвигаю астры, чтобы лучше увидеть ее.

— Не понимаешь, могу ли я помочь? Давай вдвоем подумаем, только сначала расскажи, что случилось.

— Нет, — говорит Ниса. — Я не понимаю, почему я хочу плакать. Ничего не случилось. Все в порядке. Но я весь вечер сдерживалась, чтобы не заплакать.

— Я знаю, что так бывает от нервов.

— Мои нервы мертвы, Марциан!

— Совсем нечего бояться, если хочешь плакать.

Я сажусь рядом с ней, смотрю на красные и оранжевые астры, они похожи на зевак, любопытствующих на месте несчастного случая.

— Что плохого в том, чтобы плакать? Ты уже плачешь?

— Нет!

— Тогда поплачь. Может, ты просто расстроилась, но еще не поняла, почему.

Я ее обнимаю, и она кажется мне еще меньше, чем обычно, как будто под дождем она исчезает. Тогда Ниса рыдает, и я глажу ее мокрые волосы, приятные и скользкие на ощупь, стараясь ее успокоить.

— Пойдем в дом? — говорю я через некоторое время, когда мои пальцы кажутся мне предметами, совершенно отдельными от меня и не способными сгибаться в принципе. — Ты там тоже можешь плакать. Хорошо?

Она, наконец, отнимает руки от лица, и тогда я вижу, почему она не хотела плакать. Почему ей нельзя плакать. Почему все это неправильно.

Дорожки на ее щеках не прозрачные от слез и дождя, а черные. Черный в темноте означает в том числе и красный. Они блестят, и они вязкие. Потому что состоят из крови. И капли, набухающие в уголках глаз Нисы — тоже кровь.

Я думаю о болезни, как и все другие люди, ощущаю ужас от одной этой мысли, и в голове моей происходит спазм, становится больно.

Только вот все оказывается еще хуже, чем самый большой страх в истории человечества. Я вижу, как в капле крови Нисы, полной и тяжелой, готовящейся скатиться вниз, что-то шевелится.

— Я плачу кровью?!

Но я уже не могу ей ответить, потому что из капли ее крови выбирается что-то мерзкое. Оно не толще шерстяной нити, похоже на извивающегося червя или на пиявку. Ниса прижимает руку к глазу, но я ловлю ее за запястье.

— Нет, не трогай это!

— Что там?! Оно живое!

Я не знаю, живое ли оно, но оно шевелится. Оно покидает ее глаз, растягивая слезный проток.

— Что там?!

— Длинная и мерзкая штука.

Ниса дергается, но я мотаю головой.

— Подожди, пусть она лучше выползет, чем вернется обратно!

Я отрываю одну из астр, красную, подношу к щеке Нисы, предлагаю существу выползти на нее. Мне не хочется, чтобы оно попало Нисе на руки или в нашу землю.

— Не закрывай глаза, — говорю я. Существо покидает ее глаз, оно падает, извивается между частых, красных лепестков. Нам с Нисой нестерпимо отвратительно, но ни один из нас не успевает этого озвучить.

Потому что меняется все. Я думаю, что мы очень не вовремя оказались в дурацком черно-белом фильме, где оператор совершенно не умеет работать со светом.

Я запрокидываю голову, чтобы понять, почему закончилась ночь, и оказывается, что она не заканчивалась. Небо полно звезд, они — рассыпанные по приборной панели лампочки, вспыхивают и гаснут, и снова вспыхивают.

Но не излучают света. У него нет источника, он ниоткуда не идет. Мы то ли в сумерках, то ли на старой фотографии, все неясно и блекло, все смертельно холодно и ненадежно, а еще периодически погружается в темноту. Я встаю на ноги, поднимаю Нису. Мы на том же месте, в то же время. Золотой свет исходит из столовой.

Но астры не имеют цвета, на небе мигают звезды, а луна путешествует по облакам, словно корабль по морю. В секунды, когда все погружается в темноту, я не чувствую своего тела.

— Это одно из умений твоего народа? — говорю я. — Путешествовать в страшноватое и черно-белое?

Ниса только качает головой. Глаза у нее большие, а лицо испачкано кровью.

— Я не знаю, что происходит. Так быть не должно.

Мы не должны здесь быть.

Но если мы уже здесь, то что мы должны делать? Раньше Ниса не плакала кровью, поэтому ответа на этот вопрос у меня нет. Звезды на небе мигают, ветер не колышет астры и траву, но продирает меня до костей, и даже со звуками что-то совершенно не так. Полная тишина нарушается вдруг шорохами и каким-то странным хрустом. Бывает такой, если наступить на насекомое.

Только окно в гостиную — золотое, настоящее. Я беру Нису за руку, говорю:

— В дом!

— Ты думаешь, в доме все в порядке?

— Там горит свет!

Я смотрю на астру, ее лепестки больше не шевелятся.

— Оно сбежало! — говорит Ниса.

— Давай и мы побежим!

Ощущения совсем другие. Нет, мы не в невесомости, но мне кажется, что мой организм и мир взаимодействуют как-то неправильно. Я не могу этого объяснить, ощущение неприятное. Мы оказываемся в доме куда быстрее, чем должны, словно пространство сжимается, как сложенная вдвое бумажка.

В столовой все снова черно-белое, хотя квадрат окна и изнутри кажется золотым. Мама и папа здесь, но после того, как мы все попадаем в темноту, их уже нет. И все же я слышу их голоса, доходящие до меня, словно сквозь воду.

— Любовь моя, все закончилось. Помнишь, что говорил мой бог? Он едва не разрушил все, мой милый, но Марциан спас тебя. Мы можем больше не ждать наказания. Мы можем жить дальше.

Они снова появляются, и я замечаю, что родители словно их отражения. Бестелесные изображения. Мама сидит на стуле, папа стоит рядом с ней, положив руку ей на плечо, и она гладит его пальцы.

— Мама! Папа! — кричу я.

И Ниса вторит мне:

— Госпожа Октавия! Господин Аэций!

Папа говорит:

— Мне кажется, ты все равно чем-то обеспокоена. Это из-за Нисы? Я тоже заметил, как они похожи.

— Это невозможно, — говорит мама. — Я видела ее тело. Я видела ее сердце вне ее груди. Просто совпадение, правда?

— Без сомнения. Комбинации генов, ответственные за наш фенотип, это лотерея. Есть шанс, что им выпали билеты с похожими цифрами, вот и все. Так бывает.

— Я не волнуюсь об этом.

— Но волнуешься о чем-то другом.

Папа тянет ее за руку, и она встает, прижимается к нему.

Я беру со стола тарелку и швыряю ее на пол. Она разбивается, но осколки не останавливаются, дробятся и распадаются, превращаются в фарфоровый песок, но не замедляются в разрушении, пока я не перестаю видеть их.

Ниса ругается, я беру вилку и прокалываю ближайший шарик. А папа начинает петь. Голос у него прекрасный, глубокий и мелодичный, но сейчас кажется, будто его передает дурное радио. Оно хрипит, срывается в тишину, и снова пускает его в эфир.

Папа прижимает маму к себе, и они, не сговариваясь, начинают танцевать.

А мы с Нисой стоим и смотрим, не в силах ничего сказать. Они не слышат нас, не видят нас, и у нас нет идей, как выбраться, хотя вот они, мои родители, мои родные, которые всегда помогут мне.

Папа поет песню "О, моя дорогая Клементина". Он часто поет ее маме, и их обоих это забавляет, хотя смысл у песни жутковатый. Такая забавная, фривольная песенка из прошлого века с узнаваемой мелодией.

Папа рассказывал нам ее историю. Один варвар влюбился в дочь принцепса, который владел шахтой, где ему случилось работать. Он любил ее так сильно, а потом, может, потому что они не могли быть вместе, а может, потому что она не хотела, утопил ее.

В тот же вечер он отправил письмо в полицию и пришел в кабак. Там он исполнил веселую песню о том, как утонула его дорогая Клементина, и о том, как ужасно жаль, что теперь ее нет.

Из кабака его и забрала полиция. То ли потому, что мотив у песенки был привязчивый, а слова простые, то ли из-за запоминающегося ухода исполнителя, песенка, исполненная лишь один раз, прижилась в народе.

А больше, чем столетие спустя, песенка о желанной принцепской девушке, которую утопил влюбленный варвар, превратилась в гимн Безумного Легиона. Так Клементина стала Империей.

Мне песня никогда не нравилась, потому что она жестокая. Мне всегда было жалко Клементину, и я не понимал, чем эта бедная девушка заслужила смерти.

Еще, наверное, мне казалось, что маму должно обижать такое сравнение. Но в этой песне словно был тайный смысл для них двоих.

Вот и сейчас они танцуют, и когда столовая пропадает в темноте, а потом выныривает из нее, кажется, что они перемещаются с места на место каким-то волшебным образом. Они двигаются слаженно, и как я ни стараюсь шуметь, звать, ничто не может нарушить их танца.

Папа перестает петь, и мамин шаг тут же сбивается, а потом она прижимается к нему и начинает плакать.

— Любовь моя, — говорит она. — Я так боялась, что больше не увижу тебя, я...

Я не понимаю, скажет ли она про нас или про что-то другое, я лишь вижу, как они влюблены друг в друга. Им понадобилось много времени, чтобы этому научиться, но и через столько лет эта любовь кажется мне совсем юной.

Папа склоняется к ней и осторожно целует ее скулы, чтобы успокоить.

Мне становится ужасно неловко, даже больше от того, что это видит Ниса. Ниса, похожая на кого?

— Я не смотрю! — говорит она. — Еще хуже, чем увидеть эротическую сцену, когда смотришь кино с родителями, правда?

Я пожимаю плечами.

— Да, а еще плохо, что мы в каком-то черном-белом месте, где все отражается.

Ниса дергает меня за рукав, указывает пальцем на пол. И я вижу, что он шевелится, под ним что-то ползает. Оно много больше существа, которое покинуло глаз Нисы.

В этот момент мы оба кричим, Ниса бессловесно, а я, с таким отчаянием, как никогда, зову маму.

Она, почти успокоившаяся в папиных объятиях, вдруг напрягается, похожая на испуганного зверька.

— Ты слышал?

Папа смотрит на нее вопросительно, и мама говорит:

— Марциан. Его голос.

Мама тянет папу за руку, безошибочно определяет место, где я стою. Вот только она меня не видит. Смотрит на меня и не видит. У нее делается странный взгляд, расфокусированный, бегающий. Он кажется мне жутковатым оттого, что она не может сосредоточить его на мне, как слепая.

— Мама! — говорю я. — Мама, я здесь! Мы в очень странном месте! То есть, мы прямо-таки тут, но тут стало очень необычным и черно-белым.

Только больше она не слышит меня.

— Он здесь был, — говорит мама. — Я слышала его голос.

— Я не слышал, — говорит папа. — Давай поищем его.

Папа всегда верит людям, как бы сумасбродно ни звучало то, что они говорят. Всегда есть вероятность, считает папа, что даже самые странные истории — правда.

— Откуда шел голос? — спрашивает папа. Мама делает еще пару шагов ко мне, замирает напротив, и мы почти касаемся друг друга.

— Отсюда, — говорит мама. Я пытаюсь схватить ее за запястье, но моя рука проходит сквозь нее, словно ее нет, или она есть, но на каком-то ином, далеком от меня уровне мироздания. Мама хмурится, потом говорит:

— Сначала мы проверим у него в комнате.

Она тянет папу за руку, и они уходят, даже не представляя, как близко от меня находились и как сильно мне нужна их помощь.

Все здесь непостоянное, словно на грани тотального разрушения, кажется, еще чуть-

чуть, и опрокинется сам мир, а наступающая темнота слижет его, как кошка языком.

Я вижу, как расплываются контуры предметов, как бесконечно искажаются звуки, исчезают и появляются вещи. Такое пустое, безрадостное пространство, где все неправильно. А от тарелки, которую я разбил, не осталось даже пыли.

Все здесь находится на тонкой грани между существованием и исчезновением. Я с ужасом думаю о том, что будет, если здесь, скажем, порезать палец.

Все поврежденное разрушается вечно.

— Ты когда-нибудь видела что-нибудь такое? — спрашиваю я Нису.

Она качает головой, потом с ожесточением трет щеки в кровавых пятнах, будто это может помочь.

— И ты тоже не понимаешь, где мы, — говорю я совершенно без вопросительной интонации. Мне кажется, стены дрожат.

— Что нам делать теперь? — спрашивает Ниса. Мы оба хоть немного успокаиваемся, и нам даже удается сесть на стулья перед столом. Мне кажется, будто в стекле стакана что-то шевелится, но я этого не вижу. Или не должен видеть. Может быть, мои органы чувств только пытаются воспринимать все здесь, но едва на это способны.

И я вижу меньше, много меньше чем должен. Эта мысль вселяет в меня беспокойство. Ниса говорит:

— Все началось из-за этой твари!

— Я видел, что в твоём папе были черви. Но тогда взошло солнце. И они были белые. И не такие уж странные. Хотя вообще выглядело очень странно.

— Я не думаю, что это был червь, — говорит Ниса. — Я думаю, это был...

Но она не заканчивает свою мысль, у нее нет подходящего слова. И у меня нет, хотя я с ней согласен.

— Может, постараемся его найти? — говорю я.

— Ты думаешь, это червь-волшебник, и он заберет нас из волшебной страны?

— Может быть, если с него все началось.

Мы сидим друг к другу очень близко, вовсе не потому, что вдруг решили погреться, хотя здесь и холодно. Мы как будто животные, которым страшно, готовы зажаться в уголок и дрожать, но нам нужно думать.

— Мне все время хотелось плакать, — говорит Ниса. — Наверное, оно раздражало слезный проток или что-то вроде. Эта штука похожа на черного бычьего цепня.

— И блестящего. Если бычьего цепня покрыть лаком для ногтей, который тебе нравится.

Мы пытаемся нащупать хоть какую-нибудь полезную информацию, но у нас ее нет. Зыбкий мир вокруг прерывается, как ненадежное сердце пропускает удар, и кардиограмма выдает прочерки.

Прочерк, отсутствие, пустота. Темнота.

Что бы мы ни обсуждали, это не поможет нам выбраться, думаю я.

— Выход там же, где и вход, — говорю я. — Я такое в одной книжке читал. И по телевизору тоже говорили.

Я слышу шаги и голоса родителей наверху. Они нас ищут, но не найдут. Все снова погружается в темноту, в пустоту, лишённую звуков и ощущений. Мы с Нисой крепко держимся за руки, но в темноте я ни чувствую ни собственных пальцев, ни холода ее кожи, и даже наша близость не помогает.

Когда мир снова светлеет, я вижу, как вздымается перед нами пол. Мы подаемся назад, падаем со стульев. То, что двигалось под полом не проломило его, поднимаясь. Мне кажется, само пространство резиновое, оно растягивает его, выглядит так, словно огромный червь обтянут мрамором.

Оно легко деформирует пол, но не способно было выйти за его пределы. А еще оно большое. Очень большое.

Мы с Нисой поднимаемся на ноги, а потом бежим так быстро, как еще, наверное, ни разу не бегали. Даже когда мы скрывались от тети Хильде, мое сердце не билось так гулко. Мы бежим в сад, и оно следует за нами, ползет, вздыбливая пол. Кажется, что дерево и камень просто пленка, которую оно готово порвать, а потом выбраться наружу.

Оно быстрое, и расстояние между нами стремительно сокращается. Ниса спотыкается на пороге, но я удерживаю ее, и мы теряем наши драгоценные секунды. Под землей, думаю я, нечто настолько большое, что от него на самом деле бесполезно бежать.

Но что-то такое, что и делает нас людьми, живая, бьющаяся сущность, заставляет нас с Нисой рвануться вперед. Земля над ним такая же эластичная, как и пол. Оно ничего не повреждает, и у меня закрадывается надежда, что эта штука никак нас не убьет, если уж она не может выбраться из-под земли.

Прорвать пленку. А пленка, это всегда нечто тонкое.

Мы шарим руками у куста с астрами, пытаюсь нащупать потерянного нами червя, но только это, наверное, бесполезно.

Я слышу мамин голос, она зовет меня, только вот и это нас не спасет.

Оно оказывается совсем рядом с нами, запах земли становится невозможно терпеть, мне кажется, сейчас меня стошнит. Так что я даже рад, когда все накрывает темнота, лишаящая меня тела и чувств.

Когда же она отступает, существа из-под земли перед нами больше нет, луна на небе неподвижна, а звезды снова надежно скрыты городским небом. Темная ночь кажется мне свежей и прекрасной, как никогда. Оставшиеся ночные цветы источают сладость настоящей жизни, и я готов обнять их и никогда не отпускать, потому что я дома.

Как, впрочем, и был.

Косые струи дождя кажутся мне теплыми по сравнению с холодом, который отступил. Мы с Нисой обнимаемся, пачкая друг друга грязными от земли руками, и дождь смывает кровь с ее щек.

Я вижу маму и папу.

— Мы здесь!

Ниса кричит:

— Госпожа Октавия! Господин Аэций!

Когда мама и папа оказываются рядом, я понимаю, какой прекрасный вид им открывается. Мы с Нисой вымокшие под дождем, испачканные грязью и перепуганные.

— Что случилось, милый?

Мама помогает подняться Нисе, а папа помогает мне.

— Мне показалось, — говорит мама. — Что ты кричал. Я испугалась.

Мы идем домой, и я чувствую дрожь при мысли о том, чтобы снова пройти через столовую.

Да и при мысли о том, чтобы снова ходить по земле.

Когда мы переступаем порог, я вдруг понимаю, что говорить родителям не хочу. Они

будут волноваться за меня, а я хочу, чтобы они были счастливы. И вряд ли они могут помочь нам. Только больше узнают про Нису, а она этого не хочет.

— Нет, — говорю я. — Я не кричал. Но ты могла слышать мой голос. Мы были в саду.

— В дождь? — спрашивает папа. Мне кажется, что он знает, что я вру. Взгляд у него расфокусированный, как и всегда, задумчивый, но слушает он меня, я вижу, очень внимательно.

— Романтика, — говорю я. Ниса смотрит на меня вопросительно, но я ей киваю.

— Мы кино такое смотрели, — говорю я. Родители переглядываются. Мне кажется, я знаю, как двигаются их мысли. С одной стороны, что страшного может случиться, если мы с Нисой целовались под дождем? Разве что мы немного замерзнем.

С другой стороны, история почти слишком дурацкая даже для меня. Наверное, нас спасает, что только почти. Мама говорит:

— Я прошу прощения, что мы вас побеспокоили.

Она говорит неуверенно, но ведь будто бы ничего не случилось.

— Я сделаю вам чай, хорошо?

— Спасибо, мама.

Мы садимся на те же стулья, на каких сидели в плохом месте. Между нами большой и непонятный нам обоим секрет. Мы прекрасно помним, как выгибался пол. Нечто было здесь и, может, мы просто не в силах воспринять его сейчас. Не можем увидеть и почувствовать, но оно путешествует здесь, под пленкой, которую не может разорвать.

Тарелка, которая распалась в ничто, лежит на полу, как будто я аккуратно ее положил. Я трогаю ее пальцем, фарфор холодный и существует.

Папа садится перед нами, и мы смотрим на него. Взгляд у него светлый и беззаботный, но мне отчего-то кажется, что нас допрашивают, хотя мы молчим. Ответы на незадаваемые вопросы он видит в том, как мы сидим и смотрим.

А может так кажется, потому что у папы жутковатый взгляд.

— А что это было за кино? — спрашивает папа.

Ниса отвечает:

— "Лето в Делминионе".

Я о таком фильме никогда не слышал, а когда смотрю на Нису, понимаю, что его и нет. Врать Ниса умеет примерно так же, как я.

— Хорошее кино, — говорит папа. — Это фильм ужасов?

— Мелодрама, — говорю я.

— Странно.

Папа не ругается, не пытается узнать правду. Он протягивает руку, берет вилку, проверяет ее на остроту кончиком пальца, а потом растерянно улыбается. Это вилка, которую я бросил на стол после того, как проколол шарик (который, кстати, в порядке), она лежала не так, и папа хорошо запоминает такие вещи.

— Нужно что-нибудь такое обязательно снять.

Папа говорит:

— А если вам нужна помощь, мы вправду хотим помочь.

Мы переглядываемся, качаем головами. Мне хочется сказать все папе и маме, но если я что и понял, так это то, что они сами нуждаются в помощи, а я уже взрослый. Пока мы с Нисой не будем знать, что случилось, не нужно волновать их.

На самом деле я просто хочу, чтобы хоть одна страшная история для них закончилась.

Нужно заботиться о тех, кого любишь, а иногда молчание и есть забота. У люстры внутри свет. У земли внутри такая большая штука, которая быстро ползет.

Пока мама и папа живут в наличном мире, она не коснется их, и мне кажется, что мое молчание будет оберегать моих родителей.

Мама приносит пряный чай, сладкий, и в то же время пахнущий специями, щекотными в груди. Две звезды аниса плывут в моей чашке. Ниса вдыхает запах, греет нос о пар, а я пью, ощущая, как разогревается кровь внутри.

Только тогда я и понимаю, как дрожу.

— Можно? — говорю я. — Мы пойдем в свою комнату. Там будем пить чай. Хорошо? Больше никакого сада. Мы передумали. Холодно.

— Конечно, Марциан, — говорит мама. Взгляд у нее не как папин, внимательный, цепкий, как будто она ищет десять отличий между двумя картинками. — Спокойной ночи, дорогие.

Когда я переступаю порог, папа вдруг окликает меня. Я махаю Нисе, имея в виду, что догоню ее, смотрю на папу.

Он глядит куда-то за окно, в темноту, которую омывает дождь.

— Ты знаешь, как сильно я люблю тебя, — говорит он. — А я знаю, как сильно ты любишь меня. Иногда люди ведут себя так глупо, когда пытаются защитить тех, кого любят.

— Иногда ведут, — говорю я. Иногда они попадают в черно-белый мир, смотрят на огромных тварей, не умеющих вылезти из-под земли, а потом никогда об этом не говорят. Люди ведут себя глупо.

— Ты и Атилия для нас с Октавией самое ценное на земле и вовне ее. Это значит, что мы всегда беспокойны за вас. И это значит, что мы сделаем все, чтобы вам помочь.

Я ловлю мамин взгляд, кажется, он продолжает папины слова.

— Если что-то случилось, — говорит мама. — В лесу или после, ты можешь довериться нам.

И тогда я начинаю смеяться. Они думают, что я что-то отдал, чтобы папа был в порядке. Я отдал бы самое главное, но мой бог не взял у меня ничего, потому что его любовь безгранична.

— Нет, — говорю я. — Я правда хотел отдать жизнь, но ее не взяли. Так что вам совсем не о чем волноваться. Просто я садовый романтик.

Мамин взгляд отпускает меня, и я ретируюсь со всей возможной скоростью, как будто еще немного, и я выпалю правильный ответ на незаданный вопрос. Я взбегаю по лестнице, думая о том, прав ли я, и оставляя на ступенях половину пряного чая из моей чашки.

Это маму и папу я звал в секунды, когда мне было страшнее всего, но именно их помощи я не хочу сейчас.

— Дурацкий Марциан, — говорю я. — Подумай еще раз.

Я думаю еще раз, но прихожу к тем же выводам. А потом меня посещает мысль такая ужасная и отвратительная, что хочется высунуть язык и зажмуриться.

Где-то там, в нашем саду, все еще ползает существо, с которого все началось.

Когда я прихожу в комнату, на моей кровати сидят Офелла и Юстиниан, они оба широко и синхронно зевают. Если бы кто-нибудь проводил соревнования по синхронному зеванию, к примеру, была бы особенная, сонная Олимпиада, эти двое непременно взяли бы первый приз.

На шее у Юстиниана болтается черная повязка для сна, а его атласная пижама выглядит так, словно он украл ее у богача из старого фильма. На Офелле длинная ночная рубашка с глазастым котом на груди, а волосы ее перехвачены розовой резинкой с блестящими камушками, которые наверняка колют пальцы, когда ее снимаешь. Может, это чтобы быстро просыпаться, думаю я.

Ниса расхаживает по комнате, как маленький генерал. Я ставлю чашку на тумбочку, две звездочки аниса все еще плавают внутри.

Офелла говорит:

— Я думаю, мне это снится.

Юстиниан тогда протягивает руку, чтобы ущипнуть ее за щеку, и Офелла бьет его по запястью.

— Так значит у тебя и мысли подобной не было, — говорит Юстиниан.

— Я бы и во сне не позволила тебе, придурку, щипать меня. Здравствуй, Марциан.

— Привет, — говорю я и сажусь на кровать. — Ниса, а как ты думаешь, если перекопать сад, можно найти червя-волшебника?

— Я проспал появление в этой истории червя-волшебника! — с досадой говорит Юстиниан, а Ниса только отмахивается от него.

— Червь-волшебник, это и есть мерзкая тварь, которая вылезла из моего глаза прежде, чем мы оказались в том месте.

— Тогда очень политкорректно, Марциан.

Юстиниан откидывается на кровати, поудобнее устраивает под головой мою подушку и говорит:

— Может, бог Марциана сводит тебя с ума? Может он до всех нас доберется теперь?

В голосе его, впрочем, слышно неподдельное удовольствие. Я складываю руки на груди.

— Нет, мой бог бы не стал так делать.

За окном луна неподвижная, а там была живая. Мне кажется, ответ у нас с Нисой есть, крутится на языке, но не облекается в форму.

Если язык не референциален, спросила сегодня мама, то как ты доберешься до реальности?

Большая, серебряная луна, круглый кораблик, путешествующий по облакам среди подмигивающих звезд.

— Дело во мне, — говорит Ниса.

— Слышал, Марциан, дело не в тебе, дело в ней! Но вы можете остаться друзьями.

— Юстиниан, — говорит Офелла. — Ты можешь хоть раз послушать молча?

— Ты тоже не слушаешь молча, — говорит Ниса. — Вы вообще слушаете меня или нет?

И быстро, прежде, чем кто-либо отвечает, добавляет:

— Это риторический вопрос. Так вот, я ощущала, что это я. Во мне. Из меня. Все как-то

связано с моей природой. И моей богиней.

— Но точно мы этого знать не можем? — спрашивает Офелла.

Ниса качает головой, а я говорю:

— Но если она так чувствует, то сейчас большей правды у нас нет.

Офелла и Юстиниан не спрашивают, почему это и их проблемы тоже. Может быть, потому что все продолжается, толком не успев закончиться, и никто не представляет себя не вовлеченным в эту историю.

— Там была такая штука, — говорю я. — Огромная и путешествовала под землей. Только она не могла выбраться. Она за нами гналась. То есть, сначала просто ползала под полом, а потом стала гнаться.

Ниса вдруг кидается к своему мобильному телефону на тумбочке, и я отшатываюсь.

Она садится между мной и Офеллой, я вижу, как она звонит Грациниану. Это хорошо, думаю я, вдруг Нису прокляла их богиня, и теперь ей нужна помощь.

Юстиниан заглядывает мне через плечо, чтобы увидеть, кому Ниса звонит, говорит:

— Разумное решение для четверых сонных людей, не способных вставить событие в контекст.

Но не всегда разумные решения вознаграждаются. Я слышу писк аппарата, а затем безразличный голос сообщает нам, что такого абонента не существует.

Вот так все переворачивается с ног на голову. Еще день назад я считал, что не существует червей, живущих в слезных протоках и способных перенести человека в черно-белый мир, а вот Грациниан вполне себе есть на свете.

Ниса ругается, набирает номер Санктины, хотя я не видел, чтобы они когда-нибудь разговаривали. Оказывается, ее тоже не существует.

— Начинается, как плохой детектив, — говорит Юстиниан. — Потому что автор хорошего детектива оставит хоть какие-нибудь ключи к разгадке.

— Жизнь пишет плохие детективы, — говорю я. — Прекрати жаловаться.

— Я жалею только на то, что не видел той параллельной реальности, где вы были.

Ниса прижимает руки к лицу, Юстиниан и Офелла вздрагивают.

— Только не плачь!

— Я не плачу! — говорит Ниса. За окном потихоньку светлеет небо, и я вижу, как утреннее солнце обнажает вспухшую от гниющей плоти и вечно голодную рану на ее шее.

Я обнимаю ее, и на ощупь она мягкая, такая, что, кажется, можно пальцами под кожу проникнуть.

— Просто я не знаю, что делать. Обычно в таких случаях я ем.

— Это удерживает тебя в границах мироздания?

— В границах разума!

Взгляды Офеллы и Юстиниана кажутся мне взволнованными, но теперь они испуганы вовсе не видом Нисы. Оказывается, можно привыкнуть к тому, что плоть твоего друга гниет, и это происходит достаточно быстро.

В местах, где кожа лопнула, мясо Нисы кажется бесцветным, рана на шее же наоборот отчаянно-вишневая. Но я понимаю, что больше не испытываю никакого отвращения.

Мы некоторое время сидим молча, а потом Ниса говорит:

— Нужно поехать к ним. Я знаю, где они остановились.

Я обнимаю ее оттого, что ей все ужасно непонятно. Быть одной в незнакомой стране и ничего не понимать — плохо, но Ниса решительная и сильная, а еще у нее есть друзья.

А еще в ней жило (а может и живет) что-то такое, что изменило мир.

Только с очень необычными девушками это случается. Но я ей такого не говорю, потому что звучит не слишком утешительно, скорее похоже на комплимент, который никому не нравится.

За окном все розовое с голубым, и рассвет над садом кажется мне неудержимо красивым и ярким. Умирают потихоньку астры и камелии, все бледнеет, потому что лето прошло. Дождь закончился, оставив прибитые к земле головки цветов скорбеть над своей скорой смертью. Но я люблю все это много больше, чем когда-либо, физически ощущаю, как прекрасно вокруг. Ведь теперь я знаю, насколько иным может быть наш сад.

Хрупкая, черно-белая, разрушающаяся реальность. Как дурной сон.

— Теперь кажется, что все это так близко, — говорю я. Ниса кивает, а Офелла и Юстиниан переглядываются. Они нас не понимают, и мне кажется, что я не хочу, чтобы они понимали нас.

Потому что это не слишком приятное знание.

— Так, — говорит Офелла, положив руку Нисе на плечо со смесью отвращения и восхищения собственной смелостью. — Давайте дождемся темноты и поедем к родителям Нисы. Сейчас мы мало что можем придумать. Главное, что вы целы. Если ты почувствуешь, что тебе снова хочется плакать...

Офелла замолкает, потом неторопливо заканчивает:

— Зови нас.

— Ты хотела сказать "не зови нас", правда? О, трусость не порок, страх присущ чувству жизни.

— Знаешь, во сколько я вчера заснула? Примерно в пять утра. Так что я не сплю уже двадцать пять часов, и если ты скажешь еще хоть слово, я на тебя кинусь.

Офелла выглядит воинственной, глаза у нее большие, горящие и окаймлены отчаянными фиолетовыми синяками, так что она уже похожа на студентку, которой еще не является.

Я говорю:

— Согласен с Офеллой. Давайте все замолчим и разойдемся спать. А завтра мы будем думать снова по дороге к родителям Нисы. Может быть, надумаем что-нибудь еще.

Ниса кивает, Юстиниан и Офелла поднимаются с кровати, хотя оба, кажется, находятся в том состоянии, когда не заснуть на месте является подвигом таким же отчаянным, как работа пожарного или жизнь с младшей сестрой.

Юстиниан, зевнув так, что я отчетливо слышу щелчок откуда-то из сочленения его челюстей, говорит:

— Я намеревался сказать, что не слишком хочу видеть родителей Нисы до наступления темноты, а потом несколько достроил качественный анализ ситуации и понял, что я вообще не хочу их видеть. Но мы ведь друзья!

Я говорю Нисе:

— Ты его не слушай. Все с твоими родителями нормально.

Ниса смотрит на меня, и я вижу, как вздулась ее кожа.

— Но с ними ничего не нормально, — говорит она. — Мои родители питаются человеческой кровью и разлагаются под лучами солнца. Я пойду помоюсь.

Пока в душе течет вода, я смотрю на узкую полосу золотого, ненастоящего света, которая проникает из-под двери в ванную. Таким золотым и таким ненастоящим был и свет, шедший из столовой.

Может быть, думаю я, все это нам приснилось, или мы придумали. Мы с Атилией в детстве много чего придумывали, у нас были такие приключения, которым и сейчас стоило бы позавидовать, мы отправлялись на другие планеты и искали затерянные города. Все это происходило в саду, вот и сегодня все произошло в саду.

Вот бы все, что происходило в саду всегда было ненастоящим.

В конце концов, я впадаю в то же самое состояние, когда сон становится единственным желанием в жизни. Я с трудом заставляю себя пойти в душ и смыть землю, но вместе с ней вода смывает и сонливость.

Когда я возвращаюсь, шторы задернуты, и Ниса снова похожа на живую девушку. Только похожа. Я ложусь рядом, ощущая холод ее кожи. Она вытягивает бледную руку вверх, рассматривает ногти. Ее желтые глаза, глаза цвета солнца, которое ранит ее плоть, испускают едва различимый свет, может, он позволяет ей видеть в темноте, будто днем. Может заменяет ей солнце. Я заменяю ей тепло.

— Мне страшно, — шепчет она, и в темноте, после бессонной ночи, слова эти звучат совершенно по-детски.

— Да, — говорю я. — И мне страшно тоже. Но мы с тобой найдем выход. Ты помогла мне, и я помогу тебе.

Ниса кладет голову мне на плечо. Ее волосы пахнут моим ментоловым шампунем, но природного запаха у них больше нет. Она говорит:

— Ты очень хороший, Марциан. Но чтобы стать взрослой, мне нужно перегрызть тебе глотку и выпить всю твою кровь.

Когда она говорит, ее губы касаются жилки на моей шее, но зубов я не чувствую. Ниса говорит:

— Я никогда не смогу этого сделать.

— Ты это говоришь, потому что мы в полумраке, и ты утыкаешься в меня? Чтобы я больше боялся?

Она смеется, в этом смехе есть нечто дикое, хотя он и тихий. Кажется, словно темнота скрывает не мою подругу, а хищника, совершенно ничем со мной не схожего.

— Нет, — говорит она. — Я просто думала, что лучше мир перевернется, чем я сделаю это. Думала, вот бы случилось что-то такое, чтобы все обо мне забыли. Чтобы не нужно было больше думать об этом.

Я глажу ее по волосам, они спуганные, тонкие колечки, не видимые в темноте.

— Ты не виновата, — говорю я. — Все произошло не потому, что ты так хотела. А потому что произошло. Хочешь историю на ночь? Но только она грустная.

— Хочу историю на ночь, — отвечает Ниса. — Даже грустную. Но можешь и плеер дать.

— Нет, — говорю. — Слушай историю на ночь. У Атилии был кот. Я его тоже любил, но это был кот Атилии. Его звали Вергилий, как поэта и как парня из книжного магазина, в которого Атилия влюбилась в четырнадцать, но никому, кроме меня, не сказала. Вергилий был хороший кот, но жил недолго. С ним случился несчастный случай, он как-то неудачно упал, хотя прежде я считал, что с котами такого не бывает. В общем, у него отказали лапы. Никто не мог принять решение. Я не хотел, чтобы кота усыпили. Атилия любила его. И даже папа, который посылал на смерть солдат, не мог сказать, что нужно усыпить кота. Сказала мама. Она за всех нас сказала, что нужно усыпить кота, приняв решение, которое все мы осуждали. Она показалась нам бесчувственной, но сделала для нас самое главное. В

конечном итоге, Ниса, это были не мы, те, кто первые об этом сказали. Мы усыпили кота, он теперь спит под землей, наш грустный кот, а Атилия до сих пор хранит его фотографии. Мама потом, когда уже все мы отгоревали, через много лет, плакала и говорила, что сказала это, потому что она злая, потому что не хотела возиться с несчастным животным, ставшим инвалидом. Но правда была в том, что и мы не хотели, но боялись признать. Это грустная история, потому что все любят котиков.

— У меня есть свитер с котом, — говорит Ниса. — А в чем мораль твоей истории?

— Она неочевидная. Вина заставляет нас думать, что мы делаем что-то неправильное, но иногда это не так. Ты просто хотела, чтобы тебе не нужно было убивать меня. В этом нет ничего плохого. Это хорошее чувство, не вини себя за него.

Она некоторое время молчит, а затем я чувствую, как Ниса кивает. Потом снова затихает и оттого, что она молчит довольно долго, я понимаю, что Ниса спит. У нее нет дыхания, когда она не говорит, а ее сердце не замедляется, потому что давно стоит, как часы, у которых села батарейка.

У моих часов батарейка на месте, и я слушаю их, пытаюсь заснуть. Сна нет, может оттого, что мне снова стало жалко того кота, а может от того, что я не знаю, что нам с Нисой делать.

Когда я не могу заснуть, я вспоминаю что-нибудь хорошее. Вспоминаю ощущения, запахи, мельчайшие подробности и детали, и погрузившись в них либо расслабляюсь, либо хотя бы провожу время с удовольствием. Чаще всего я вспоминаю о своей семье, потому что в Анцио я по ним скучаю.

Я вспоминаю наши вечера, когда папа дома, а не в разъездах по чужим городам и странам. Мама любит сладкое, так что традиция пить чай и кофе со сладостями дома нерушима, мама говорит, что это ей досталось от моей бабушки, которую я никогда не знал.

Папа любит петь, поэтому иногда он садится за фортепьяно в гостиной и поет такие старые, чудесные песни почти без смысла. Иногда они поют вместе с мамой, хотя мама поет плохо и смешно выглядит, когда исполняет варварские песни. У нее становится совсем непонимающее лицо.

Мама любит обнимать Атилию и читать нам разные книги. Папа рассказывает истории, а еще играет в кости. А когда горит камин, мы с Атилией лежим на ковре и, забывая о том, что мы уже не дети, придумываем истории, смотря на золотые и красные всполохи.

Иногда мы смотрим фильмы, тогда мама становится циничной и недовольной, а иногда даже шумной. Мы делаем домашние задания Атилии, и оказывается, что папа не так хорошо разбирается в политологии, как должен.

А еще папа может рассказывать о войне. А мама о том, что было до нее. И тогда радостное становится печальным. Я слушаю их и обвожу пальцами полукруг света, идущий от камина. Он похож на встающее солнце.

А если перевернуться, то можно увидеть, как по потолку путешествуют тени. Это ветки деревьев, которые хватаются друг за друга, когда дует ветер.

А однажды был чудесный вечер с помадкой из патоки и несладким чаем, и мне было шестнадцать, тогда родители решили превратить гостиную в колонию. Мама взяла себе диван, папе досталось кресло, Атилия выбрала место у окна, а у меня был камин и прилегающие к нему земли.

Папа сидел с карандашом и ножницами, рисовал для нас деньги, чтобы у нас появилась экономика. Мама надела каждому из нас на голову картонную корону, а в конце воцарилась

и сама, с ногами забравшись на диван. Папа раздал нам деньги со смешными крючочками вместо доек. У меня оказалась толстая пачка, и я сосредоточенно считал ее, перекатывая под языком помадку.

Дальше у нас началась торговля. Мама сказала, что деньги, в качестве посредника, стимулируют покупать больше, чем бартер стимулирует меняться, потому что изменяется представление о ценности вещей.

Мама продала Атили за бесценок три подушки и одеяло, чтобы она не замерзла на земле у окна, которую выбрала. Я тоже купил у папы подушку, но он сказал, что товар в розницу всегда выходит дороже, поэтому моя пачка стала тощая.

Все помадки остались на папиной территории, но он отдал нам по одной в качестве гуманитарной помощи. Я сказал, что моя земля специализируется на уничтожении мусора, что у меня Страна Мусорщиков, поэтому я могу сжигать обертки.

Мама сказала, что специализация ее земли — абстрактные рассуждения, но пока она придается абстракциям, ее народ гибнет. Так мама получила еще одну помадку.

Мы заключали договоры, обменивались вещами, потому что они красивые или нужные, объявляли войны и обсуждали перемирия. Тогда, помню, мы разошлись спать, когда уже наступил рассвет, а утром папе нужно было вносить в Сенате корректировки по поводу какого-то мудреного закона о собственности, мама же уезжала проследить, чтобы в больницах Города разместили пострадавших от землетрясения в Иберии, которым нужны сложные операции. Через два часа оба они должны были выглядеть и вести себя, как взрослые, а не как люди, которые дрались подушками из-за нарисованных денег.

Хотя все деньги нарисованные. А некоторые взрослые люди из-за них еще и по-настоящему убивают.

Я вспоминаю тот вечер, треск огня в камине, приятную усталость от бессонной ночи, совсем не похожую на сегодняшнее опустошение, радость, с которой я добрался до кровати и вкус чая в тот день.

И только сильнее понимаю, почему я не хочу рассказывать ничего родителям. Потому что им нужно отдохнуть, потому что несправедливо будет втягивать их в свои новые проблемы.

Успокоенный мыслью о том, что я со всем справлюсь сам, я засыпаю.

А когда я просыпаюсь, Ниса уже собирается. Зубы у нее длинные, так что она не может закрыть голодный рот. Я говорю:

— Доброе утро.

Она смотрит на меня, криво улыбается, и клык утыкается в ее нижнюю губу.

— Сейчас я больше хотела бы услышать "приятного аппетита".

Голос у нее такой, будто вообще ничего не случилось, и я радуюсь, потому что мне в голову приходит все побеждающая мысль о том, как мне приснился ужасный черно-белый мир.

Но такие мысли всегда оказываются неправдой (кроме странных книг, сюжет которых потом сложно пересказать).

Просто Ниса переживает очень недолго, а потом становится такой же мрачной и невозмутимой, как и всегда. Она садится на край кровати, гладит меня по волосам. Взгляд у нее такой, будто она меня ищет.

А потом она неожиданно резко хватает меня за подбородок, заставляет отклонить голову. Ее зубы погружаются в меня, и я уже не чувствую боли, насколько привычным стало

это ощущение. Я закрываю глаза, ощущая, как пульсирует моя кровь. Это мерный, барабанный и успокаивающий звук. Когда мне кажется, что кружево сосудов под веками плывет, она отстраняется. У нее зубах две капли моей крови, и она ловко ловит их языком.

Она становится хорошей хищницей.

Умывшись, я говорю, чтобы Ниса собиралась и нашла Юстиниана с Офеллой, до темноты остается всего ничего, а сам быстро спускаюсь по лестнице и иду в сад.

Увядавший, но еще зеленый, в сумерках он выглядит еще более мрачно. Цветок астры, на который я посадил червя, валяется у обезглавленного стебля. Красный смотрится так ярко и пронзительно, что мне даже приходится потереть глаза. Я беру цветок, касаюсь пальцем мягких лепестков, раздвигаю их. Разумеется, червя там больше нет, и следов его никаких не осталось. Земля мокрая и податливая, я прикладываю в ней ладонь, сам не зная, зачем.

Червя уже не найти. Он маленький, он двигается, и времени прошло очень много. Отчего-то я думаю о семенах, спрятанных в земле. Мне неприятно, что это существо может жить в нашем саду, и мысль о том, что оно еще в полном смысле не живет, как семя, не успокаивает меня.

— Ты что делаешь, Марциан?

Я оборачиваюсь. Атилия стоит, прислонившись к колонне мансарды. Ее блестящие от лака ногти, как астры в саду, маяки в мрачных сумерках.

— Тут была змея, — говорю я. — Не ходи в сад. Она ужасная. Такая чудовищная змея.

— Уговорил.

У нее на губах золотистая помада, и вообще вся она сегодня бронза и карамель, в укор холодным цветам мира вокруг.

— Где мама и папа?

— Поехали объявлять народу, что все в порядке, император здоров.

Лицо Атилии на секунду светлеет, когда она говорит о родителях. Я киваю.

— А ты куда? — спрашивает она.

— Я с друзьями буду гулять. А ты куда?

— Поеду на ночь к Селестине. Думаю, теперь, когда все хорошо, можно выпить и плакать.

Я делаю вид, будто ничего не происходит, прохожу через сад как можно более непринужденно, смотрю на небо, рассекаемое птицами на множество частей. Небо неровное.

В самый ответственный момент, когда я прохожу мимо Атилии, она подается ко мне и целует меня в щеку. Я скашиваю на нее взгляд, стараясь дать ей понять, что так как ничего не происходит, ничем меня удивить нельзя.

— Я вправду благодарна тебе, братик. Не попади в беду, хорошо? Мама говорила, что ты вчера сидел в астрах под дождем. Я предположила, что ты играл в цветочек.

— Ты злая. И я был там не один.

— Вот и я о том же, — говорит Атилия. — Твоя Ниса странная девушка. Не попади в беду.

Я делаю вид, что совсем не понимаю о чем она, и что в беду не попал.

— Хорошо тебе выпить, — говорю я.

В столовой нам уже подали завтрак. Может, Атилия распорядилась, а может просто увидели, что я встал. Я благодарю служанок, зову друзей, и пока мы завтракаем небо становится темным, вечерним, как и всегда безглазым.

Кассий требует от нас пропусков, выясняется, что он делает это неправомерно, тогда он перестает что-то требовать и просто говорит нам, молодежи, катиться отсюда и не мешать людям работать.

Я говорю:

— Спасибо, Кассий.

А он протягивает руку и треплет меня по волосам.

— Неприятно, — говорю я.

— Потерпишь.

Так мы и расстаемся, а я снова вспоминаю, почему обычно не скучаю по Кассию. Юстиниан говорит:

— Даже не поздоровался со мной отдельно, представляешь?

— Он же тебя ненавидит, — говорит Офелла. — Ты сам рассказывал, что он выгнал тебя из дома.

— Из одного дома выгнал, из другого не выпускает. Он делает все, чтобы испортить мне жизнь!

Но по каким-то неуловимым моей сознательной частью приметам, я понимаю, что Юстиниан скучает по Кассию. Ему было девять, когда Кассий и моя учительница поженились, и, наверное, ему, как и любому мальчишке, хотелось, чтобы и у него был папа. Кассий с этой ролью не справился, и доля разочарования навсегда осталась в их отношениях. Так что в отличие от тех, что связывают Кассия и Регину, а так же Кассия и Мессалу, отношения Юстиниана и его отчима не только плохие, но и грустные.

— Не переживай, — говорит Ниса. — Ты увидишь мою мать и поймешь, что Кассию не чужды семейные ценности.

Я понимаю, что никогда не спрашивал Нису о Санктине. Я видел Грациниана и знаю, как он любит Нису, но ее мама не звонила ей, не приходила к ней и не передавала Нисе ничего через Грациниана. Отчего-то это никогда не казалось мне грустным. Может, потому что Нисе от этого не больно. Словно так правильно.

Офелла вызывает машину, а Ниса говорит водителю, куда ехать. Я оплачиваю поездку, а Юстиниан развлекает водителя разговором. Там мы распределили.

Пока Юстиниан рассказывает о коммуникационном аспекте современных театральных практик и искусстве нашего народа (эти две темы у него, как две реки, впадают в океан бессмысленных рассуждений), я смотрю в окно. Мы проезжаем здание Сената, где выступают сейчас папа и мама. Я вижу репортеров, столпившихся вокруг здания. Тут и там я вижу вспышки, означающие, что кто-то только что сделал, из нетерпения, пустой кадр, за который ему не заплатят. И звуки от вспышек я представляю такие, как будто голодные фотоаппараты клацают зубами.

Машина у нас центробежная, потому что мы удаляемся от Палантина все дальше. Офелла хмурится, возвращение в столь привычный мир дается ей нелегко. Это как лечь в ванную, ощутить тепло и с ужасом ждать момента, когда придется вылезти из воды в холод, из которого ты сюда попал.

Я хочу ее обнять, но она треснет меня по рукам. Поэтому я говорю вот что:

— Скоро поедешь в Равенну.

Офелла оборачивается ко мне. У нее ровные стрелочки, как два крохотных стрижиных крыла. А на ресницах, хотя они черные-черные, ни одного комочка. И синяки загадочным образом исчезли. Только сосуды в белках сплетаются красно и ярко.

— Может быть, останусь в Городе и буду учиться здесь. Маме и папе нужна помощь.

— А нам нужны друзья, — говорит Юстиниан, но отвлекается только на секунду, возвращается к беседе, очаровавшей таксиста.

— Могу записать вам пару броских цитат, — говорит он. — Сможете поболтать с пассажирами о трудностях интерпретации пластического театра.

Офелла легко улыбается, и я вдыхаю клубничный запах ее шампуня и карамельный — перламутрового блеска для губ. Ниса насвистывает что-то, глядя, как дома проплывают мимо.

— Я бы тоже здесь осталась, — говорит она. — Магазины у вас классные.

Когда водитель останавливается, я думаю, что у него просто закончился бензин. Грациниан и Санктина производили впечатление обеспеченных, по крайней мере золотом, людей. Водитель привозит нас в место унылое, узкое, где грязные кирпичные дома исполосованы пожарными лестницами с отпадающими перилами и недостающими ступеньками.

Он останавливается напротив неоновой-розовой вывески, на которой горит только слово "Мотель", а название тонет в темноте.

Фонарей вокруг много, но горят не все. Асфальт влажный из-за подтекающей трубы в доме по соседству. А сами дома такие высокие, что кажется достают до слепого ночного неба. Рядом горит еще одна неоновая вывеска, указывающая на круглосуточный магазин. В ряд у обочины выставлены жестяные банки из-под газировки, и эта линия уходит далеко на подъем, к концу улицы, и мало где нарушается. Я вижу среди горящих и темных окон одно неопределившееся. Кто-то включает и выключает свет, это явно не неполадка с электричеством, чередование имеет ритм. Словно чье-то послание на языке, который мне непонятен. Кто-то включает и выключает свет, отправляя вовне очень важную информацию.

Мы приехали в варварский квартал. Нас в Городе живет немного, потому что нам здесь небо не нравится. У воров и ведьм есть свои районы, а у нас только квартал.

— Они живут с нашим народом? — спрашиваю я. — Я думал, у них будет какое-нибудь богатое место. Твоя мама же советница царя. Почему они выбрали ужасный мотель?

Отсвет вывески делает белки глаз Нисы розовыми. Она говорит:

— Сумасшедшим никто не поверит.

— Они...

— Нет, Марциан. Они говорили, что не станут убивать людей здесь. Но им нужно, чтобы никто не верил их еде.

— Прозвучало ужасно, — говорит Офелла. Мы заходим в мотель, и мне становится еще холоднее, чем на улице, потому что работает кондиционер. Стойки управляющего, как в отелях, где я бывал, здесь нет. Женщина среднего возраста с большими глазами, подведенными ярко-красным, жует бутерброд сидя за столиком и положив ноги на другой стул. Она смотрит по телевизору обращение мамы и папы.

Мама стоит прямо, точно такая, как когда выступала с известием о папиной болезни. Только теперь она улыбается, и мои родители вместе.

Женщина то ли слышит их, то ли нет. Взгляд у нее совершенно отсутствующий, и жует она очень медленно. На столике перед ней разложены карандаши всех оттенков синего, а позади висит железная, начищенная ключница.

— Здравствуйте, — говорю я, но женщина не реагирует. Ниса тянет меня за руку, и мы идем дальше. Только у лестницы Офелла останавливается, подходит к столику.

— Серьезно, мы можем просто так войти? Вы ничего нам не скажете? Вы понимаете, что подвергаете опасности ваших постояльцев и их вещи.

— Ты еще очаровательно ткни ее пальчиком в грудь, — говорит Юстиниан.

Офелла складывает руки на груди, смотрит на женщину, но та смотрит на экран.

— Офелла! — шепчет Ниса. — Быстрее!

Лестница ожидаемо узкая, у окна на каждом пролете по банке из-под растворимого кофе, наполненной сигаретными бычками. Мы поднимаемся на пятый этаж, и к концу путешествия у меня появляется ощущение, что я выкурил пачку сигарет.

В коридоре расстелен старый красный ковер, а на белых стенах черные отметки пепла похожи на пятна далматинцев. Наверное, по их расположению можно выяснить средний рост постояльцев. Это интересно, но у нас нет времени.

И хотя в коридоре пусто, люди на этаже есть, это просто ощущается. Пустые пространства имеют особенную атмосферу.

— Думаешь, они дома? — спрашивает Офелла.

— Обычно они выходят поесть около восьми. Так что наверняка.

— Как цинично звучит, — говорит Юстиниан. — Просто прелесть.

Ниса подходит к номеру пятьсот семнадцать, говорит:

— Папа! Мама! Это я! Мне нужна ваша помощь.

Мы ждем, я даже не шевелюсь. Мне так хочется, чтобы Грациниан раскрыл дверь, назвал Нису Пшеничкой и решил все ее проблемы. Но этого не происходит. Ниса стучит, но ей снова не отвечают. Даже когда она пинает дверь, никто, кроме Офеллы, не проявляет недовольства. От отчаяния Ниса дергает ручку, и дверь легко поддается. Толкнув ее, Ниса входит в номер.

Я заглядываю внутрь и вижу пустую комнату, готовую к вселению следующих постояльцев.

Мы с Нисой вступаем в прохладное и темное пространство номера, Ниса включает свет, и две люминесцентные, безжалостно-белые палки загораются наверху. Номер небольшой, и основную его часть занимает кровать с панелью управления массажными режимами над изголовьем. Как в кино, нужно бросить в щель монетку, а потом нажимать кнопки. Шторки с яркими ананасами, темно-синие стены и стеклянная в блесках пепельница на поцарапанном столе придают всему номеру вид пятидесятилетней давности, когда все яркое считалось и роскошным. На тумбочке стоит телефон, на подоконнике — дешевая, шумная кофеварка, которую можно с тем же успехом использовать как будильник.

— Настолько бедно и старомодно, что даже стильно, — говорит Юстиниан. — Выключите свет, неоновая реклама делает все еще безысходнее!

Над изголовьем кровати висит картина с покрытым туманом Городом, от которого видны только шпили дворцов. Наверное, художнику было лень рисовать все остальное. Очень экономно. Рисунок не слишком соответствует духу номера, но здесь все некоторым образом разлажено, будто собрано в разных комнатах, обставленных в более или менее общем стиле, но не взаимозаменяемых.

Номер словно пустует давным-давно. В гостиницах так всегда. Как только уезжает постоялец, его и след простыл. Ничего не остается, кроме безликой комнаты, готовой к следующему клиенту.

Юстиниан еще как-то говорил, что гостиничные номера — проститутки среди комнат. Тогда мне показалось, что он опять выпендривается, а сейчас я понимаю, что он имел в виду.

Ниса садится на кровать, и та отвечает ей приветливым, старческим скрипом.

— Ну, здорово теперь, — говорит Ниса, достает мобильный и с ожесточением набирает номер. Мне кажется, сейчас она вдавливает кнопку вызова так сильно, что она сломается. Если люди с таким усердием хотят позвонить, им должны ответить. Но это только я так думаю. Абоненты, оба, по-прежнему не существуют.

Офелла стоит у двери, ей явно неловко, Юстиниан с интересом рассматривает номер, как будто ожидает, что на глаза ему попадет что-то важное.

Я подхожу к тумбочке, открываю ее, осматриваю пустоту внутри, закрываю. Заглядываю за старый, пучеглазый телевизор, вижу провода, но больше ничего интересного.

— Их там нет, Марциан, — говорит Ниса. Я говорю:

— Но если им спешно пришлось уехать, они могли оставить записку. Например. Или если что-то случилось, то здесь есть какой-нибудь знак. Я такие фильмы смотрел. Они называются детективы.

Ниса запускает руку под подушку, вынимает конфету в серо-зеленой обертке и начинает смеяться.

— Мятная! — говорит она.

Юстиниан пихает тумбочку ногой, перемещая ее под люстру, вскакивает на нее и заглядывает в плафоны.

— Я вижу дохлого мотылька, — говорит Юстиниан. — Я бы что-нибудь передал именно таким образом.

Офелла подходит к подоконнику, проверяет за батареей, шупает оконную раму.

— Уклоняешься в шпионские фильмы, — говорит Ниса. — Нужен просто детектив.

Я заглядываю под кровать. Сначала вижу смешные ботинки Нисы с золотистыми молниями и шипами на носках, потом касаюсь ее щиколотки, и она убирает ноги. Под кроватью не просто пыль, а ее царство. С гор пыли от моего дыхания спускаются пылевые оползни, оседающие в пылевых карьерах. Я не сразу замечаю под кроватью кое-что еще. Плоский квадратик, относительно чистый, а значит оставленный здесь недавно. Потерянный здесь. Я притягиваю его к себе, подцепляя кончиками пальцев. Это может быть записка. Вернее, могла бы быть, но теперь, когда я прикасаюсь к ней, я понимаю, что это фотография.

Я вылезаю из-под кровати, говорю:

— Нашел кое-что.

Прежде, чем посмотреть на фотографию, я смотрю на потолок, где сонные, готовящиеся к зиме мухи совершают неторопливые прогулки, больше не издавая жужжания.

Я переворачиваю фотографию. Она совсем маленькая, легко помещается у меня в ладони. И она очень старая. С бликами и белыми краями, как будто в рамке, сделанная на фотоаппарате, который еще сам выплевывает изображение через пару минут.

Я на самом деле не помню, как он называется. Я много чего путаю. Но я бы никогда и ни с кем не спутал свою маму. На фотографии она еще совсем юная девушка. Она и сейчас молодая, но когда делалась эта фотография, наверное, ей и двадцати не было.

Мама стоит рядом с девушкой, в которой я не сразу узнаю Санктину. В них есть нечто общее, но я бы скорее подумал, что они подруги, чем родственники.

На обеих красивые шляпки с лебедиными перьями, расшитые кружевами, позади видно какое-то широкое водяное пространство, может море, может озеро, но, наверное, время не располагало к купанию, потому что на обеих теплые накидки, абсолютно одинаковые, только брошки, скрепляющие их под воротниками, разные. У мамы фиолетовая, с красивым бликом внутри, как будто в ней теплится розовый огонь, а у Санктины красная, очень яркая.

Они стоят, тесно прижавшись друг к другу, так что у мамы немного съехала шляпка. Они улыбаются, широко и зубасто, и я вижу кривой мамин зуб, который вырос не слишком правильно, в отличии от своих сородичей, и вижу идеальную, ровную улыбку Санктины.

Они обе счастливы, даже время, чуть смазавшее все цвета, не смогло погасить румянец на их щеках.

Я переворачиваю фотографию. Чьим-то убористым, не похожим на мамин, почерком выведены слова "воображала" и "жадина".

— Это же Октавия, — говорит Офелла. — Разве нет?

Она не слишком уверена, наверное, потому что мама здесь совсем молодая.

— И моя мама, — говорит Ниса. По голосу ее ничего не понять, но когда я смотрю на Нису, то вижу, что удивлена она не меньше меня.

Грациниан сказал, что здесь мама Нисы звалась бы Санктиной, но я был уверен, что это не ее настоящее имя. Так звали мою тетю. Но я никогда не видел ее фотографий, мама уничтожила все, что хранились в нашем доме, и запретила изображения предыдущей императрицы в любом виде. Так мама скорбит, разрушая.

— Ваши матери дружили? — спрашивает Офелла.

— Санктиной звали мою тетю, — говорю я. — Старшую мамину сестру.

Потом смотрю на фотографию, добавляю:

— Но да, думаю они дружили. Выглядят такими счастливыми.

Ниса принимается расхаживать по комнате. По ней не слишком заметно, что она расстроена, только двигается резче.

— Так значит, они меня бросили, — говорит Ниса. — Нашли самое суперское время! Нашли самый суперский способ!

— Я уверен, что это не так, — говорю я. — Просто что-то случилось, и они были вынуждены...

Ниса разворачивается ко мне, лицо ее ничего не выражает и голос остается прежним, и остановившись, она кажется спокойной, как ползающие по потолку осенние мухи.

Она говорит:

— Нет, Марциан.

Мне кажется, что настроение у нее даже чуть приподнятое, как у девочки, которая узнала, что мама и папа уехали на выходные, и можно пригласить друзей. А потом она говорит:

— У меня нет любящего папы-героя и заботливой, нежной мамы, готовых ради меня на все. У меня нет семьи, которая хочет защитить меня ото всех невзгод. Даже просто заботливой семьи нет. Моя мама — злобная тварь, и ей плевать на меня. Мой папа сделает все ради мамы, даже если это означает бросить меня здесь одну по самой ничтожной причине.

— Мне показалось, что они любят тебя, когда ты была мертва.

Юстиниан присвистывает. Офелла, кажется, очень хочет слиться с окружающим пространством, погрузиться в туман с картины и исчезнуть в нем навсегда. Я понимаю, что разговор выходит очень неловкий, что Нисе плохо и больно, но ее голос совершенно ничем не выдает ее смятения. С папой так бывает, но папа смотрит на себя отстраненно, словно бы со стороны, он от себя отчужден, а вот Ниса, кажется, испытывает напряжение. На секунду я думаю, что у нее сейчас кровь носом пойдет от того, как яростно она делает вид, что не происходит ничего, говорю:

— Подожди.

— Я теперь никуда не спешу, — говорит она. — Все в порядке. Абсолютно. Может, этого больше не повторится. Может, они позвонят мне сами и спросят, как у меня дела.

— Ниса, — начинает Офелла, но не успевает закончить фразу, Ниса отмахивается от нее.

— Пойдемте гулять, — говорит она. — Я читала путеводитель, здесь рядом парк с маньяками.

— Если здесь живет наш народ, не значит, что парк с маньяками, — говорю я осторожно. А Юстиниан ничего не говорит. Это значит, и он видит, что все не так. Когда у человека хорошее настроение, Юстиниан самый мерзкий и самый болтливый собеседник на земле. Замолкает он, тонко чувствующий, как все творческие люди, только когда говорить и вправду ничего не стоит.

Раз Юстиниан молчит, значит и я не ошибаюсь. Офелла берет пепельницу, крутит ее в руках, рассматривая блески, оживающие от движения и света. Я бы тоже на что-нибудь сейчас посмотрел, но смотрю на Нису.

— Что вы пялитесь на меня? — спрашивает Ниса, словно и вправду ничего не случилось, а мы все оказались в неловкой ситуации, оттого, что попали в мотель на краю Города.

Я смотрю на двух девушек, которые улыбаются мне, стоя у моря, а может у озера, в своих прекрасных шляпках.

Одна из них — моя мама, другая же — мама Нисы. Такие разные, думаю я, но, наверное, мама Нисы любит ее так же, как моя — меня, иначе это было бы несправедливо.

Офелла говорит:

— Ладно, ребята. Пора идти, пока та женщина не пришла в себя.

— Я не думаю, что она когда-либо приходит в себя, — отвечает Юстиниан. Они оба рады поговорить о чем-нибудь другом, Ниса быстро оказывается между ними, обнимает обоих за плечи.

— Так что, погуляем?

Офелла быстро, словно ее застали за чем-то непотребным, кладет пепельницу обратно на тумбочку, и я понимаю, что она хотела ее забрать. Хотя пепельница далеко не самая красивая штука на земле, Офелла явно возвращает ее на место с неохотой. Я еще раз смотрю на всем чужой, никому не принадлежащий номер, прячу в карман фотографию и выхожу в коридор вслед за своими друзьями.

Мы идем по уродливому красному ковру, на котором остаются отпечатки наших подошв, недолговечные следы нашего пребывания.

Я думаю, как помочь Нисе, но так как думаю я медленно, мы успеваем пройти три картины с кораблями на вершинах акварельных морей прежде, чем я решаю, что нужно будет дождаться кого-нибудь вербального, кто работает в этом мотеле и спросить про постояльцев и обстоятельства их отъезда.

Но высказать свою детективную идею я не успеваю, потому что Ниса вдруг резко останавливается, прижимает кулаки к глазам, как маленькая девочка, проснувшаяся посреди ночи.

— Твою мать, — говорит Ниса. — Опять.

Юстиниан и Офелла отскакивают от нее, оба ударяются о стены, потому что коридор узкий.

— Подожди, — говорит Офелла. — Ты имеешь в виду, что сейчас нам нужно быть подальше отсюда?

— Мы не знаем, — отвечаю я, а Ниса проходит вперед, прижимается лбом к стене, отвернувшись от нас. Выглядит она жутковато, шея напряжена, а все остальное тело почти расслаблено. Как девушка из нашего народа, переполненная отчаянием настолько, что движение становится невозможным. Я вижу рубиновую каплю, которая падает вниз и словно бы совершенно исчезает в ворсе красного ковра.

Первая капля, вторая, третья — начинается дождь. Ниса издает звук средний между возгласом отвращения и облегчения. Я кидаюсь к ней, но Офелла и Юстиниан удерживают меня.

— Стой. Мы не знаем, как это работает.

— Да, поэтому и нельзя ее оставлять, — говорю я. Ниса разворачивается к нам. Дорожки крови на ее щеках похожи на потекшую тушь, только цвет иной, а железный запах я чувствую даже отсюда. У нее на ладони извивается существо. Оно не имеет головы, глаз, похоже на линию, одинаковую на всем протяжении, неприродно ровную.

Юстиниан громко ругается, Офелла прижимает руку ко рту. А я ощущаю себя зрителем, и хотя мне хочется помочь Нисе, я не могу пошевелиться, и мне это совсем не нравится. Ниса выглядит, как картинка с музыкального альбома какой-то очень суровой и мрачной

группы, а потом существо выскальзывает между ее пальцев, и она пытается поймать его второй рукой, тогда уже она становится будто в черной комедии.

Черно-белой комедии. Все вокруг блекнет еще до этого, как червь шлепается на пол, и это разбивает мою теорию о том, что дело в нем.

Дело ни в чем. Все происходит, меркнет, проваливается в темноту, а потом в густые, серые сумерки. Я вижу, как корабли на картинах качает на нарисованных волнах, они выглядят живее, чем мухи, которые пропадают и появляются, но даже тогда выглядят, как будто это они — плоские изображения.

— О, — говорит Юстиниан. — Не то ретро, которое я люблю, но в этой обстановке выглядит даже естественно.

Губы его, однако, едва шевелятся, получается почти шепот. Мы бросаемся к Нисе, которая пытается удержать червя. Он скользкий и, в конце концов, все-таки плюхается на пол, мы вчетвером, как дети, увидевшие майского жука в песочнице, пытаемся его поймать, падаем на колени, с увлечением стараемся прижать червя, да только он оказывается быстрее каждого из нас, даже быстрее Нисы, чьи руки я едва вижу, настолько неуловимы ее движения.

Офелла говорит:

— И что теперь делать? Ждать, пока это пройдет само?

Поняв, что червь ускользнул, мы садимся на пол, вытягиваем ноги к чужим дверям, прижимаемся друг к другу.

Выглядим мы, наверное, совершенно невозмутимо, только вот на самом деле мы все в ужасе от места, где оказались.

Просто когда не знаешь, что делать, никуда не спешишь.

Я достаю из кармана фотографию. Мама на ней не меняется, та же улыбчивая девчушка с кривым нижним резцом. Санктина же совершенно меняется. Фотография становится влажной от капель крови, которыми испачканы ее руки в перчатках, а накидка разрезана, и я вижу дыру, будто оставленную сигаретой, там, где должно быть ее сердце.

Изображение изменяется странным образом, словно проникает в реальность, смыкается с ней, и суть, и смысл его влияют на материю. Я протягиваю фотографию остальным. Юстиниан говорит:

— Фотография это реальность, ставшая знаком.

— Там что, кровь? — спрашивает Офелла. А Ниса говорит:

— О, мама красотка, правда?

За окном в конце коридора мигают яркие звезды. Словно свет в том окне, думаю я.

А потом звезды вдруг замирают, только одна продолжает гореть и гаснуть. Я понимаю, это одна из моих звезд. Глупость.

Глупость, глупость, глупость. Мне кажется, словно эти слова раздаются в моей голове.

— Значит, мы заперты здесь? Пока за нами не придет толстая подземная чушь?

— Идеальная формулировка, Офелла. Но я не знаю, связано ли то, что мы попали обратно с подземной чушью.

Ниса не говорит вот чего: мы не знаем, выберемся ли мы отсюда на этот раз. Не было ли наше спасение просто случайностью?

Я смотрю в другой конец коридора. Мне кажется, коридор много длиннее, чем был в реальности, а в конце темный-темный, словно впадает в пустоту и темноту, такой тоннель, где еще не видно света. Звезды с другой стороны наоборот близкие, как будто заглядывают в

окно.

Мы поднимаемся и оказывается, что это тяжело. Меня качает, будто мы на корабле во время шторма, кажется, что пол и потолок сейчас поменяются местами. Я успеваю схватить Офеллу прежде, чем она упадет.

— Похоже на фильм, который я снял в восемнадцать лет, — говорит Юстиниан. — Только фильтры лучше.

Я понимаю, что не ощущаю температуры. Мне не холодно и не жарко, я могу смотреть, как качаются кораблики из краски на красочных волнах, а коридор уходит в бесконечность.

И нам даже некого позвать на помощь. Но Офелла все равно зовет:

— Помогите!

— Ты правда думаешь? — спрашивает Ниса. — Что это поможет?

Я прохожу мимо нее, открываю окно. Звезды так близко, что стоит протянуть руку и можно будет коснуться их. Глупость, говорит одна, глупость.

По пустынной и сумеречной улице несется пыль. Я вижу нечто большое, словно асфальт передо мной течет, как река.

— Оно внизу, — говорю я. Так огромное, я не вижу, где его конец, вся улица занята им. В прошлый раз это существо казалось много меньше.

Я дергаю Юстиниана за рукав, показываю на существо.

— Видишь? — говорю я. Глаза у Юстиниана делаются большими, но цвет их не виден — все черное и белое. Я снова ощущаю, как холодно. Все здесь изменчиво до полной неповторимости.

— Офелла, дорогая, глянь-ка сюда, — говорит Юстиниан голосом очень спокойным, уступает место Офелле, и она издает визг, который в самое мое ухо проникает, что-то сжимает в черепе, что-то разбивает. Я зажимаю уши, Офелла говорит:

— Что нам делать?!

— Не паниковать, — говорит Ниса. — Оно сюда не доберется.

Она не говорит, что мы будем надеяться. Но на самом деле нам остается только надеяться. Оно ползет внизу, волна огромной реки.

Загораются еще звезды, снова и снова, и я чувствую себя так же, как когда смотрел на горящее и затухающее окно в доме. Словно мне хотят что-то сказать. Звезды в сумеречном, не вполне темном небе кажутся такими странными.

Мой бог говорит со мной. Я смотрю на непривычно яркие звезды, но не понимаю ничего. И все же мой бог не оставляет меня здесь, от этого становится легче.

— У меня такое чувство, что бог со мной говорит.

— У меня такое чувство, — говорит Офелла. — Что я сейчас сойду с ума.

Потом она замолкает, смотрит, как змеится по потолку трещина. Движение ее сродни чему-то живому, она сворачивает в сторону, отступает назад, продвигается вперед. Здесь нет границы между живым и неживым.

А потом Офелла говорит:

— Еще здесь у меня ощущение, что боги ближе, чем когда бы то ни было.

Я прислушиваюсь к себе, и это оказывается правдой. Прежде я никогда-никогда не чувствовал подобного. Даже, когда мы говорили с моим богом, у меня не было ощущения близости. Ощущение присутствия, но не близости. Словно мы встречаемся в его мире, но в прихожей или даже на лестничной клетке.

Сейчас ощущение близости, не присутствия, а соприсутствия, меня оглушает. Юстиниан

говорит:

— Да. Довольно странное ощущение, правда?

Ниса смеется, и ее смех разносится эхом, а потом множится, словно ударяясь о стены, он распадается на новые и новые звуки, кристаллы смеха. Смех ее, как разбитая в этом месте тарелка.

— Знаете, — говорит Ниса. — Я совершенно уверена, что это не часть дара, которую от меня скрывали. Так вообще не должно быть. Нас не должно быть здесь. Это все так неправильно.

— Я не уверен, что не умру в следующие пять минут, — говорит Юстиниан. — Впрочем, это был бы композиционно провальный конец.

Офелла толкает его в плечо, и он обнимает ее. Мы снова попадаем в это странное состояние, когда сделать, в принципе, ничего нельзя, а терпеть невыносимо.

— Мы должны ехать в Парфию, — говорит Ниса. — Если кто и поймет, что происходит, то мои родители. Может быть, что-то пошло не так в моем воскрешении.

Она смотрит на меня:

— То есть, я должна ехать в Парфию, — говорит она, словно бы каждое слово дается ей нелегко, особенно слово "я". — Но без тебя я умру.

— Я поеду с тобой, — говорю я. — Если мне дадут визу. А это будет долго. И нужно уговорить папу с мамой.

— Ты с ума сошел? — спрашивает Юстиниан. — Прошу прощения, наверное это было обидно. Я имею в виду, Нисе явно стоит поспешить с этим делом. У нее из глаз лезут черви, которые заставляют мир становиться как мое творчество, когда я в депрессии. Думаю, решение этой проблемы не терпит отлагательств.

— И что ты предлагаешь? — спрашивает Офелла. Я рад, потому что она будет ругаться с Юстинианом за меня. Я не рад, потому что мир перевернулся. Я рад, что мы живы. И не рад, что существо, ползающее под землей, оказалось еще больше, чем я думал.

Я снова выглядываю в окно. Под сияющими, изменчивыми звездами спокойный асфальт.

Прежде, чем Офелла и Юстиниан начинают ругаться по-настоящему громко, я говорю:

— Ребята, по-моему оно больше не внизу.

— Здорово! — говорит Ниса, и это выходит очень смешно, но засмеяться никто не успевает, потому что пол под нашими ногами вздымается. Я успеваю подхватить Офеллу прежде, чем она падает, но Офелла пинает меня локтями, как будто это я враг. Так бывает, когда люди шалют от страха. Они еще стреляют в своих, если на войне. Это мне папа рассказывал.

Еще папа рассказывал, что страх, это когда надо бить или бежать. В этом случае непременно нужно бежать, и мы бежим.

Я еще думаю, а может оно и вовсе ничего не может сделать. Такое беззащитное существо, которое не может вырваться на поверхность. Запертый в пластиковом пакете червячок. А потом я вижу, как дрожит от его присутствия сам мир, как тонут корабли в нарисованном море, а трещина начинает осыпаться шпукатуркой. Я не знаю, что оно может, но мне и не хочется понимать, меня охватывает чувство, которое, наверняка, было у диких людей, которые встречали хищников. Большие, зубастые штуки пугали их на уровне, который учительница называет гуморальным.

В мозгу происходит химическая реакция, и — бам! Ты уже бежишь, и ничего больше не

происходит, даже сердце твое бьется будто отдельно от тебя, далекое и непонятное. И движения у тебя не свои, а как бы позаимствованные.

Вот как это бежать, когда ты вне себя от страха. Оно проникает подо все поверхности, и мы не успеваем броситься вниз по лестнице прежде, чем оно окажется рядом. Нам остается бежать наверх, и мы это делаем, потому что так все равно лучше, чем остановиться. Нога Нисы соскальзывает со ступеньки, она падает назад тем ужасным образом, который обычно приводит к очень плохим травмам, как мама говорит. Сейчас такое падение, наверное, привело бы к смерти или еще к чему-то совсем чудовищному. Мы с Юстинианом одновременно хватаем ее за руки, тянем с такой силой, что она едва не падает в другую сторону.

В кино погони всегда выглядят так правильно. В жизни все получается нелепо, суматошно, и каждое действие на самом деле выходит не таким, на какое рассчитываешь. Вот такая правда жизни.

Но все равно лучше быть быстрым и нелепым, чем медленным и мертвым.

Мир дрожит, его, а не меня, бросает то в жар, то в холод. Стираются контуры предметов, а потом вдруг становятся контрастными, словно нарисованными, и от этого бежать тяжелее, я совершенно не понимаю, где окажусь в следующий момент.

Но меня так и не посещает идея сдаться и посмотреть, что это существо сделает с нами. Я верю в то, что все люди хорошие, хотя бы глубоко внутри, существа же, не умеющие преодолеть порог материи, кажутся мне пугающими и не вызывают желания с ними общаться.

Наверное, это правильно.

На лестнице тесно, и нам постоянно приходится хвататься друг за друга, чтобы не дать упасть себе или кому-то другому. А оно, ну как бы не спешит, и при этом не отстывает. Дивно самоуверенная штука.

Я вот что думаю — если выход на крышу закрыт, мы пропали. А если он открыт, то мы, скорее всего, тоже пропали, но парой минут позже.

Только вот за эти минуты, которые будут проведены не так уж весело и радостно, я сейчас все отдам. В здании девять этажей, не все из них принадлежат мотелю. Лестница вверх открывает нам обычную многоэтажку с железными дверями квартир, в которые нельзя постучаться и попросить о помощи.

Люди не видят нас, не слышат, не знают. А если мы здесь умрем, то и тел наших никогда не найдут.

Я думаю, а может такое и раньше бывало. Никто же не может знать, что, в конечном итоге, случается с людьми, чьих тел, живых или мертвых, так никто и не нашел.

Может вот что с ними случается. Может штука из-под земли их все-таки догоняет.

Вот будет обидно, думаю я, только я вернул папу, и все стало хорошо, сейчас я умру, и все снова будет нехорошо.

Это путешествие кажется мне бесконечно долгим. Оно хуже, чем очередь или неинтересный урок, потому что нужно спасать свою жизнь, а не только терпеть, как растягивается время. Наконец, я вижу дверь на крышу. Замка на ней нет, и Ниса первой распахивает ее. Вообще-то она куда быстрее нас, и у нее было бы больше шансов сбежать, только вот она не хочет никого бросать. Никто из нас даже не думает закрыть дверь, ведь для того, кто гонится за нами преград нет.

Мы оказываемся в просторном и пыльном пространстве чердака. Спотыкаясь о мусор,

мы добираемся до лестницы. Я понимаю, что движения у существа уже не быстрые. Скорее оно ползет. Наверное, знает, что бежать нам, в общем, некуда.

Только на крыше, вдыхая воздух, который проникает внутрь странно, словно я стою перед кондиционером, включенным на полную мощность, я понимаю, что сердце у меня разрывается. Наверное, в этом месте оно будет рваться до бесконечности, на тысячу миллионов кусочков.

— Пожалуйста! — кричит Ниса, затем издает второй визг, уже бессловесный, показывает зубы. Я впервые вижу ее такой, выпустившей зубы не от голода, а от страха. И она вправду пугающая. Но это для людей. Я дергаю ее за руку, чтобы она не останавливалась. Мы подбегаем к парапету, все вчетвером хватаемся за перила, так славно, слаженно и одновременно, словно тренировались.

И оказывается, что бежать больше некуда. Оно ползет к нам. Практически все пространство крыши занято им.

— Матушка, — Ниса падает на колени. — Пощади меня и моих друзей, я умоляю тебя!

Тогда я понимаю, что она знает, кто это. И я тогда тоже узнаю. Они ведь взывают к Матери Земле, их богине. Они взывают к ней с самого начала, и Ниса не могла не узнать ее, как я знаю и чувствую своего бога.

Вот отчего так бесполезно бежать или драться, да даже прятаться. Я вижу перед собой чужую богиню.

Звезды сияют и гаснут, словно цветомузыка на дискотеке. В небе, не нырнувшем в темноту, они все равно кажутся яркими, эти небесные огни. Они ослепляют светом, а потом оставляют меня, и на секунду мне чудятся провода, рассеянные по небу, взбесившееся электричество в них заставляет звезды гаснуть и загораться.

Ниса припадает к холодному камню, целует его.

— Прислушайся к моим молитвам, Матушка, ведь ты вырастила меня!

И хотя зубы Нисы выдают страх и звериную злость, голос у нее становится звонкий, девичий, какого я никогда не слышал.

Небо сходит с ума, а под камнем скрывается богиня. Вот какой у меня сегодня день.

Я, Юстиниан и Офелла не становимся на колени, ведь богиня Нисы нам чужая, мы не знаем, чего она хочет и как говорить с ней, не знаем формул, которыми к ней обращаться.

Мой бог здесь, я чувствую его, но ему, наверное, весело просто смотреть. Ведь, когда у тебя столько глаз, это твое любимое дело.

Я запрокидываю голову, и небо гаснет. Только одна единственная звезда горит ярко и близко.

Я не знаю ее имени, она незнакома мне. Мой бог говорит со мной, а я не знаю его языка.

Офелла хватает меня за руку. Ладонка у нее маленькая, теплая, а лак с двух ногтей немного облез, наверняка, когда она хваталась за поручни, взбегая по лестнице вверх. Ее это расстроит, думаю я, но только если мы будем жить.

А если нет, то и не жалко лак, хотя он розовый и очень красивый.

— Не бойся, — говорю я и даже нахожу, как это обосновать. — Если бы она хотела нас съесть, она бы съела нас уже. Это же богиня.

Юстиниан начинает смеяться, а я смотрю на одноглазое небо. Звезда пульсирует со все большей скоростью, а потом, в какой-то момент, самый лучший из всех, я понимаю, что это самолет. В грудь ко мне проникает воздух сырой и свежий, осенний, настоящий и сладкий

до боли внутри.

Небо темное, звездочка самолета движется по нему вперед, такая маленькая. Мы снова в настоящем мире, как нельзя вовремя.

Офелла издает такой вздох, будто сейчас лишится чувств. Ниса встает с колен, оборачивается к нам. Зубы у нее на месте, я знаю, что нужно отдать ей кровь. Так лучше звучит, вместо покормить, потому что она — не мое домашнее животное.

— Ты знала? — спрашивает Юстиниан. — Что это твоя богиня?

— Не с самого начала, — говорит Ниса. Подносит руку к губам, трогает клыки, будто сама удивлена тому, что они у нее есть. — Но я догадалась. У нас говорят, что она никогда не поднимется к нам. И я поняла, почему. Нет, все-таки догадалась не то слово.

Я знаю, какое то.

— Почувствовала, — говорю я. Ниса кивает.

— Вот почему нам нужно в Парфию. Я попадаю к моей богине, мой папа жрец, он должен знать.

Но когда она говорит "мой папа жрец" звучит все равно так, словно это "мой папа бросил меня".

Я ложусь прямо на пол, касаюсь рукой своей щеки, и она оказывается обжигающе горячей. Моему примеру следуют Юстиниан и Ниса. Офелла стоит над нами, она похожа на комету, потому что яркая и злая, расхаживает на фоне темного неба.

А когда звезды падают, это в августе и называется персеиды, вспоминаю я. Но глядя на Офеллу понимаю, что лучше не говорить. Рядом со мной лежит Юстиниан, такой же разгоряченный и раскрасневшийся, как я, и рядом со мной лежит Ниса, абсолютно холодная и бледная, мертвая Ниса.

— И как мы попадем в Парфию? — спрашивает Офелла. И мне отчего-то ужасно приятно, словно Офелла сделала мне лучший на свете подарок, что она говорит так, будто не представляет, как это — не поехать с нами.

А что Юстиниан будет там, я знаю, потому что Юстиниан любит странные вещи, они делают его вдохновленным, даже если для всех они ужасные и опасные.

Вот Юстиниан и говорит:

— До того как мы все вынуждены были спасти свои жалкие жизни с помощью кардионагрузок, ты меня спросила, что я предлагаю. У меня есть идея самая лучшая, самая невероятная и самая подходящая одновременно. Я хотел бы эмфазировать, если только есть глагол от слова эмфазис, что эта идея действительно гениальна. Однако, есть нешуточная вероятность, что все это будет очень опасно, поэтому дай-ка мне закурить, я все расскажу.

Я люблю путешествия. Мне нравится, как люди радостны и взвинчены, потому что скоро окажутся в каком-то далеком месте. Мне и самому здорово. Мы сидим в главном зале аэропорта и ждем, когда начнется регистрация. Но у нас билетов нет, поэтому мы не собираемся занимать очередь.

Я не скучаю, потому что у меня есть книга, которую я теперь всегда буду носить с собой. Она толстая, вкусно пахнет бумагой и краской, а на обложке изображено звездное небо, и каждая яркая точка на нем подписана, поэтому не осталось места для заглавия.

Название я вижу, когда открываю книгу. Там внушительными черными буквами написано "Атлас небесного бога". Дома такая книга тоже есть. Она, наверное, имеется почти у всех людей нашего народа. По ней мы определяем, кем будут наши дети, гадаем, выбираем благоприятные дни для важных дел. В общем, это важная книга, потому что никто не может сосчитать все звезды на небосводе. Толстая, необходимая книга, где на карте звездного неба отмечены мы все.

В детстве я читал про себя, сопоставлял описания своих звезд, стараясь выдумать другого мальчика, это было весело.

Я бы и сейчас взял ту самую книгу, уголок которой я погрыз, и где до сих пор хранятся мои закладки, но домой возвращаться нельзя. Так что я купил новую книгу и с ней не расстанусь, ведь в страшном мире мой бог говорил со мной.

Я научусь понимать его слова, и он скажет мне снова.

Но это потом, сначала я напишу письмо. У меня в зубах конверт, а на коленях книга и сверху нее лист бумаги. Вот как я неудобно пишу, от этого мой почерк получается еще хуже, как будто дрожит.

Я пишу:

"Милая моя мама, я уезжаю в Анцио с друзьями, потому что мы молодые и хотим веселиться. Я люблю тебя, папу и Атилию, и я рад, что все хорошо. Вернусь через неделю или больше. Очень хочу еще побыть с вами, но молодость скоротечна, об этом все говорят. И хотя как раз для тебя молодость вечна, я уверен, что ты войдешь в мое положение. Передай папе, как я люблю его и сестре, что ее тоже. Не волнуйся за меня, я буду очень осторожен! Люблю тебя, мама".

Я не пишу, что я ее сын и Марциан, потому что это она и без меня знает. Мне не стыдно писать ей о том, что я люблю ее, ведь это правда. Но то, что мы сделали все равно никуда и никогда не исчезнет. Будет болезненной раной, к которой каждый из нас боится прикоснуться. Я почти хочу попросить ее, чтобы она рассказала папе. Может быть, она и сама расскажет. Или я расскажу. Думать об этом так сложно, и я все время прячу эти мысли, сминаю их, как фантики от конфет, и выбрасываю. Но фантики от конфет исчезают навсегда, а мысли возвращаются снова и снова. Вкладываю письмо в конверт, и Юстиниан заглядывает мне через плечо.

— Ты серьезно?

— Я ничего не сказал, — говорю я. — Поэтому я не серьезно.

— Ты будешь писать родителям о том, что уезжаешь? Они ведь будут тебя искать.

— Но не найдут, — говорит Ниса. — Он же не покупал билет.

— В любом случае, письмо это странно. Ты же не барышня из прошлого века. Если бы ты хотя бы объявил в письме о своей помолвке, это показалось бы стилизацией.

— Отстань, — говорю я. — Я не могу позвонить. Потому что они поймут, что я вру. Или я не захочу их расстраивать и сам все скажу. Мне нужно быть стойким.

— Да, — говорит Юстиниан. — Пожалуй, я отстану и схожу за едой. Офелла, ты со мной?

Но Офелла молчит. Она тоже что-то пишет, только ожесточенно и в толстой тетрадке. Ее светлые волосы гладят бумагу, когда она ниже склоняется над текстом. А когда Офелла убирает пряди за ухо, чтобы не лезли в глаза, я замечаю, что у нее по носу рассыпаны едва заметные веснушки, такие светлые, что хочется коснуться их краской.

Она не обращает внимания на слова Юстиниана, словно не слышит.

— Хорошо, — вздыхает Юстиниан. — Ниса, тебе не предлагаю сходить со мной за едой, ведь твоя еда пишет своей мамуле письмо.

— Ты обещал отстать, — говорю я.

— Ты прав, человек моего масштаба должен выполнять обещания.

Когда Юстиниан уходит, мы с Нисой переглядываемся. Вовсе не потому, что хотим порадоваться тому, что Юстиниан нашел себе дело. Я говорю первый:

— Ты думаешь, они сестры? Мама говорила, что ее сестра покончила с собой. Они очень любили друг друга, и мама до сих пор не может смириться с тем, что тети больше нет. А если она есть?

Ниса передергивает плечом. Движение выходит слишком дерганное, чтобы показаться безразличным.

— Я не знаю, Марциан, — говорит она. — Моя мама никогда ничего не рассказывала о себе. Она вообще не очень охотно со мной говорит.

— А папа?

— Он говорил, что мама — парфянка, просто в ней есть чужая кровь, поэтому внешность у нее для наших краев экзотическая.

— А про ее прошлое? — спрашиваю я. Ниса щурится. Она не то чтобы раздражена моими вопросами, скорее, я вижу, она никогда не задумывалась о своей матери.

— Слушай, — говорит она. — Я не особенно интересовалась ее прошлым. Мама и мама. Мне кажется, я на нее всю жизнь обижена. Она очень холодная. Я не знаю, зачем ей вообще нужен был ребенок.

— Ты никогда не рассказывала, что у тебя так в семье.

— Ну, да. Потому что я не хочу думать о своей семье.

— Но если наши матери и вправду сестры, то мы — кузены. И я тоже твоя семья.

Она улыбается. Зубы у нее такие белые, что кажутся синеватыми. Так бывает, если немного стирается эмаль. А она стирается, если часто и подолгу чистить зубы. Так делает Ниса, потому что ей все время кажется, что у нее во рту привкус крови.

— Наверное, об этом мечтают двенадцатилетки, — говорит она. — Встретить лучшего друга, и чтобы он оказался братом. Клево.

— А у вас никогда не было таких случаев, чтобы люди других народов становились как вы?

— Не было. Все говорят, что это невозможно. Даже в учебниках так пишут.

Я достаю фотографию из кармана, снова рассматриваю двух молодых девушек на ней. Одна из них стала женой моего папы, дала жизнь мне и моей сестре, пишет книги про

странную науку и все время нервничает. Другая умерла, исчезла, растворилась во времени, а затем оказалась в Парфии, создала семью и стала одной из народа богини, которую называют Матерью Землей. Звучит странно, и в то же время намного менее нереалистично, чем то, что мир становится черно-белым от червей из глаз Нисы.

Я глажу пальцем мамину шляпку. Она выглядит такой счастливой, но в ее лице и в момент наивысшего спокойствия, до всех произошедших с ней ужасов, есть нечто нервное. Санктина выглядит скорее жадно веселой, как эти люди, которые всегда напиваются на праздниках, потому что ни в чем не знают меры. У нее красивые черты, а от улыбки они становятся резче, будто бы хищными.

Словно в те далекие годы эта девушка уже знала, кем станет однажды. На фотографии глаза у нее, наверное, синие, а может голубые. Не слишком хорошо видно. Но когда я встречал ее в последний раз, они были пшенично-желтыми, как у Нисы.

Когда Ниса отворачивается, чтобы посмотреть на Офеллу, я кладу фотографию в конверт. Когда-то мама порвала все фотографии со своей сестрой и, наверное, она жалеет об этом. Я бы пожалел. Мне хочется вернуть ей фотографию, ведь именно ей, а не Нисе или мне, она на самом деле принадлежит. То есть, совсем на самом деле, конечно, Санктине, но Санктина никогда не думала, что мама умерла и может увидеть ее фотографии в газетах.

— Я письмо отправлю, — говорю. — Хорошо?

Ниса кивает.

Я иду к почтовому ящику, он у выхода и, наверное, существует для людей, которые до последнего забывали отправить открытки. На нем даже кто-то написал "последний шанс".

Я стою около него, думаю, и вправду, вот он мой последний шанс быть честным. Стоит совершить одно движение рукой, опустить письмо внутрь, и я стану лгуном. Мне этого не хочется, но так надо ради моей подруги (и, может быть, кухни) Нисы.

— Прости меня, — говорю я ящику. — Я не хочу ставить тебя в неловкое положение, но так надо.

Ящик синий, с приоткрытой железной крышкой надо ртом, пожирающим открытки и письма.

Я закрываю глаза и на ощупь опускаю письмо в прорезь, отчасти надеюсь, что не попаду, и это будет знак, чтобы Марциан был честным. Но все получается, и я отворачиваюсь от ящика, словно мы с ним незнакомы. Или знакомы, но являемся соучастниками преступления.

Аэропорт такой светлый, что люди в нем кажутся точками на бумаге, отчего-то движущимися в хаотичных потоках. Я чувствую, что снова начинает болеть голова, тру виски. Отовсюду пахнет жареным и сладким, словом всем, что можно позволить себе в аэропорту, ведь находясь в пограничной позиции между домом и путешествием, даже самые строгие люди позволяют себе намного больше. Например, два шарика мороженого или купить газету, на которую иначе деньги тратить не станешь.

Я махаю рукой пареньку из книжного магазина, который продал мне мою книгу про звезды. Он тоже мне улыбается, у него смешная кепка и пушистые волосы. А у нас вот такой план: Мать Земля связана с землей, что логично и тавтологично, как сказала бы моя учительница. То есть, в небе она быть не может, так, по крайней мере, думают Юстиниан и Ниса. Она добралась до крыши, но только потому, что у дома есть фундамент. То есть, в летящем над землей самолете она никак не окажется и существовать там не сможет. А мы сможем, и для этого нам не нужна виза.

Мы решили, что проберемся в самолет через черно-белый мир, сядем там и дождемся, пока нас выбросит обратно, а потом сделаем то же самое перед паспортным контролем. В рассказе Юстиниана звучало просто и изящно, но вообще-то все перечисленное опасно для жизни и трудновыполнимо.

А варианта быстрее у нас нет. Нужно доставить Нису домой и узнать, почему в черно-белом мире за ней гонится ее богиня.

Вот какой у нас план. Нужно выбрать идеальное время, когда регистрация уже закончится, а посадка почти начнется, потому что если мы окажемся в цветном мире до того, как самолет взлетит, то все будет потеряно на ближайшие четыре дня, до следующего самолета в Саддарвазах, столицу Парфии.

Мне жалко Нису, что она одна (хотя нет, она с нами), что ее бросили, но все же мне не хочется верить, что ее не любят. Может, думаю я, ее родители уехали на свой праздник, может быть у них День Пробуждения, который нужно провести на земле предков. Хотя вообще-то все равно несправедливо, что Нисе нельзя с ними.

У каждого народа свои праздники, такие же разные, как боги. Свои способы торжествовать и скорбеть, свои дни, чтобы дарить подарки и отдыхать. У нас, например, есть август, месяц гуляний и карнавалов. Тогда падают звезды, это называется персеиды, я вспоминал недавно, и это значит, что жизнь продолжается, рождаются люди. Хотя, конечно, они рождаются в любое время года, но август напоминает об этом особенным, небесным образом. Родившиеся в августе считаются очень счастливыми.

Мама празднует День Смирения, тогда она не ест, не читает книг и не разговаривает. Такой день бывает один в два года. Он очень важный, хотя мамин бог все равно обижен.

Кассий ест живых оленей в лесу, когда у него праздники, вот он какой человек. Юстиниан тоже, но он бы и из любви к искусству что-нибудь такое сделал.

У каждого народа на земле есть свой День Пробуждения. Один из самых главных праздников, когда все собираются вместе и вспоминают о приходе своего бога, едят вкусную еду, украшают дом и радуются, что однажды к их далеким предкам пришло спасение, которое и дало всем нам чудо жизни на этом свете. Вспоминают и прославляют своих предков, поминают покинувших мир родственников.

Вот как. День Пробуждения — очень добрый праздник, но в нашей семье он немножко и грустный. Мама празднует свой День Пробуждения совсем одна, и мы с Атилией и папой хотя и сидим за праздничным столом рядом с ней, не можем помянуть ее родственников и услышать личные истории о ее боге.

Когда празднуем мы, мама тоже сидит с нами, но недолго, потому что это время нашего бога. Так что у нас в семье два Дня Пробуждения, но ни один мы не можем праздновать все вместе, и границы между народами особенно ощутимы в эти праздники.

Есть и еще один праздник, не для народов, а для людей. Его я люблю больше всех прочих, потому что в нем не разделена наша семья. Он называется День Избавления. Праздник в честь ухода великой болезни, когда последние народы обрели богов и были пересотворены ими, и все болезни стали страшной редкостью, поражающей грешников и богохульников.

В этот праздник неважно, какой у тебя народ, а важно, что ты — человек. Тогда все мы празднуем радость отсутствия страха. В этот день на улицах шумно, люди запускают в небеса салюты (хотя мы так не делаем, там же глаза бога, ему наверняка неприятно), гуляют до утра и много шумят, потому что это здорово — не бояться.

От Дня Избавления во всем мире отсчитывают новый год, потому что много лет назад именно с этого дня началась новая жизнь.

Я окончательно впадаю в мечты о праздниках, когда возвращаюсь обратно. Юстиниан макает в соус куски сырной лепешки, перед тем, как отправить их в рот, протягивает еду Нисе и дает втянуть ее запах. Офелла говорит:

— Я все поняла!

Мы втроем вздрагиваем, настолько не ожидали услышать ее голос, да еще такой громкий.

— Смотрите, — говорит она. — Все на самом деле очень просто.

Она прижимает ручку к губам, оставляя на ней перламутровое пятно.

— На самом деле, конечно, сложно, — говорит Офелла, подумав. Видит на ручке пятно, достает из сумки салфетку и начинает сосредоточенно его стирать.

— Из чего сотворен мир? — спрашивает она. — Что было до Большого Взрыва? Ничто. Отсутствие всякой материи, атомов, даже времени и пространства. Ноль. Понимаете?

— Не понимаем, — говорит Юстиниан. — Но продолжай, это не помеха.

Она раскрывает тетрадь, в ней оказывается много цифр и слов, но подчеркнуто только последнее уравнение. Ноль там равняется плюс единице и минус единице. Учительница говорила мне о том, что существуют отрицательные числа, но по каким они живут законам мы не приходили, поэтому я предпочитаю помолчать.

— Понимаете? Ноль расходится на две единицы. Только так можно сотворить нечто из ничего. Две единицы. Две реальности. Две Вселенных, если хотите. Наша и та, в которой мы были. Я называю ее минусовая реальность.

— Ты гений! — говорю я.

— Нет, — отвечает Офелла, и я вижу, как она краснеет. Это значит, что кровь приливает к сосудам в ее щеках, потому что она смущена. Вот насколько сложные существа появились из одного ноля когда-то.

— Я просто неплохо знаю алгебру и умею фантазировать, — говорит она быстро. — Но основная часть теории заключается не в этом. Помните, что мы все чувствовали?

Я помню. Невероятную близость моего бога.

— Я хожу в мир моей богини. Но там я не чувствовала себя так близко к ней. Марциан, ты ощущал то же самое в Звездном Роднике.

— Намного меньше, — говорю я. Офелла понижает голос, и я понимаю, что сейчас она будет говорить опасные вещи.

— Я думаю, это мир всех богов. Я пока не понимаю, как он соотносится с теми местами, где бываю я и был Марциан. Но я думаю, что они все присутствуют там. Это их общий дом. Их мир. То, что мы считали далеким пространством, где они спали, темнотой и пустотой, на самом деле не в бескрайнем космосе. Боги ближе, чем мы думаем.

Мы слушаем ее, Ниса открывает рот, выглядит так, будто в интересном ей фильме произошел неожиданный поворот. Люди ходят мимо нас, очередь на регистрацию становится все длиннее и внушительнее. Никто не знает, что мы обсуждаем самую большую загадку в истории человечества — откуда пришли боги.

И где они есть.

— Довольно смелая теория, — говорит Юстиниан. Он, в отличие от нас, не замер в благоговейном ужасе. — Даже если это так, причем тут Ниса?

— Серьезно, Юстиниан? — спрашивает Офелла. — Ты считаешь, что я способна дать

ответ на любой вопрос? Просто мне показалось, что это логичная система. Мы здесь, они там. Минус и плюс. Мы изменяем их мир, ведь он двойник нашего, с машинами, домами и всем прочим, а они изменяют наш.

Изменяют нас.

— Я просто заинтересовался твоей теорией и хочу, чтобы ты подлатала в ней дыры, — говорит Юстиниан, как ни в чем не бывало опускает в сырнй соус кусок лепешки. — Но все равно звучит неплохо!

— Неплохо?! Это гениально!

— Ты только что сама говорила, что ты всего лишь неплохо знаешь алгебру и умеешь фантазировать. Так ты все-таки считаешь, что произвела на свет нечто настолько же революционное, как классическая механика или теория эволюции?

Ниса говорит:

— Да пошел ты.

— Что?

— Просто Офелла не может этого сказать, а я могу!

— Почему это я не могу, Ниса?

Я вздыхаю, потом кладу руку на плечо Офеллы, говорю:

— Давайте мы все будем спокойные. Это важно. У нервных людей никогда ничего не получается, ни в кино, ни в супермаркетах.

Поняв, что фраза странная, я добавляю:

— Ни в каких-либо других местах.

— В супермаркетах, Марциан? — спрашивает Офелла еще более раздраженно.

— Я имею в виду это состояние, когда люди начинают пытаться одновременно достать деньги и запихнуть продукты в пакет.

— А, — говорит Ниса. — Знаю такое.

— Мы не о том думаем, — говорит Офелла. — С чего ты, Юстиниан, вообще взял, что у нас получится попасть в минусовую реальность потому, что нам туда нужно?

— Потому что, Офелла, дорогая, у меня получается все.

Он обнимает ее за плечи, проводит рукой по воздуху перед собой, словно демонстрирует аэропорт, который спроектировал собственноручно.

— Но у тебя ничего никогда не получается, — говорит Офелла.

— Ты все испортила, — отвечает он без досады. А я говорю:

— Потому что мы попадем туда не просто так. А потому, что Нисе грустно.

Я ощущаю это скорее, чем понимаю. То есть, я не могу воспроизвести мысли, которые привели меня к этому выводу, но мне вспоминаются движения и лицо Нисы за ужином, вспоминается наш разговор до того, как она расплакалась в мотеле.

— О нет, — говорит Юстиниан. — Именно ты все испортил, а не Офелла. Ты всегда все портишь. Это должен быть момент моего триумфа.

— Момент твоего триумфа был, когда ты придумал план.

— Нет, это был момент моего падения, ведь из-за меня мы все можем погибнуть.

Юстиниан прикладывает руку к сердцу, и Офелла досадливо качает головой, я вздыхаю.

Ниса говорит:

— Мне не было грустно.

Она стучит кончиками пальцев по спинке стула, потом касается гладкой, выкрашенной в морской синий обивки.

— Ты уверена? — спрашиваю я.

— Слушай, поверь мне, я самый равнодушный человек, которого ты когда-либо знал.

— Я-проект, кстати говоря, не всегда совпадает с тем, что мы демонстрируем окружающему миру.

— Если ты сейчас не заткнешься, я тебе в нос дам.

— Ты действительно самый равнодушный человек, которого я тоже когда-либо знал, — смеется Юстиниан.

Ниса оборачивается ко мне, смотрит в упор, и глаза у нее еще желтее, уже совершенно светящиеся.

— Я правда ничего не чувствую, — говорит она.

— Так бывает, когда ты чему-то очень и очень сильно расстроишься. До полной бесчувственности, — отвечаю я. — Но вообще-то расстраиваться не стыдно. И когда тебе плохо, это не стыдно.

— Господин психотерапевт, не могли бы вы приберечь свою катарсическую речь до момента, когда закончится регистрация, — говорит Юстиниан. А мы с Нисой смотрим друг на друга, и значение ее взгляда ускользает от меня. Мне кажется, она одновременно разозлена и благодарна. А я думаю, что сложно не понимать про свои чувства. Я почти всегда понимаю, что именно я испытываю. И хотя я не знаю, как передвигаются трамваи и идет ли на Марсе дождь, я всегда понимаю, отчего меня терзает тоска или отчего мне хочется смеяться.

Ниса не знает, почему ей грустно, хотя она сама называла причину.

Очередь на регистрацию все сокращается, а Юстиниан отлучается за газировкой в большом картонном стакане. Мы все по очереди тянем ее через трубочку, и я замечаю, с каким умилением смотрит на нас какая-то пожилая госпожа. Наверное, мы и вправду выглядим очаровательно. Молодые друзья, собирающиеся в путешествие вместе. Мне кажется, у множества людей именно так начинались самые счастливые воспоминания. Мы напоминаем кому-то о чем-то приятном, и я радуюсь.

Еще я думаю, как сейчас родители. Часы показывают мне, что уже десять вечера. Это значит, что они давно закончили со всеми делами. Наверное, они сейчас в ресторане рядом с Сенатом. Мама пьет лавандовую воду и ест спаржу в сливочном соусе. У папы на тарелке мясо с кровью, а в бокале хорошее сабинское вино. Они обмениваются впечатлениями и составляют планы на завтра, говорят обо мне и Атилии, о книгах, фильмах, идеях, и им хорошо. Все, как раньше, перед тем, как с папой случилась беда.

А к ночи они придут домой и не обнаружат там меня. Утром маме придет письмо, в котором она прочитает, что я в Анцио.

Но я не буду в Анцио, и они узнают об этом. Я даю себе зарок при первой же возможности позвонить им. В Парфии, я надеюсь, мы быстро найдем способ помочь Нисе.

Мне не нравится, что я лгу. Но я не могу рассказать маме и папе о том, кто такая Ниса, как мы связаны с ней. Я не хочу, чтобы они знали, что я был в мире, который Офелла назвала минусовой реальностью. Разложенный на две единицы ноль — последнее, о чем им нужно сейчас волноваться.

Но они будут волноваться обо мне. Что лучше — не знать, где я или знать, что я в месте очень опасном, в месте из которого выхода может совершенно не быть?

Оказывается, что быть хорошим другом и хорошим сыном одновременно может быть сложно. Раньше, еще не так давно, я считал, что главное быть добрым к людям, ко всем к

кому можно. Но получается быть добрым не ко всем одновременно, и давая кому-то свою помощь, иногда отбираешь спокойствие у кого-то другого. Нужно делать выбор, а его критерии каждый определяет сам.

Я решаю вот так: если человеку без моей помощи будет хуже, чем людям, которых я оставляю, то нужно все-таки выбрать помощь. Это не самый справедливый рецепт, но лучшего у меня нет.

Без меня Ниса умрет, а если не умрет, то с ней и что похуже может приключиться.

— Пора, — провозглашает Юстиниан, когда заканчивается регистрация. — Нам нужно действовать быстро, чтобы успеть. Регистрация закончилась, у нас есть примерно двадцать минут, чтобы довести тебя до слез и десять, чтобы сесть в самолет.

— Может, лучше было получить визу?

— Ждать месяц с возможностью отказа без объявления причин? — спрашивает Юстиниан. — Так, котятки, за дело берется профессионал. Поверь, я могу довести до слез кого угодно. В двенадцать лет я написал рассказ про собачку, потерявшуюся в лесу, которая плакала, думая, что хозяин ее бросил, а он, на самом деле, умер, и последней его мыслью было воспоминание о том, как ему подарили щенка.

— Это ужасно, — говорю я.

— Сейчас я деконструировал бы ее.

Юстиниан вытягивает руки, разминает пальцы, словно фокусник, готовый показать номер, требующий особенной ловкости.

— Ниса, дорогая, приготовься. Сейчас я буду действовать.

— Твоя история про собачку меня не впечатлила. Она настолько жалостливая, что я даже разлюбила животных.

Юстиниан подмигивает мне, говорит:

— Закрой ушки, дурачок.

— Прекрати, — говорит Офелла. — Все знают, что ты облажаешься.

— Вымой рот с мылом сама, потому что я занят.

Я болтаю в руке картонный стакан, стараясь понять, есть ли в нем газировка. Оказывается, она закончилась. Мне не хочется, чтобы Юстиниан доводил Нису до слез, но я почти уверен, что у него не выйдет.

— Может, нам отойти в сторонку? — говорю я.

— Все просто подумают, что мы из народа воровства, — бросает Юстиниан, Офелла хмурится, но ничего не говорит.

— А про червя они что подумают? — спрашиваю я.

— Я придержу его рукой, — говорит Ниса. — Если, конечно, Юстиниан все-таки доведет меня до слез. Сомневаюсь.

Она протягивает Офелле ладонь, и Офелла дает ей пять. Юстиниан чуть щурится, кажется, будто он пытается рассмотреть Нису, но ему не хватает очков. А потом Юстиниан говорит:

— Ты просто одна из тех маленьких девочек, которых никогда не любила мама. Некоторые из них становятся плаксивыми истеричками, покуривающими сигарету после очередного случайного секса и вспоминающими о том, насколько незначительны их попытки найти тепло и ласку. Этот трогательный типаж тех, кому всегда немного грустно. Большеголовые феи, сидящие на кофейно-никотиновых диетах и умирающие без любви. Некоторые становятся самыми лучшими девочками на свете, одержимые желанием

понравиться маме, они приносят хорошие оценки, поступают в престижные университеты, находят хорошие работы и приводят в дом правильных мужчин. Счастливые девочки, считающие, что любовь можно заслужить. Они существуют с этим внутри лет до сорока, пока не понимают, что из желания получить то, что другим досталось просто так, они живут не своей жизнью. Тогда они решают надыхаться газом или что-то вроде того. Некоторые устраивают подростковые бунты, сбегают из дома верхом на мотоцикле или папике из машины представительского класса. Но есть и другие девочки, девочки, как ты. Они живут с этим и никуда не бегут. Они учатся понимать, что не нужны и нежеланны. И тогда им кажется, что это больше не больно. Просто смирись, говорят они себе, прими как факт. И однажды утром они просыпаются без желания прыгнуть с крыши, потому что не узнали безусловной любви. Такие девочки думают, что они победили. Выиграли в бесконечной гонке за любовь, отказавшись от забега. Они ни за чем не гонятся, они просто живут с оглушающей пустотой внутри. Им кажется, что они ничего по этому поводу не чувствуют, что все это неважно, сопливые глупости, которые придумали авторы романов, а в жизни все просто. Они дружат, влюбляются, делают все то же самое, что и обычные девочки. Но они не растут. Потому что в тот день, когда они отказались чувствовать, они навсегда потеряли способность избавиться от этой боли, просто загнали ее так глубоко, чтобы больше не замечать. Вот кто ты такая, Ниса. И если ты хочешь помочь себе вырасти, стать взрослой, тебе нужно подумать о том, почему тебе плохо. Твоя мать бросила тебя здесь, одну, и то, что у тебя есть друзья, которые отправятся с тобой на край света, этого не изменит. Ты просто одна из...

— Все, хватит! — говорю я. — Это ужасно, поэтому прекрати, достаточно. Это не вполне правда!

Мне все это слушать неприятно, но я знаю, что так нужно, чтобы мы попали в Парфию и спасли Нису. Мне неприятно, потому что я всегда был любим, и я хочу, чтобы были любимы все люди на свете, а Ниса — моя лучшая подруга, и она заслуживает этого, как никто. Она сильная, смелая и очень верная, она достойна множества любящих ее людей.

Но в жизни так бывает не всегда, и это очень грустно. Я смотрю на Офеллу, она смотрит в пол, ей неловко. Из обаятельного клоуна, Юстиниан вдруг становится человеком пронизательным и злым.

Ниса подскакивает к нему с быстротой неосязаемой и невидимой, бьет в лицо. То есть, наверное бьет, потому что я вижу только, как он отшатывается, едва не падает, а нос у него кровит.

И еще прежде, чем капля крови Юстиниана разбивается о белизну кафельного пола, мир становится другим, уходит в минус. Я вижу, что Ниса сжимает в кулаке извивающегося червя.

— Не выпускай его, — говорю я. — Мы будем его изучать.

— Если кому-то еще понадобится правда о себе, можете обращаться, — говорит Юстиниан, поправляя несуществующий галстук.

Ниса не реагирует на меня и пристально смотрит на него. Мне становится стыдно, что я не защитил ее, хотя так и было нужно.

— Больше ни слова мне не говори, — цедит она сквозь зубы. Ее мягкий акцент, кажется, почти пропадает. Никогда прежде я не видел ее такой злой и совершенно об этом не жалею. Ее золотые глаза пылают в черно-белом мире, как будто колыбели огня, который разгорится сейчас в большое пламя.

— Ребята, я думаю время не ссориться, а бежать, — осторожно говорит Офелла. Ее голос наоборот непривычно тихий.

Меньше минуты назад мы стояли посреди зала ожидания, в толпе прибывающих в Империю и покидающих ее, но теперь в огромном зале пусто. Изредка я вижу тех или иных людей, они словно отражения, только совсем мимолетные, появляются и тут же исчезают, так что и не поймешь, вправду увидел или показалось.

Одиночество огромного пространства, совершенно покинутого людьми оказывается слишком резким. Трещины между квадратами кафеля извиваются, как червь в руке у Нисы, в глазах у меня все расплывается, а может нестабилен и сам мир. Мне стоит привыкнуть к тому, что в минусовой реальности, как назвала ее Офелла, даже изменчивость изменчива.

Я вижу на белых стенах островки туманной пустоты. Что-то серое, свивающееся в спираль, распространяющееся, как мох или плесень, только с такой быстротой, что она заметна человеческому глазу. Эти островки пустоты затягивают. Мне кажется, что спираль хочет поглощать, она голодная и алчущая, так говорят о звериных пастях, а иногда о женском нутре или ранах, и я думаю обо всем этом, когда смотрю вглубь. Так что я рад, когда мы бежим. Странное ощущение — без препятствий преодолеть все этапы пути, на которых обычно ждут регистрация, сдача багажа, паспортный контроль, досмотр. Все оказывается так просто, и от этого невероятно свободно становится в груди.

В мире без людей нет ни запретов, ни условностей, и аэропорт кажется мне совершенно обнаженным. Это просто помещение, в котором не осталось ни одного правила.

Мы оказываемся у выходов за три минуты, вместо обычных двадцати. Здорово знать, что мы преодолели границу, за которую нам нельзя попасть в обычной реальности. Без виз, без билетов, без багажа. По-настоящему удивительное чувство быть вовне.

Я вижу, как за высокими окнами дрожит громада самолета. Как странно, самолет в отсутствии людей сам кажется живым. Огромная крылатая птица, не доисторическая, как птеродактиль, а постисторическая, оставшаяся после нас. Потому что железо существует дольше разных тканей из которых состоит человек.

Кажется, что мы в мире после ухода человечества, и это грустно. Хотя на самом деле человечества здесь просто никогда не было. Мы не оборачиваемся, потому что не хотим знать, двигается ли за нами богиня Нисы. У этого очень простая причина.

Когда мы думали, что за нами гонится монстр из-под земли, нужно было быть очень и очень бдительными, потому что от него можно было скрыться.

Теперь, когда мы знали, что это богиня, оставалось только бежать и надеяться. В конце-то концов, никто и ничего не сможет сделать, если богиня захочет нас сожрать. И если мы в доме богов, то мы в самом пространстве, где ничего не зависит от нас, а зависит лишь от воли существ огромных и загадочных.

Мы забегаем в выход номер девять, над которым горят и гаснут огоньки, складывающиеся в надпись на табло. Мы отправляемся в Саддарвазех, понимаю я, когда мы проходим через длинный, душный коридор и оказываемся в пустом самолете.

Мы в самолете, словно оставленном людьми, но в нашей реальности он должен быть готов к полету и оторваться от земли через пару минут. Я не знаю, как все произойдет, события и соотношения выходят за границы правильного и естественного.

Но мне хочется верить, что мой лучший друг не зря довел до слез мою лучшую подругу.

Ощущение такое, будто самолет уже находится в полете. Я слышу лязг, словно все внутренности самолета дрожат. Нос у Юстиниана больше не кровит, и я думаю, ведь очень хорошо, что Ниса ударила его до того, как мир стал черно-белым, и ранка его стабильна. У него на запястье тонкая пленочка из крови. Здесь она свертывается вовсе не по правилам. Здесь ничего не происходит так, как должно.

В просторном салоне самолета, будто призрак, мелькает стюардесса в аккуратной форме. Она совершает эти странные движения, которые почему-то должны показать, как нужно обращаться с кислородной маской. Но сейчас, в пустом дрожащем самолете, я впервые понимаю, что выглядит это жутко. Как будто она сошла с ума, и со стеклянными глазами и вмерзшей в лицо дежурной улыбкой, совершает странные, ничем не объяснимые и совершенно не сообразные ей действия. Она исчезает и появляется снова, на середине движения. Полупрозрачная картинка, отражение существующей в реальности девушки, которая никогда не видела как сложен мир.

— Вот будет обидно, — говорю я. — Если мы зайдем места, а потом окажется, что мы сидим у кого-то на коленях.

— Я бы сказал неловко, — говорит Юстиниан. Он смотрит на Нису, лицо его выражает не то сожаление, не то раздражение. Мне хочется сказать ему, что он поступил плохо, но на самом деле он поступил так, как нужно. Юстиниан не плохой человек, он бы никогда не сказал ей таких вещей, если бы от слов не зависело все. А я и Офелла, наверное, и не смогли бы. Как в истории с котом по имени Вергилий.

Ниса прохаживается по салону самолета.

— Возвращаться домой тоскливо. Вам никогда так не казалось?

Она приподнимает веко иллюминатора, смотрит на изменчивый мир и хмурится. Офелла садится в мягкое, большое кресло.

— Бизнес класс, — говорит она мечтательно. — Надеюсь, вскоре мы окажемся в нормальной реальности, где нам подадут икру или лобстера с маслом.

— На самом деле не всегда подают икру, — говорю я, а потом смотрю в потолок. Мне чудится какое-то смутное, на границе восприятия находящееся жужжание. Мне это неприятно, хотя мерные звуки я люблю. Даже удивительно, что мой взгляд не сразу натывается на обширное, гуталиново-черное и блестящее пятно на потолке. Оно пузырится, словно под большим нагревом. Кажется, что вся субстанция кипит, а из непроглядно-черных пузырей выбираются, как из яиц, насекомые. Наверное, они похожи на саранчу. По крайней мере, вызывают у меня такую ассоциацию. Большие, с маленьких птичек размером, крылатые и длинноногие существа. Тем не менее изменчивые, как и все здесь — их силуэты, будто восковые, плавятся, затем выправляются, будто под руками невидимого скульптора. Наконец они, окончательно сформированные, вылезают из черной лужи, длинными, неестественно тонкими ногами вышагивают чуть клонясь влево, а потом замирают, будто каменные статуи. Из живого снова приходят в неживое.

Процесс этот происходит медленно, у меня на глазах только две саранчи умудряются выбраться из формирующей их субстанции. Мне кажется, это нечто вроде улья. Или мастерской.

Меня одновременно пугает и завораживает эта тонкая и постоянно нарушаемая граница между тем, что можно назвать неживым и тем, что с необходимостью нужно признать живым.

Я указываю рукой наверх. У лужи в ровный ряд вниз головой висят эти существа, то ли наросты на обшивке, то ли статуи, то ли насекомые. Их много, и меньше не становится. Я читал в книжке, что на Востоке, в стране Чжунго, где, говорят, боги тесно связаны друг с другом, оттого и народы там дружны, есть целая каменная армия. Вот и саранча выглядит как отряд неживых солдат. Папа говорил мне, что прежде первой настоящей жизни, возникшей на земле, старых-старых бактерий, способных обитать на дне Океана или в жерле вулкана, было что-то, что живым назвать еще было нельзя. Это были склизкие комки, поглощавшие разные вещества. Они назывались коацерватными каплями. Из всех признаков, свойственных живым существам, у них было только поглощение. Вот так, живые существа еще не начали смотреть телевизор и играть в теннис, у них не было предвыборных дебатов, крыльев и двух рядов зубов. Но был обмен веществ.

В общем, нельзя сказать, что они полностью соответствовали тому, что мы считаем живым. Но в них было нечто, не присущее неживому.

Вот как, думаю я, у нас на обшивке самолета первобытный бульон сварил саранчу. Я говорю:

— По-моему, это не очень хорошо.

Офелла вцепляется в меня, вся сжимается и утыкается носом мне в плечо. Это приятно, хотя, наверное, она так сделала только потому, что я рядом сижу.

— Ненавижу, мать их, гребаных насекомых! — говорит она, получается неразборчиво и даже как-то мило. Я снова запрокидываю голову и смотрю.

— По-моему, они сами по себе, а мы сами по себе. Может, они нас даже не видят.

От этого почему-то только жутче становится. Разделенность, раздробленность и разбитость пугает.

Ниса пробирается мимо нас и садится у окна. Я думаю, хорошо, что в ряду ровно четыре кресла. Как-то правильно. Юстиниан говорит:

— Ты, Андроник, увидишь, как творятся из моей темноты живые существа по всей земле. Они выходят из озер, полных огня, где я закаляю их и придаю им форму. Помни Андроник, как создано все, что ты видишь на земле.

Губы у него бледные, только так я понимаю, что Юстиниан боится.

В этот момент самолет резко дергается и набирает скорость слишком быстро, так что всех нас отбрасывает назад, прижимает к мягким, кожаным спинкам наших кресел. Саранча остается неподвижной, словно сила, с которой самолет двигается, никак на нее не влияет.

— Ты думаешь, это твой бог делает?

— Или они делаются из моего бога. Думаю, я ни о чем не имею понятия и окончательно окунулся в мир, где каузальная связь настолько сложна, что отказ от интерпретации является единственным выходом позволяющим сохранить относительно здравый рассудок.

Взгляд его устремлен на кипящую черноту, из которой вылезают существа. Может быть, сейчас он жалеет о нашем плане. Самолет взлетает, и я ощущаю, как в барабанных перепонках появляется тяжесть, наказывающая меня за то, что я не стою на твердой и родной земле, как моему биологическому виду и предложено.

Я сплываю, но и это получается неожиданно болезненно. Не только восприятие мира снаружи, но и ощущения от моего тела здесь непривычны и нестабильны.

Ниса стучит пальцем по обледеневшему изнутри стеклу иллюминатора, и я вижу, как ноготь ее покрывается инеем. Снежинка на пластинке ее ногтя кажется изнуоряюще красивой — устаешь считать все эти линии и их сплетения.

— Лучше не трогайте, — говорит она. В кулаке другой руки у нее зажат червь, она отгибает серый пластиковый столик, на который обычно ставят поднос с обедом, прижимает червя ладонью к нему, и я вижу, как он изменился. На секунду мне кажется, что это не червь вовсе, а растение. От его стержня, стебля идут тонкие, так же беспрестанно извивающиеся отростки, и даже у этих отростков есть отростки. На моих глазах они вытягиваются, на секунду кажутся напряженными и ломкими, а потом приобретают ту же расслабленную и быструю гибкость.

— Похоже на ризому, — говорит Юстиниан. — Хоть чему-то практическому меня научила философия последних пятидесяти лет.

Я представляю, как червь разрастается в земле нашего сада, и его отростки продвигаются сквозь влажную и тяжелую землю.

Если умрут цветы, это будет плохо. Катастрофой будет, если червь способен навредить человеку.

Ниса, однако, держит его спокойно. Я протягиваю руку через Офеллу и касаюсь червя. На ощупь он словно покрытая слизью резина. Он не кусается, у него ведь нет зубов, лап, игл. Он вообще не то чтобы безупречно взаимодействует с миром. Мне даже становится жалко это слепое, непонимающее ничего существо. Червь даже не знает, кто его держит и по какой причине, никогда не услышит наших голосов. Он не знает, что за мир вокруг него и способен только двигаться и расти.

Несмотря на его отвратительный вид, он кажется совершенно несчастным созданием.

— Что с ним делать? — спрашивает Офелла. Кажется, и ее саранча пугает больше, чем червь. Она периодически кидает быстрые, взволнованные взгляды в сторону набухающей черноты, которая порождает насекомых.

— Понятия не имею, — говорит Ниса. — Он наверняка так и будет расти, так что носить его с собой явно не вариант.

За окном иллюминатора проплывают звезды на светлом небе, они снова сияют мне, но я вижу их совсем с другого ракурса, чем нужно, так что вряд ли у меня получится понять, что говорит мой бог. По белому небу плывет серебряная луна. Хаотический набор кратеров здесь кажется мне замысловатым узором, как кружево, покрывающее одеяние. Царица Луна, вспоминаю я, так называет учительница свою богиню, властительницу всех ведьм.

Больше книг на сайте - Knigolub.net

Она плывет по небу и смотрит на тех, кто отвержен. У нее серебряная колесница, а может она сама — серебряная колесница, священные тексты никогда не бывают ясны, потому что сами боги не имеют стабильной природы. И теперь я понимаю, почему.

— Я не могу просто держать его.

— Я тоже не буду, — быстро говорит Офелла.

Я беру червя, сжимаю его гибкое тело. Он не пытается пробраться мне под кожу. Кажется, он совершенно не зловредный, но уверены мы быть не можем.

— Может, он просто пытается сбежать отсюда, — говорю я. Я глажу его по длинному, извивающемуся телу. Он ни на секунду не замирает, ощущение его непрестанного движения в моей ладони щекотное и мерзкое, но мне не хочется испытывать к этому несчастному существу что-то плохое.

— У него наверняка есть цель, — говорит Офелла. — В конце концов, все началось с него. Я думаю, что это нечто вроде семени. Он растет во что-то большое. И функционирует в нашей реальности, что само по себе довольно тревожно.

— К чему ты ведешь? — спрашивает Ниса.

— Пока ни к чему, — отвечает Офелла. — Просто суммирую наши знания.

Я тоже отгибаю столик, кладу на него свою книгу, а на свою книгу кладу руку, а в руке у меня червь. Я наблюдаю за ним, ожидаю хоть чего-то. Может, он попробует обвить мою руку? Но нет, на нем только набухают новые отростки, как почки на ветках весной. Сначала они пухлые, овальные, затем удлиняются, становятся тонкими.

Мне вновь делается странно оттого, что мы можем лететь в пустом самолете сквозь звезды в сумерках и плывущую по облакам, как по морю, роскошную луну. У нас на потолке гуталиновый бульон порождает нечто среднее между существами и статуэтками, а перед нами то и дело появляются и исчезают люди, понятия не имеющие, что мы здесь.

Но у нас получается делать вид, что все нормально.

Юстиниан не отводит взгляд от саранчи.

— Мне это нравится даже меньше, чем Офелле.

Как только Ниса слышит его голос, она тут же отворачивается к окну. Я чувствую исходящий от иллюминатора болезненный холод, однако Ниса не обращает на него внимания. Она прижимается щекой к стеклу, и я касаюсь свободной рукой ее плеча.

— Ниса, не надо. Ты замерзнешь.

Смешно получается, потому что когда Ниса оборачивается, одна щека у нее уже серебристая, ледяной узор касается даже белка ее глаза. Выглядит красиво, но теперь еще виднее, что она мертвая.

— Я не мерзну, — говорит она. — Не парься. Эй, Юстиниан!

— Ты решила меня простить?

— Нет. Но я тебе благодарна, потому что все получилось.

— Однако, мы все еще в ссоре?

Ниса молчит. В этот момент самолет снова хорошенько встряхивает, и на этот раз саранча шевелится. Они смешным образом клонятся назад, как кости домино, а затем, словно очнувшись ото сна, начинают перебирать длинными лапками. Мы реагируем намного быстрее, чем когда увидели богиню Нисы. Может быть, мы все держали в головах присутствие здесь жутковатых насекомых и подсознательно были вполне готовы прятаться, а может мы уже прошли стадию, когда страх парализует.

По крайней мере, я чувствую, что все здесь становится для меня привычным. Но мне все говорят, что я быстро привыкаю ко всему новому.

Мы ныряем под сиденья, и уже через пару секунд я слышу глухие удары о кресла. Мягкий шелест крылышек кажется совершенно невероятным. Существа такие отвратительные и агрессивные производят нежный звук, слушать который, наверное, приятнее всего, что я испытываю в данный момент.

Стук лапок, глухие удары, треск распоротой обшивки проникают мне в голову, вызывая боль. Я вдруг понимаю: практически во всех этих креслах сидят сейчас люди, и они не чувствуют ничего. Скрючившись совершенно невообразимым образом, мы не двигаемся в надежде, что нас не заметят. Эта саранча может быть просто напугана пробуждением от толчка самолета.

Я вижу, как одно из насекомых пролетает прямо передо мной, оно шевелит тонкими

крылышками — верхняя пара похожа на те, с помощью которых летает стрекоза, а нижняя имеет сходство с птичьими. На них складки и пятнышки, как на старом веере, и это красиво.

Еще я вижу, что на сиденье слева от нас появляется отражение полного молодого человека в прямоугольных очках. Он пьет кофе, и на его чашке есть темное пятнышко, которое он не замечает. У него в руках газета, и он неспешно переворачивает страницу, когда саранча врезается ему в лицо. Я уверен, что с этой минуты образ этого мужчины будет вставать передо мной, когда мне нужно будет казаться невозмутимым.

Саранча бьется о его тело, но его больше занимает экономика нашей страны. Вообще-то, это практически готовый анекдот о принцепсах.

Маме не понравится.

Когда я думаю о маме, о моей семье, мне временно становится не страшно от саранчи. И страшно оттого, что мои мама, папа и сестра живут, не зная, какой странный и опасный мир скрывается за границами того, что умеют видеть люди.

Моя мама, когда пьет чай из чашечки с лилиями, может сидеть рядом с пропастью, клапаном пустоты. Когда папа проходит по асфальту к машине, он может топтать нечто огромное, ужасное и разумное, а может почти разумное. Сестра, беря с полки книгу, не подозревает, что касается зарождающихся в мерзком вареве существ.

Мне становится противно оттого, как близок к моей семье отвратительный невидимый мир. Какая тонкая пленка отделяет нас всех от странного места, в котором все не так.

У богов есть дом, и он очень близок.

Саранча бесчинствует, но мы ее явно не интересуем. Если бы мы попали в фильм ужасов, почти наверняка саранча бы хотела нашей плоти. Или, по крайней мере, откладывала бы яйца в человеческом пищевode.

Но здесь, в общем, неоткуда взяться хищникам, которые любят (или не любят, не знаю, как тут вернее) людей. Ведь люди тут не живут. Их случайные отражения значат не больше, чем блики на воде.

С одной стороны мысль эта имеет успокаивающее свойство. Существа, живущие здесь (кроме богини Нисы, конечно), не желают нам зла и не интересуются нами. С другой стороны как обидно вдруг оказаться в месте, где мой биологический вид, сумевший покорить землю, и небо, и глубины океанов, не осязаем и не видим, неотличим от предметов вокруг.

Но я все-таки прихожу к мысли, что это все лучше, чем в фильмах ужасов.

Если пострадает моя самооценка, я смогу почитать хорошую книгу или поговорить с родителями. А если кто-нибудь отложит яйца в моем пищевode, я умру (хотя по мнению существ, которые там вырастут, не зря).

Мы просто ждем, пока саранча успокоится. Наверное, не будет преувеличением сказать, что все в самолете напуганы. Кроме, может быть, червя. Он, наверное, не зная ничего, пребывает в гармонии со всем.

Я не сразу замечаю, что свободной рукой обнимаю Офеллу. Несвободная моя рука занята червем, и если бы я обнял Офеллу ей, то, наверное, наша дружба закончилась бы на этом.

Самолет встряхивает, и я ударяюсь головой о кресло. Если сидеть под ним, оно оказывается вовсе не такое мягкое. На полу через пару рядов перед нами, я вижу упавшую саранчу. Она смотрит прямо на меня, и меня не видит. Лежит, словно брошенная ребенком игрушка. Черная и блестящая штучка, не существо.

Мы ничего не говорим, хотя почти уверены, что нам не угрожает опасность. В реальности, работающей по неясным законам, не хочется делать вообще ничего лишнего.

Кто знает, может эта саранча бросится на нас, если мы произнесем хоть слово. А может она бросится, если мы будем постукивать пальцами в определенном ритме.

В мире, где все так зыбко, лучше быть и оставаться очень стабильным, вот что я думаю. В какой-то момент стук затихает, и я думаю, что это саранча нашла, наконец, покой, а потом слышу голос стюардессы. Она спрашивает у полного молодого человека, чьей невозмутимостью я так восхитился, чай ему налить или кофе. Полный молодой человек себе не изменяет, невозмутимо отвечает, что ему хотелось бы чай и возвращается к своей газете.

Хотя стюардесса это не такое испытание, как саранча из жидкого черного улья, все равно многие люди испытывают социальную неловкость, поэтому я в своем герое не разочаровываюсь. За окном иллюминатора проносится звездное ночное небо, оно фиолетовое, а не черное, и это значит, что большая часть ночи позади. Когда стюардесса проходит мимо, мы вылезаем из-под кресел, садимся на наши места и одновременно глубоко вздыхаем. Офелла сразу же пристегивает ремень.

Мы все еще молчим, на этот раз, чтобы не привлечь внимание стюардессы. Есть большая вероятность, что нас посчитают ворами, решившими забраться в самолет и полететь бесплатно. И хотя перед началом полета стюардессы и стюарды обычно проверяют салон на наличие невидимых гостей (это выглядит очень смешно, потому что в тепловизионных очках все люди выглядят, как андроиды из фильмов про далекое будущее), все равно есть шанс проглядеть какого-нибудь особенно хитрого вора.

Особенно хитрый вор, конечно, вряд ли станет видимым до конца полета. Только если он захочется немного понасмехаться над людьми в тепловизионных очках, проглядевшими его, наверное.

Хорошо, что наш сосед такой невозмутимый читатель, она даже не смотрит в нашу сторону. Места впереди пусты, и я понимаю, что обосноваться в хвосте самолета было не только ленивым решением, но и мудрым.

Здесь приятно качает, но большинство людей не любят волноваться о том, что громадная и тяжелая конструкция из железа путешествует в воздушных потоках, пролетая огромные расстояния над землей совершенно неясным для обывателя образом.

В хвосте об этом помнится лучше, поэтому люди любят сидеть в середине. Вот почему я даже еще больше уважаю смелого и полного молодого человека. На самом деле вряд ли он молодой. Хотя многие принцепсы серьезные с самого раннего возраста. Мама рассказывала, что ее папа, то есть мой дедушка, в детстве любил обсуждать торговое сальдо, еще не вполне понимая, что это такое. Мне это показалось смешным во-первых, потому что я тоже не понимаю, что такое торговое сальдо, а во-вторых потому что люди, вечно остающиеся молодыми, на самом деле такими никогда не бывают.

Юстиниан быстро и ловко берет с полки одеяла, не привлекая внимания нашего невозмутимого соседа, и мы укрываемся ими. Мы все не сговариваясь делаем вид, что спим. Это уловка на уровне младшего школьного возраста, однако очень удобная, потому что ничего не нужно делать, чтобы попытаться обвести кого-то вокруг пальца, а еще можно закрыть глаза, чтобы не видеть и не волноваться.

У меня под одеялом червь, он извивается, растет и, наверное, выглядит так, будто у меня тремор. Я совершенно не знаю, куда его девать, поэтому прижимаю к подлокотнику. Он, кажется, не слишком-то и спешит куда-то выползти. Хотя он скользкий и щекотный,

поэтому удерживать его сложно, он все-таки не рвется из моей руки.

Наверное, мы стали ближе. В одном фильме, где все люди ходят в шляпах и разговаривают очень вежливо, говорили: это может быть началом прекрасной дружбы.

В конце концов, попытки избежать ответственности всегда заканчиваются провалом, это закон жизни, из-за которого мы обычно вырастем (морально, потому что физически мы вырастем из-за определенного соотношения гормонов в наших организмах).

В общем, и на этот раз притвориться спящими оказывается не самой успешной стратегией.

— Молодые люди, — говорит над нами женщина, раздраженная, и в то же время неуверенная в том, что она раздражена праведно.

— Да? — спрашивает Юстиниан, голос у него действительно сонный, словно за эти десять минут он успел хорошо отдохнуть.

— Я совершенно точно вас здесь не помню, — говорит она.

— Правда? — говорит Юстиниан, и я держу глаза закрытыми, как будто никому и вправду не захочется меня будить. Не уверен, что смогу сказать что-нибудь хорошее в этом разговоре, но могу показать червя из иного мира.

— Но я, — продолжает Юстиниан. — Абсолютно точно вас запомнил. У вас совершенно очаровательная улыбка, вам это наверняка говорили. Я бы вас нарисовал.

Обычно людям льстит, когда их рисуют, думаю я, может у Юстиниана получится ее обаять. Хотя она, конечно, будет изрядно разочарована, когда узнает, что Юстиниан рисует только разноцветные полосы.

— Дело в том, — говорит он. — Что я еду на биеннале, если хотите покажу мои снимки, они в сумке. Мы с ребятами не спали всю ночь, пытаюсь успеть закончить арт-объект, поэтому как только сели в самолет, сразу отрубилась. Удивительно, что вы нас не помните.

Наверное, стюардесса думает, что если бы мы были ворами, то вряд ли стали бы так подставляться. Рейс ночной, и вправду нас легко можно было не заметить, большинство пассажиров спит. В конце концов, она говорит:

— Прошу прощения за беспокойство.

— Меня зовут Юстиниан. Страшно, страшно благодарен моему богу за это небольшое недоразумение. Оно позволило мне познакомиться с вами.

— Меня зовут Присцилла, — отвечает она. И мне кажется, я слышу по ее голосу, что она улыбается. Это хорошо, потому что если у человека от нас стало хорошее настроение, значит не так и плохо, что мы ворвались в самолет.

Сквозь плед я чувствую дыхание Офеллы, мне кажется, она пытается не засмеяться. Ниса лежит неподвижно, так что я надеюсь, что стюардесса не подумает, что у нас здесь труп.

— Чай или кофе? — спрашивает она.

— Кофе, Присцилла. Ребята, чай или кофе?

— Кофе, — говорю я. — Спасибо.

И только потом понимаю, что не выпутался из пледа и получается вовсе не так невозмутимо, как у моего героя в очках. Я, наконец, вижу стюардессу по имени Присцилла. Это совсем молодая девушка. У нее блестящие темные волосы, забранные в толстый пучок, хорошенькая синяя форма и наивные глаза. Юстиниан подмигивает ей.

— Чай, — говорит Офелла.

— А вам? — спрашивает Присцилла у Нисы, но та не шевелится. Я вижу в глазах Присциллы волнение, наверное, замечает, что грудь Нисы не поднимается при дыхании. Может, даже не отдает себе в этом отчет, но замечает. Мы очень остро реагируем на мертвое, это суть жизни.

Я трогаю Нису за плечо, и она подает голос.

— Нет, спасибо.

— Вам плохо?

Ниса выпутывается из пледа, она такая бледная, что ответ на вопрос уже не нужен.

— Просто долго не спала, — говорит она, затем даже пытается улыбнуться, но только вздергивает уголок губ. Убедившись, что все если не хорошо, то терпимо, стюардесса по имени Присцилла нас покидает, вид у нее бодрый и веселый как для трех утра.

Ниса снова отворачивается к окну. Теперь ледяной узор пляшет на стекле иллюминатора, не касаясь ее щеки. Я понимаю, что все это время она размышляла о том, что сказал ей Юстиниан.

И ей чудовищно тяжело, ведь обижаться на него тоже несправедливо, он сделал, что должен был. Я обнимаю ее, и она кладет голову мне на плечо.

— Я был хорош, правда? — говорит Юстиниан. — Я был хорош просто до неприличия. Кстати, нужно будет и вправду сделать фотографии, которые я хочу повесить на биеннале, но тайно. Если уж мы окажемся в столице скорби и крови, на древнем, святом Востоке, лучше сделать там что-нибудь запоминающееся.

— После того, как мы решим нашу проблему.

— Я думал, что наша проблема в неспособности породить новые формы культуры, потому как логоцентричное искусство изжило себя.

— Ты ошибался, — говорит Офелла.

Нам приносят чай и кофе в белых чашечках, одноразовых, но таких красивых, что сразу и не скажешь. Я пью свой кофе с сухими сливками и сахаром, и мне хорошо смотреть в иллюминатор. Подношу чашку к носу Нисы, и она вдыхает запах. Офелла ожесточенно сдавливают лимон в чашке, и чай все светлеет, а Офелла, наоборот, мрачнеет.

— Что такое? — спрашиваю я.

— А если Ниса не сможет заплакать во второй раз? Как мы тогда пройдем паспортный контроль? Мы задумались об этом?

Я пью кофе и пожимаю плечами.

— Мы будем ждать, когда она сможет.

— И прятаться в аэропорту? Чудесная идея, Марциан.

— По-моему, чудесная. Хотя еще мы, конечно, можем позвонить ее родителям оттуда.

Я, в отличии от Офеллы, рад. Первую сложность мы преодолели. Мы в Парфии. Наверняка, мы уже пролетаем над ней. Я пью кофе и смотрю в иллюминатор. Наверное, думаю я, мы еще не слишком близко. Огоньки разрозненные и далекие. Когда ночью летишь над Империей, она превращается в море огней. Дороги кажутся драгоценными ожерельями, а города россыпью бриллиантов.

В Парфии словно кто-то зажег несколько свечей, не разгоняющих темноты. Но я уверен, что столица окажется потрясающе красивой.

— Я понимаю, что ты волнуешься, Ниса, — говорит Офелла. — Но я не сомневаюсь, что все будет в порядке.

— Ты только что говорила совсем другое.

— Помолчи, Юстиниан.

— Все в порядке, — отвечает Ниса. — Я просто стараюсь думать о грустном.

У нее явно получается. Я целую ее в макушку, когда стюардесса по имени Присцилла забирает у нас чашки. Юстиниан снова подмигивает ей с самым обаятельным видом, затем провожает ее азартным взглядом.

— Надеюсь обратно мы полетим тем же рейсом, — говорит он. — Я не такой человек, который даст поцелуй на первом свидании. Придется ждать второго.

Объявляют посадку, но огней не становится больше. Самолет парит, вскидывая то одно, то другое крыло, а я чувствую как приятно скачет что-то в животе и в груди. Мягкий звон, предшествующий смене ведущего крыла, кажется мне музыкой. Я понимаю, как рад путешествию.

И как многого мы достигли — мы покинули дом. Я над страной, которую никогда и не мечтал увидеть. Не могу сказать, прекрасна ли она, потому что еще далека. Но я уже представляю ее пески.

Я вижу мятное, протяженное свечение аэропорта. Тонкие линии фиксируют для меня его силуэт. Но вокруг почти ничего нет, лишь огни взлетной полосы. Наш самолет приземляется, и я слышу аплодисменты, и сам хлопаю. Это хорошая традиция радоваться тому, что самолет прилетел. В детстве, после моего первого полета, я долго не понимал, почему нельзя хлопать водителю за то, что машина доехала до места назначения без эксцессов.

Я и сейчас не понимаю, ведь автоаварий намного больше, чем авикатастроф. Но водители смущаются, поэтому я так не делаю.

Я сую червя в свою книгу и крепко ее сжимаю, надеясь, что это создание не чувствует боли. Мы вслед за легальными пассажирами входим в хорошо освещенный зал аэропорта. Он не особенно отличается от того, из которого мы улетели, разве что магазинов намного меньше, а вывески термополиумов кажутся менее цветастыми.

Похоже на обанкротившийся имперский аэропорт, в общем. Люди пока тоже не слишком отличаются, потому что другие пассажиры нашего самолета, в основном, принцепсы, ведущие в Парфии дела.

Одно только удивительно и невероятно вдохновляюще — барханы песка, покрытые темнотой и выделяющиеся на фоне сиреневого от проходящей ночи неба. Они далеко за взлетной полосой, красивые и высокие, эти барханы. Песочное море, думаю я.

Юстиниан тянет меня за воротник.

— Пошли, посмотришь на них по дороге. Давай-ка поедим.

Люди проходят паспортный контроль, выстраиваются в очередь, а мы шокируем официантов, сев за столик в единственном термополиуме на этой стороне аэропорта. Наверное, давно они не видели таких голодных людей.

Все официанты в черном, но отчего-то это не кажется мне мрачным, хотя на моей земле черный — цвет траура. Здесь черный цвет земли. Интересно, думаю я, все они народа Нисы? Ни одного желтоглазого нет, но ведь и Ниса не всегда такой была.

В меню ни слова на латыни. Какая-то хитрая вязь, похожая на орнамент, которая на мой вкус вообще не может быть словами, течет по листу меню, как какой-то ручей.

— Что это? — спрашиваю я и тыкаю пальцем в строчку.

— Ты не поверишь, — говорит Ниса. — Это манная крупа, скатанная из более мелкой манной крупы и покрытая манной крупой. С овощами.

— Я выбрал, — говорит Юстиниан. Ниса не смотрит на него.

— Закажи мне стакан молока и лепешку с медом или что-то вроде того, — быстро говорю я. Офелла спрашивает:

— Здесь есть фрукты?

— Уваренные с сахаром подойдут?

Ниса делает заказ, и я удивляюсь, как идет ей язык, которого я прежде не слышал. То есть слышал, но она на нем, в основном, ругалась. Теперь Ниса говорит мягкие, текучие, как парфянская письменность, слова. Мне кажется, у нее даже язык шевелится иначе, чем когда она говорит на латыни.

Впрочем, это-то очевидно, слова ведь совсем другие.

Мы едим, пробуем пищу друг у друга (манка, сделанная из манки и посыпанная манкой, оказывается вполне хороша), а Ниса сидит и делает из салфетки симпатичного журавлика. Вот только тут на нее смотрят с пониманием. Никто не удивляется ее странному поведению. То есть, здесь оно вообще не странное. Ответ здесь находят в цвете ее глаз и неумеренной бледности.

Юстиниан отставляет тарелку последним, он всегда ест медленно, запоминая и анализируя вкусы.

— Так что, попробуем? Только для этого лучше бы куда-нибудь отойти.

Ниса расплачивается по счету, а я думаю, что нужно бы зайти в обменник и стать полноценным членом общества (потому что Атилия говорит, что деньги делают тебя полноценным членом общества).

Мы садимся на железную скамейку подальше от термополиума. Очередь исчезла, а мы ушли, сытые, оттого мы теперь подозрительные лица.

— Что, еще раз? — спрашивает Юстиниан.

— Нет, — говорит Ниса. — Нет, спасибо. Я сама.

Она зажмуривается, сосредотачивается, но ничего не получается. Я беру ее за руку, сжимаю ее пальцы.

— Наверное, от этого только лучше, — говорит Офелла. — То есть, в нашем случае хуже.

— Не мешай ей, — говорит Юстиниан.

Я прикладываю палец к губам. Ниса вздергивает уголок губ. Наверное мы забавные. Мы сидим так некоторое время, никому не хочется ее отвлекать, но и ждать больше нельзя.

Мы словно все сосредотачиваемся вместе с Нисой. Я ловлю себя на том, что пытаюсь вспомнить что-нибудь грустное, и вспоминаю, как далеко моя семья. Они где-то там, вместе, а я здесь и один.

Не один, с друзьями, но все-таки без них.

Уже и я готов расплакаться, хотя слезы противные, а Ниса нет. А потом я слышу голос:

— Я полагаю, ты будешь хитрее, дорогая.

Я оборачиваюсь, вижу Санктину. Она вся в черном, в закрытой и длинной одежде. Ничего кокетливого, как на фотографии. На руках длинные перчатки, воротник схватывает шею. У нее красивое, надменное лицо. Лицо маминой ровесницы, но глаза острее. Охваченные алым губы в легкой улыбке. Она такая же, как и когда я увидел ее в первый раз. Только теперь я смотрю на нее со знанием, что это моя тетя. У них с мамой похожи губы, в остальном они разные, а контраст взглядов делает их вовсе противоположными. Я оборачиваюсь к Нисе, и в этот момент Ниса открывает глаза широко-широко, и я вижу, что

она не грустная, а испуганная. Хотя ради этого мы сюда и приехали, и все даже оказалось проще, чем мы думали, она все равно испугана.

Ведь ее мама здесь, и Ниса, кажется, понятия не имеет, что с ней делать.

Смотреть на Санктину с осознанием того, что мы родственники странно. Я ищу в нас сходство, которого не искал в себе и Нисе. Я похож на отца, а Санктина не похожа на мою маму, мы отдалены друг от друга настолько, насколько возможно, но по неуловимым приметам я стараюсь понять, что у нас общая кровь.

Она вовсе не похожа на смешливую девушку с фотографии, которую сегодня утром будут держать мамины пальцы. У нее холодные глаза, и ее безупречно-прекрасное лицо кажется мертвенным не только от бледности кожи и желтизны глаз.

Затянутая в черное, она кажется призраком из старого дома. Для меня она им и является.

— Мама! — быстро говорит Ниса, и голос у нее меняется, из него пропадает гнусавость, и спокойствие тоже пропадает. Теперь она просто маленькая девочка, такая, словно я совсем ее не знаю. Их с Санктиной черты почти неотличимы, но Ниса напугана и растеряна, а Санктина холодна. Оттого кажется, что зеркало барахлит или что они просто две фотографии одной и той же девушки в разное время ее беспокойной жизни.

Пауза между ними смущает нас всех, но оказывается короткой. Санктина переводит взгляд на нас, и ее лицо, оставаясь холодным, приобретает нужное ей хищное очарование.

— Добро пожаловать в Парфию, малыши, — говорит Санктина. — Хотя я полагала, что вы найдете способ пройти паспортный контроль.

— Вы ждете нас в аэропорту? — спрашиваю я. — Наверное, это просто ужасно неудобно и утомительно.

— Наверное, — говорит Санктина. — Но я здесь только пятнадцать минут. Пунктуальность спасает от множества утомительных занятий.

Все-таки она другая, чем когда я видел ее в первый раз. Тогда мне казалось, что она волнуется за Нису, сейчас, бросив на нее быстрый взгляд, Санктина про нее словно бы забывает. Она кажется мне холодной и острой, такой, словно сделана из камня и льда. И в то же время необъяснимо притягательной.

Мама говорила, что любила в сестре огонь, которого в ней не хватало, но я не вижу в Санктине пламени. И все же, несмотря на это мертвенное впечатление, она невероятно обаятельна. Случайно брошенный взгляд, движение полных, рубиново блестящих губ, тонкие пальцы, затянутые в перчатки, касающиеся запястья другой руки. Кажется, словно каждое ее движение притягивает взгляд.

Она как очень хорошая песня, только вместо того, чтобы слушать, на нее нужно смотреть, и делать это можно бесконечно.

— Мама, дело в том, что...

Санктина поднимает руку, вынуждая ее замолчать, и я вижу, как Ниса захлопывает рот, словно она просто игрушка, которая подчиняется движениям хозяйки.

— Я знаю, — говорит Санктина.

От злости Нисы, которую она испытывала, когда поняла, что ее бросили родители, не остается и следа. Ниса кивает, сцепляет пальцы, и я вижу, как ногти ее оставляют бесцветные, бескровные полумесяцы под костяшками.

Я прежде не знал такую Нису, и смотреть на нее странно. Ниса самоуверенная,

циничная, непробиваемая и влюбленная в еду (теперь безответно), она умеет быть справедливой и честной, она смелая. Вот какая должна быть Ниса. Сейчас вместо моей лучшей подруги — грустный, растерянный ребенок, который разочаровался в помощи, которую искал.

Я говорю:

— А помочь вы сможете? Нам нужна ваша помощь.

Санктина смотрит на меня. У ее желтых глаз узкие зрачки, а в радужке тонут туманности, каких нет ни у Нисы, ни у Грациниана, словно мертвой она пролежала слишком долго.

Точно, так и было. Мама ведь хоронила ее. Мама видела, как крышка гробницы скрывает ее лицо и тело.

Санктина смотрит на меня куда внимательнее, чем в прошлый раз. Ее язык касается ямки над верхней губой, словно голодная кошка смахивает каплю рыбьей крови.

— Жаль, что ты ничем на нее не похож, — говорит она. — Я бы посмотрела на нее снова.

Ее лицо становится неизмеримо прекрасным, потому что нечто человеческое, крохотная искра, придает ее холодной красоте нежность и жизнь. Любовь может спасти, думаю я, даже того, кто умер двадцать два года назад.

Но ненадолго, черты ее снова приобретают мертвенность и остывают, когда она говорит:

— Но ты кровь от крови ублюдка, которому я оставила ее. Жаль, очень жаль.

Она оборачивается к остальным.

— Милая маленькая воровка, мечтающая поступить в настоящий Университет и молодой преторианец, которого мать и отчим выгнали из дома, потому что он стал акционером, все правильно?

— А ты не скупилась на комплименты нам, правда, Ниса? — говорит Юстиниан, и я толкаю его в бок.

— Мы вас, наверное, очень забавляем, — цедит сквозь зубы Офелла, и ее извечная раздражительная вежливость ей отказывает, я слышу в ее голосе почти ненависть. Для Офеллы Санктина — символ тех страшных времен, когда ее народ считался кем-то вроде зловредных зверьков. Ужасные времена это такое дело — к ним не хочется возвращаться никому, потому что только после того, как история делает оборот, понимаешь, какие чудовищные вещи творились.

А ведь люди жили так долго, и никому не приходило в голову, что может быть по-другому. Всегда так получается, по всем учебникам и книжкам, что я читал.

— В любом случае, я очень рада вас видеть, — говорит Санктина, улыбается, и выходит все равно хорошо, хотя никто из нас ей не верит. Наверное, она могла бы показаться нам обаятельной и приятной, однако это не представляется ей необходимым, ведь если мы приехали сюда с Нисой все вместе, мы уверены, что Ниса одинока, и ее родители не слишком добрые люди.

— И я непременно все объясню тебе, Ниса, — говорит Санктина. Она разворачивается и не дожидаясь нас направляется в зал. Турникеты паспортного контроля оказываются открытыми для нее и для нас. Я начинаю привыкать к тому, что перед нами не существует границ, настолько мы важные гости.

Люди провожают нас взглядами, но Санктина словно не обращает на это внимания. Она

достаёт из кармана портсигар, золотой, инкрустированный сапфирами, с щелчком открывает его и достаёт толстую сигарету, не согласующуюся с её образом. Она закуривает, когда мы проходим мимо зачеркнутой красным крестиком сигареты. Санктина явно получает удовольствие от того, что ей позволено все или почти все.

Она протягивает портсигар Офелле, но та отказывается, явно раздраженная тем, что Санктина знает о её привычках. Санктина затягивается глубоко, так что вдох её пожирает сигарету на треть. Она явно не ощущает вкуса, но, может быть, ей нравится тепло в горле, хотя и это сомнительно. Ощущение от этой ничего не значащей привычки неприятные. Полые, пустые шкурки из-под человеческого. Я думаю, что мама пришла бы в ужас, если бы увидела её.

Пугающая и прекрасная женщина, в которую Санктина превратилась, все еще мертва. Чуда не случилось, мама и вправду потеряла Санктину. От этого мне становится грустно, но я вспоминаю, что еще хуже Нисе. Когда я беру Нису за руку, ладонь ее остается безвольной. Она идет, понурив голову, а воздух смывает в ее сторону сигаретный дым.

— Ты знала? — спрашивает Ниса хрипло. Санктина говорит:

— Мы поговорим позже. Хорошо?

Она задает вопрос легким, незаинтересованным тоном, словно ответ Нисы заранее известен, и они обе играют в пьесе, которую разучили давным-давно. А моя мама любила и любит Санктину, сердце ее переполнено скорбью оттого, что маме хочется, чтобы сестра ее, как прежде, жила. Она была со мной, говорила мама, а теперь заточена в холодный камень.

Аэропорт просторный и белый, но в отличие от того, который мы покинули, здесь очень мало цвета. Смешные вывески, от которых болит голова, яркие журналы, цветная одежда встречаются настолько редко, что смотрятся совершенно иначе, чем дома.

Зал кажется еще больше оттого, что не заполнен так нравящимися путешественникам магазинами и термополиумами. От этого же он кажется и более одиноким.

Люди здесь рассеяны, они не стоят у стоек, не сидят за столиками, большинство термополиумов (а их тут мало) пустыют. За окном светлеет небо, оно становится из фиолетового розоватым, и скоро встанет солнце, питающееся смертью. Я рад, что не увижу, как люди вокруг превращаются в спешащих по своим делам мертвецов.

За большими окнами я вижу шоссе, по которому едут в город машины. Между барханами песка дорога извивается вдаль, как потерянная ребенком ленточка. Ее прибывает к земле далекий силуэт города, тяжелый и приземистый, совсем не похожий на имперскую столицу. Мне интересно увидеть его изнутри, и я думаю, что это здорово наблюдать, как непохожи наши города, как мы непохожи. Здорово, что мир огромный и разный.

Но я не могу насладиться им в полной мере, потому что мне обидно за Нису.

Мы вступаем на эскалатор, и он медленно везет нас в глубину. Санктина пальцами тушит сигарету и отправляет ее вниз, ровно в урну.

Я ожидаю увидеть метро, но пространство под землей оказывается не станцией. Я попадаю в место широкое, словно подземная улица. Искусственное освещение непривычно яркое, готовое превзойти солнце. Люди, которые прячутся от него, и тоскуют по нему невероятно. Под потолком висит огромный, светящийся желтым шар, из-за его огранки кажется, словно он испускает на землю лучи, как настоящее солнце.

— Какая красота, — говорит Офелла, а моим глазам больно.

У меня в руке все еще книжка, в которой зажат червь, но теперь его отростки начинают вылезать, и я заталкиваю их обратно. Санктина вдруг оборачивается, словно почуяв что-то, и

мы едва не сталкиваемся с ней. Я выше нее, но отчего-то мне кажется, что я ребенок, а она — пугающая взрослая.

Ее рука с обманывающей зрение быстротой вырывает червя из моей книжки.

— Твоя закладка? — спрашивает она.

— Это вылезло из моего глаза, — говорит Ниса.

Санктина улыбается, свободной рукой берет Нису за подбородок, потом ее пальцы в бархатных перчатках скользят вверх, гладят уголок ее глаза, будто стирают невидимые слезы.

— Это было больно? — спрашивает она. Ниса качает головой. Юстиниан склоняется ко мне и шепчет:

— Стерва, правда?

Я хочу сказать ему, чтобы не называл так мою тетю, но отчего-то не получается. Я испытываю к ней нечто очень сложное, наверное, в жизни не испытывал ничего тяжелее. Она — значимый для мамы человек, может даже самый значимый, а значит она связана и со мной. И в то же время она просто оглушительно неприятная, кажется даже старается такой быть.

Санктина швыряет червя на асфальт, и он мгновенно вползает в крохотную трещинку, словно для него нет таких условностей как пространство и размерность. Он быстрый и способный вытянуться в узкую нить.

— Что ты делаешь, мама?!

— Это просто мусор, милая. Он совершенно неважен.

— А мне кажется, что важен, — говорит Офелла, но Санктина только улыбается ей, да так, что Офелла замолкает, а потом краснеет от злости, ведь сдалась человеку, который презирал весь ее народ.

Мама говорила, что она и Санктина были такими. Что вправду считали другие народы забавными и игрушечными, ненастоящими людьми. Я не могу представить такого о маме, но она открыто признается в том, что заблуждалась.

Санктина же выглядит так, словно для нее в мире не существует никого, ни дочери, ни мужа, ни собственного народа. Никого, кроме нее самой. Это привлекательно, и в то же время неприятно. Можно смотреть на ядовитые цветы с удовольствием и иногда даже хочется их коснуться, но внутри тебя никогда не умирает уверенность в их смертоносности.

Подземная улица широкая и просторная. Она не слишком-то отличается от тех, что я привык видеть. У остановки замирает, впуская внутрь пассажиров, автобус, водители маршрутных такси заывают в неправильно припаркованные машины, люди спешат и скрываются в транспорте, говорят на звучащем по-иному языке, но, наверное, похожие вещи.

— Мы со всем разберемся, милая. Но вовсе не обязательно было приводить с собой друзей.

— По крайней мере, одного друга я забыть не могла, — говорит Ниса, но она все равно словно тень себя прежней, нагловатой и обаятельной.

Мы садимся в машину Санктины, черную и блестящую, какой и полагается управлять женщине вроде нее. Санктина и ее автомобиль удивительным образом схожи, роскошны и неудобны одновременно.

Я понимаю, отчего еще мне так странно, кроме как от удивления тому, что под землей жизнь такая же насыщенная, как и над ней. Мы вышли из завершающейся ночи в яркий, искусственный день. Свет здесь обжигает глаза, словно в полдень.

Ночные существа, к которым несомненно принадлежит народ Нисы, мечтают о самом светлом из дней. И хотя солнце не несет с собой опасность, каждому из них, наверное, хочется вспоминать, как это, когда свет касается тебя и не обнажает твою смерть.

Это очень понятное стремление.

Еще удивительно, что совершенно никто не ест на улице. Я и не понимал раньше, как много людей жуют на остановках, пьют кофе из картонных стаканчиков, делятся друг с другом орешками, покупают шоколадки.

Ничего этого под землей нет. Нет и продуктовых магазинов. Очень простые штуки, привычные настолько, что их не замечает никто. Однако, когда они исчезают, кажется, будто ты вернулся домой, а вещи переставлены кем-то, и не хватает чего-то важного, но ты не можешь вспомнить, чего.

А потом оказывается, что у тебя больше нет книжного шкафа или холодильника, или еще чего-нибудь, без чего жить никак нельзя, но считая статуэтки на полке, ты не сразу это заметил.

Вот такая история, и она очень неприятная.

В машине пахнет кожей и парфюмом, но в ней не хватает запаха самой Санктины, поэтому кажется, словно машина новая, только что купленная, и сели в нее в первый раз.

Юстиниан говорит:

— Отличная машина. И устроено у вас все интересно.

Санктина смеется, и смех у нее выходит звонкий, льдистый, но живой.

— Ты, наверное, ждешь экскурсии. Я ее проведу. В конце концов, я ненавижу радио.

Но некоторое время она молчит. Снова распахивает портсигар, закуривает вторую сигарету и уничтожает ее так же быстро.

Я вижу никотиновую зависть Офеллы, она крутит в руках свою розовую зажигалку с блестками, но не хочет спрашивать, можно ли ей закурить. Я надеюсь, что Грациниан всем понравится больше.

— Как она? — спрашивает вдруг Санктина. Голос ее становится мягче, подтаявшим льдом. Я понимаю, о ком она.

— Пишет книжки и занимается благотворительностью.

— Этого я и ожидала, — говорит Санктина, выпускает дым в зеркало заднего вида, так что за ним я пару секунд не вижу ее лица. А когда снова вижу, оно грустное.

— Она счастлива?

— Думаю, да. То есть, конкретно теперь не знаю, ведь я здесь, и она будет волноваться. Но вообще-то мы любим ее, а она нас.

— Это удивительно.

Мне кажется, что Санктина ревнует маму ко мне. Ведь мама теперь часть чего-то другого, отдельного от Санктины. Словно она думает, что связь между ними разорвана мной. Мне это неприятно, ведь я ничего не хочу рвать и портить.

— Вы знали, что это я?

— Я поняла не сразу. У нас было немного времени, так что мы бы все равно не изменили своего решения. Впрочем, твое сходство с ним очевидно, странно, что я не догадалась сразу.

Она не называет папу по имени, ведь он для нее больше, чем враг. Он забрал ее страну и ее сестру.

— Я бы не стала тебя выбирать сознательно. Но теперь, когда все случилось, я больше

не жалею. Все к лучшему, мой дорогой.

— Как вы выжили? — не выдерживает Офелла. Это самый главный вопрос, но мне он кажется неловким. Взгляд Санктины в зеркале заднего вида на секунду замирает. Наверное, она видит отражение зажигалки в руках Офеллы.

Я вижу отражение ее взгляда, который тоже направлен на отражение. Смешно.

— Можешь закурить, — говорит она. — Хотя обычно я исповедую принцип "что позволено Юпитеру, не позволено быку", у меня хорошее настроение.

С Нисой мы разлучены, она сидит рядом с Санктиной, отклонившись чуть в сторону так что ее в зеркале я не вижу. Я тоже прижимаюсь лбом к стеклу, пытаюсь повторить позу, словно это сделает нас ближе.

Офелла закуривает, и удушливого сигаретного дыма в салоне становится больше, это перебивает запах новой кожи и мучительно-сладкого парфюма. Я чувствую, как больно становится в голове, и даже начинаю скучать по предыдущим ароматам. Но все это можно терпеть, если смотреть в окно.

Улица длинная, огороженная стенами с обеих сторон, как станция метро, но неизмеримо более широкая и освещенная хорошо, хотя и бездушно. Никаких деревьев здесь нет, оттого все пространство делается совсем искусственным.

Есть и еще кое-что, логичное и одновременно странное. Высоких домов нет. Жилых домов, в принципе, нет. Есть небольшие, низкие магазинчики, из тех, в которых навалено всякой всячины, а от тесноты в них быстро становится душно, но все равно интересно, поэтому люди могут торчать там часами.

Есть странные постройки, совсем небольшие, по размеру не превышающие средний сарайчик, черные, но нарядные, с позолоченными украшениями, дверьми с резными узорами. Я бы мог принять за дома их, но у меня не получается. Слишком уж они крохотные, семья там точно жить не будет. Или будет, но очень плохо и распадется из-за недостатка личного пространства.

Но зачем так старательно украшать эти постройки, если в них не живут люди? Технические здания редко делают очень красивыми. Санктина говорит:

— Это нижний Саддарвазех. Элитная часть города, принадлежащая, как вы понимаете, таким, как Ниса и я. Мы проезжаем самый скромный отрезок, фактически пригород. Дом здесь может позволить себе, скажем, чиновник.

— Даже если чиновник позволит себе дом, — говорю я. — То где он?

Санктина смеется.

— Посмотри вокруг. Это все дома.

— А людей с клаустрофобией вы отправляете в ссылку? — спрашивает Юстиниан.

Но Санктина не отвечает. Экскурсовод из нее не слишком хороший, думаю я. И понимаю, почему Ниса была в таком восторге от Империи. Несмотря на то, что Саддарвазех — чистый, ухоженный и далеко не бедный город, в нем нет ничего приятного.

Лишенное солнца пространство внутри и испепеляющий зной наверху, отказ от настоящему больших пространств внутри и огромная, безграничная пустыня снаружи — все это здорово и даже по-своему красиво. Подземельная, прохладная духота пленяет меня, однако жить здесь постоянно я бы точно не смог.

Наверное, люди гуляют в верхней части города. Здесь я вижу только тех, кто ждет своего транспорта и посетителей редких магазинов. Никаких скамеек нет, даже на остановках. Конечно, здесь, в основном, живут мертвые. Вряд ли они сильно устают, по

крайней мере за Нисой я такого не замечал. И все-таки отсутствие привычных деталей производит на меня впечатление еще более унылое, чем отсутствие солнца.

Хотя его суррогаты пролетают над нами. Я вижу это, когда Санктина нажимает на кнопку, и крыша машины с мягким, механическим звуком отъезжает назад, обнажая пролетающие над нами светящиеся шары.

— Реализовано все весьма интересно, — говорит Юстиниан. — Вы ведь не часто проводите экскурсии людям из Империи?

— Нечасто, — Санктина касается сигареты кончиком языка, чтобы потушить, и выбрасывает ее в окно. — Но подземная часть города не секрет, который ты можешь продать журналистам, малыш. Официальная причина — перенаселение. В конце концов, Саддарвазех окружен пустыней.

— А неофициальная — существование народа живых мертвецов, — говорит Офелла.

— То, что ты об этом знаешь, само по себе настораживающий фактор. Я думала, Ниса дорожит друзьями и будет осторожнее.

— Мама, пожалуйста, — говорит Ниса, но тише, чем обычно. Я говорю:

— Вы что собираетесь нас убить?

— Что? Вы серьезно? По-вашему я развлекаюсь убийствами молодежи на досуге, прямо между делами внешней и внутренней политики. В лучшем случае, вы будете молчать из жадности, в худшем — из страха. В Парфии достаточно людей, которые могут заняться вами вместо меня. Я не собираюсь вам угрожать, никоим образом. Наоборот, я рада, что у Нисы появились друзья.

— Странно, но совершенно на это не похоже, — говорит Юстиниан. Сигарета Офеллы почти догорела, розовый фильтр прячется в ее бледных пальцах.

— Вы просто чудо какие дружелюбные, неудивительно, что вы с Нисой поладили.

Санктина похожа на Саддарвазех. Она такая же неприветливая, такая же искусственная и такая же неизъяснимо притягательная. Они с этим темным городом просто созданы друг для друга.

— Твой отец, Ниса, очень волновался. Прости, что мы вынуждены были покинуть тебя.

— Вы бросили меня.

— У нас были дела.

— Как так получается, что ваши дела всегда важнее меня?

— Мы влиятельны и увлечены работой, дорогая. Прошу тебя, здесь же твои друзья, а не мои. Твой подростковый бунт давно должен был окончиться унижительной неудачей.

И тогда я понимаю, она делает это специально. Она говорит все это не потому, что не понимает, как больно Нисе. Она говорит все это, чтобы Нисе было больно.

— Зачем вы так себя ведете? — спрашиваю я. Санктина не реагирует, но машина разгоняется, и я понимаю, что попал в точку. Марциан — детектив-психолог. Я повторяю свой вопрос, потому что когда повторяешь слова, твой собеседник уже не может отвертеться.

— Что ты имеешь в виду?

— Обижаете свою дочь, — говорю я. — Вы делаете это специально. Это неправильно.

— О, ты хоть в чем-то на нее похож, — говорит Санктина. — Теперь еще сложнее смириться с тем, что ты слабоумный варварский детеныш.

— Нет, — говорю я серьезно, ничуть не разозлившись. — Вы сейчас так сделали, чтобы я думал, что вы обижаете вообще всех. Это тоже специально.

Детектив-психолог должен быть последовательным до самого конца. Санктина смеется.

— И вправду, — говорит Юстиниан. — Вы иллюстрируете понятие "плохая мать" даже лучше, чем описания клиента в середине психотерапии. Я даже удивлен, что Ниса не занимается творчеством.

— Юстиниан! — говорит Офелла.

— Что? Ты же тоже разозлена!

— Мы здесь в гостях. Нужно вести себя прилично!

Ниса остается на редкость безучастной к тому, что нам хочется ее защитить. Она не раздражается, но и не проявляет интереса. Разговор становится все неприятнее, все больше похожим на сон, когда у тебя температура — бессмысленным, выматывающим и от него холодеют руки.

Санктина говорит:

— Не вынуждайте меня, я не хочу действовать решительно. Я же сказала, что не люблю радио.

Легкомысленность и легкость сочетаются в ней с холодной мертвенностью, и по-своему это красиво. Санктина — льдинка в сладком алкогольном коктейле.

Мы, наконец, подъезжаем. Я понимаю, что совершенно не в силах сказать, сколько времени прошло. Санктина обладает удивительным свойством, время с ней действительно летит незаметно. Так обычно говорят о приятных людях, но и за мучительным разговором поездку скоротать тоже можно.

Родители Нисы богатые, я это знаю, поэтому и ожидаю чего-то другого от ее дома. А вижу такой же симпатичный, но сарайчик, огражденный золотым забором. Словно все деньги ушли именно на этот забор, да и то квадрат получился небольшим. На другой стороне я вижу еще несколько таких построек, от тех, что в начале нижнего города, они отличаются только красивыми заборами.

На воротах забора, ограждающего дом Нисы, два золотых голубя держат два цветочных стебля. Я вижу розу и лилию, и их силуэты кажутся мне знакомыми. То есть, в этом-то ничего удивительного нет, потому что я живу в мире, где есть цветы, и они попадают на глаза.

Но сама техника исполнения кажется мне очень и очень родной.

Хорошо видно, что в этом городе живут хищники. И пусто, мне кажется, потому, что хищники не слишком любят бесцельно гулять. Мне так не нравится, я люблю смотреть на разных людей.

Санктина вводит код на панели, и ворота, такие старомодные с виду, с автоматическим щелчком открываются. Это тоже оказывается неприятно, словно мы входим в дом с привидениями.

В крохотной постройке едва уместятся два человека, и как там живет Ниса, я представить себе не могу. Абсолютно черное здание в месте, где не хватает освещения (потому что сколько бы искусственных светил ни повесили вокруг, они никогда не станут солнцем, будет где слишком ярко, а где и почти темно), выглядит не слишком заметно. Кровля крыши украшена тонкими золотыми узорами, похожими на чешуйки. Рисунок объемный, словно сделанный глазурью, и это придает зданию некоторое сходство с пряничным домиком, но в его черноте нет ничего милого.

Перечный домик, думаю я. Я не нахожу ни единого окна, но это меня даже не удивляет. Наверное, я потерял способность к культурному шоку.

Перед дверью еще одна панель, к которой Санктина прижимает большой палец.

Технология выглядит дорогой и надежной, но совершенно ненужной для такого маленького, не имеющего возможности быть значительным пространства. Мы стоим позади Санктины, и я смотрю на Нису, но она отводит взгляд.

Как будто теперь я знаю о ней нечто постыдное, хотя на самом деле стыдно здесь быть только Санктиной. Ну, еще, может быть, Юстинианом. Он делал много ужасных вещей и часто обнажается на публике.

Санктина пропускает нас внутрь, и мы оказываемся в просторном лифте. Для лифта помещение очень и очень большое. Насколько оно крохотное и невероятное для дома, настолько же роскошно-огромное для лифта. В отличие от лифтов Империи, этот не выглядит просто транспортом. Он часть дома, так же заботливо украшенная. На стенах черно-белые обои с цветочным орнаментом, панель затейливо украшена вензелями, и каждая кнопка блестит от крохотных вкраплений драгоценных камней, которые окружают ее.

Этажей в доме четыре, и мы на первом. Тогда я все понимаю.

Это город, растущий вниз. Он уходит под землю, он наизнанку и наоборот. Мне становится так странно, что я вздрагиваю, когда лифт издает мягкий звон, оповещая, что мы приехали на третий этаж.

А когда открываются двери, я понимаю, отчего никто не гуляет снаружи, отчего так безвидна нижняя часть города. Им никуда не нужно выходить, они живут в роскоши и красоте, забывая о бессолнечном мире.

Мы оказываемся в длинном коридоре, потолки украшены таким искусным сплетением серебра и золота, что мне кажется, я вижу множество образов, хотя на самом деле орнамент ничего не изображает. Мне чудятся цветы, животные, ягоды и птицы, спаянные в невероятной сложности, которую называют еще миром.

Но стоит моргнуть, и образы меняются или вовсе исчезают. Работа такая тонкая и роскошная, что заменяет, наверное, сады и леса. Она изменчива, как человеческий разум, и всегда идет вровень с ним, оттого можно смотреть на нее вечно.

Я не могу оторвать взгляд от потолка, пока шея не начинает болеть. Это искусство для тех, кого пожирает солнце, но мне кажется, и я бы смог просидеть так несколько лет, глядя на то, как сливаются золото и серебро надо мной.

Папа говорит так: отказ, недостаточность снаружи всегда означают излишество и избыточность внутри.

Все здесь не то чтобы красивое, это не красота в понимании, например, народа воровства, но удивительная причудливость, которая даже лучше красоты, потому как ни на секунду не отпускает глаз и вызывает почти противоестественный интерес.

На красных обоях распускаются черные розы, а вместо дверей тяжелые и бархатные, как занавес в театре, шторы, сцепленные золотыми защелками в форме двух вцепившихся друг другу в глотки псов, дерущихся львов и прочих конфликтующих животных. Здесь можно смотреть на каждую деталь, как в музее. Хочется остановиться, потрогать защелки руками, посмотреть, как они устроены.

Пол мраморный, в прожилках, в которых естественным образом видятся иногда всякие образы. Например, я вижу полицейского с угрожающим лицом, поэтому отвожу взгляд. Все здесь создано, чтобы привлекать внимание, все мелко-мелко, даже плинтус покрыт рисунком. Я не сразу понимаю, что крохотная черная вязь похожа на нечто вроде непомерно разросшегося червя, которого отобрала у меня Санктина.

Звездочки его отростков, сцепляющиеся друг с другом, длинное туловище, похожее на провод, идущий через белизну плинтуса.

— Что это? — спрашиваю я.

Санктина ловит мой взгляд.

— Ростки Матери Земли, — говорит Санктина, и Ниса вздрагивает.

— Я болею? — спрашивает она со страхом, но Санктина не удостоивает ее ответом. Она останавливается у одной из штор, нажимает на кнопку, и защелка в форме двух дерущихся кошек раскрывается, так что кажется, что конфликт между ними решен.

Мы входим в помещение, которое никак назвать нельзя. Не спальня, не столовая, не библиотека, не гостиная.

Оттого, что тут есть только подушки, комната будто лишена всякого смысла. Я решаю, что это все-таки столовая, потому что в центре стоит большой стол красного дерева, но оттого что у него нет ножек, он больше похож на хорошо отполированную и лакированную доску, которой непонятно с чего оказана такая честь, ведь она не является мебелью.

На доске стоят золотые кубки, но не только. Чуть в стороне тарелки, в которых покоятся несколько фруктов, товарищи их, наверное, пали в предыдущую трапезу. Есть и еще какие-то штуки, длинные, золотые и острые, они на посуду вовсе не похожи. На столе дымится в подставке благовония, и я понимаю, что это место, вообще-то, не слишком приспособлено для еды, которую едят обычные люди.

Никому бы в голову не пришло поставить благовония на стол. Резкий, сладкий запах мешает еде, от него болит голова.

А вот подсластить кровь он вполне может. В этом доме все разучились есть, это понятно.

Я вижу Грациниана и понимаю, что даже соскучился по нему. Он лежит на подушках, иногда протягивает руку к столу и касается пальцем пепла, в который медленно превращаются тонкие палочки.

У него на лице тоска и волнение, но они тут же исчезают, как только он видит Нису и Санктину.

— О, Пшеничка, милая! Я так волновался за тебя!

Но слышно не столько, что он волновался, сколько, что он виноват.

— И твои милые друзья, — говорит Грациниан с удивлением. Его мягкий и нежный голос взвинчен, словно он собирается петь. Я смотрю на него с недоверием, но он явно и сам себе не доверяет, хотя старается казаться расслабленным.

Тогда и я понимаю, что с Нисой все серьезно. Санктина делает шаг к нему, и он ловит ее руку, касается губами пальцев, затянутых в перчатки, потом притягивает ее к себе и целует в живот.

Мне это кажется странным, но, судя по всему, Нису подобные сцены как раз совершенно не шокируют. Она молча садится на подушку, ждет, пока ее родители отстранятся друг от друга.

Мои родители любят друг друга, мы с Атилией никогда в этом не сомневались, однако при нас они всегда ведут себя с нежной сдержанностью, ласковые друг к другу, неизмеримо близкие, но и подчеркнуто отрицающие любую страсть. Оба они люди такой природы, какие отказываясь от чего-то, только распалют себя, люди такой природы, которые возводят достоинство и сдержанность в ранг удовольствий.

Родители Нисы — совершенно другие, и мне опять странно думать, что мы

родственники.

Мои дядя и тетя, пытаюсь представить я, вот же они. Грациниан откидывается обратно на подушки, тянет Санктину за собой.

— Добро пожаловать, — говорит он. — Так и быть, Пшеничка, мы поужинаем с твоими друзьями, а затем объясним тебе все.

Мне кажется, что он радуется нашему присутствию, позволяющему ему отложить разговор еще на некоторое время.

Тогда я убеждаюсь в том, что если кто и знает, что с Нисой, то это и вправду ее родители.

Потому что они во всем и виноваты.

Грациниан говорит:

— Вы, наверное, устали с дороги. Голодны?

Он облизывает губы, тронутые золотистым сиянием, и я понимаю, что голоден он, потому что вижу его клыки. Они такие белые, что даже не верится, в этом пустынном, золотом краю, наверное, ничего белоснежнее этих клыков нет.

— Папа, я хочу, чтобы вы мне все объяснили!

— Дорогая, — говорит Грациниан. — Ты ведь понимаешь, что это дела Матери Земли, и мы совершенно точно не будем обсуждать их при посторонних.

— О, — говорю я. — Тогда мы можем не есть. Мы не очень голодные. Мы ели в аэропорту. Там есть место, где можно поесть. Вы, наверное, знаете. То есть, на самом деле можете и не знать.

Грациниан смеется, потом поднимает руку, я вижу, что ногти у него покрыты вишневым лаком.

— Все, все, все, достаточно. Я никак не могу отпустить вас без завтрака, это будет просто отвратительно с моей стороны. Пшеничка, родная, мы скоро поговорим. Но раз уж ты привела гостей, то мы их примем.

— Вы имеете в виду, — начинает Офелла, а заканчивать ей не нужно, потому что все очень хорошо понимают, чего можно опасаться, когда у человека, приглашающего тебя на ужин, такая голодная, клыкастая пасть.

— О, разумеется нет! Я бы не стал так обращаться с друзьями собственной дочери. Разве мы похожи на маргиналов?

Строго говоря, по меркам Империи Грациниан как раз таки очень похож на маргинала, но папа говорит, что маргиналом быть не зазорно, зазорно только не оказывать помощь тем, кто в ней нуждается.

— Нет, совершенно не похожи, — осторожно говорит Офелла, а Юстиниан борется со смехом. — Я прошу прощения, если оскорбила вас.

Санктина говорит:

— Милая, поверь мне, слухи о том, что в Парфии принято убивать людей, если тебе что-то не нравится — преувеличены. Возможно, даже нашей собственной дочерью.

Мне не слишком хочется оставаться. Я верю в то, что Санктина и Грациниан не плохие люди, даже в то, что они любят свою дочь, ведь я видел их, когда она была мертва и не могла их слышать, но от присутствия Санктины мне, кажется, физически плохо. По крайней мере, пульсирующая боль в голове словно бы связана с ней, как будто у нее в руке нить, дергая которую, она меня мучает. Я не хочу думать о людях таким образом, потому что человеку редко свойственно мучить кого-то просто так, да еще и необъяснимым образом.

Ниса садится на подушку, а потом откидывается назад. Выглядит так, словно она взяла и умерла.

Это потому, что не так давно она и вправду умерла.

— Дорога явно была утомительная, Пшеничка.

— Я провела больше часа в компании мамы.

Санктина смеется.

— Расскажешь это своему психотерапевту, дорогая.

Мы с Юстинианом и Офеллой чувствуем себя чужими. Семья Нисы колючая, некомфортная и неудобная, с острыми углами и противными синяками от колкостей, но в то же время это система, которая существует для них троих, и мы в ней лишние. Никому не нравится быть лишним.

Я рассматриваю Грациниана и Санктину. Они очень разные, у них совершенно не похожи мимика, движения, как бывает иногда у людей, которые долго живут вместе, наоборот, они кажутся чужими, представителями разных народов и обладателями несхожих характеров.

Однако у них одинаковая одежда. Черное, длинное облачение. Наверное, его можно назвать платьем. Или рубашкой, только очень длинной, прямо в пол. Мужской и женский вариант не отличается ни кроем, ни украшениями. Одежда из бархата, что говорит не то о том, что Санктина и Грациниан проводят много времени под землей, не то о том, что тела их не чувствительны к жаре. Одинаковые одеяния, тем не менее, идут им обоим, как и все вещи, сшитые по индивидуальным меркам. Каждая пуговица золотая и исполнена, как солнце. У них странные отношения со светилем. Они прячутся от него и возводят его в культ. Так дети поступают с вещами, которых они боятся. Мои отношения с монстрами из фильмов ужасов в детстве складывались именно так. Они мне нравились, и в то же время, когда наступала ночь, я прятался от них, пока мама и папа не находили меня и не объясняли, что все совершенно точно в порядке.

Вот бы они были здесь и сейчас, и рядом с ними все оказалось бы проще. Но я решил справляться со всем сам, чтобы не втягивать их в опасную историю, поэтому я буду смелым и сильным, и что там еще нужно? Наверное, умным. Я тоже постараюсь, но не могу ничего обещать.

Грациниан кричит что-то на парфянском, так громко, что у меня в голове что-то стеклянное разбивается. Я склоняю голову набок, чтобы меня покинули осколки, становится легче.

Мы садимся на подушки перед тем, что совершенно точно и есть стол, просто не в том смысле, который в это слово вкладывают в Империи. Подушки удобные, но отсутствие стульев мне совершенно непривычно, поэтому кажется, что есть на полу будет невозможно.

Но на самом деле ничего невозможного нет, это я знаю, потому что я спас своего папу, хотя его наказал бог.

Зубы Грациниана обнажены, а зубы Санктины — человеческие, и это еще одна черта, разводящая их. Мои дядя и тетя, думаю я, часть моей семьи. Почти незнакомые мне люди, вызывающие довольно сложные чувства.

На слугах одеяния того же кроя, только ткань более легкая и намного дешевле. Они приносят еду, и я понимаю, что Грациниан и Санктина давно и бесповоротно забыли, как люди завтракают.

В золотых мисках зерна граната, отделенные от плода и похожие на драгоценные камушки, которые только и ждут рук ювелира, чтобы превратиться в украшения. Тонко нарезанные субпродукты, сердце и печень, политы каким-то вкусно и сладко пахнущим соусом, грецкие орехи с медом присыпаны специями. Все это вроде бы привычные продукты, но сервированы они совсем не так, как дома, а оттого любопытны мне. Слуги разливают по кубкам вино и гранатовый сок, а затем сами садятся за стол.

Я мог бы сразу догадаться, что слуги завтракают с ними, потому что тарелок принесли

шесть, а когда мы только пришли, здесь оставались фрукты, совершенно Грациниану и Санктине не нужны. Однако тот отдел мозга, который распределяет всю мелкую информацию автоматически, уверил меня в том, что есть будут Санктина и Грациниан.

Только вот есть они будут нечто другое, тарелки для этого не нужны.

В Империи со слугами обращаются уважительно и вежливо, не кричат на них, как Грациниан. Но есть с ними за одним столом почему-то считается дурным тоном. Мне даже начинает нравиться Парфия, потому что здорово, когда люди считают своих слуг совершенно такими же, как они сами.

А потом я понимаю, что совсем я глупый. Они не со слугами едят. Они едят слуг.

Юноша и девушка с красивыми темными глазами, наверное, брат и сестра, а может просто я расист и не различаю парфян, берут со стола сложные приспособления с иглами, трубками и рычажками. Когда я осознаю, для чего они нужны, мне становится неприятно.

Юстиниан говорит:

— Пожалуй, я готов принять чувство вины за сопричастие насилию в обмен на знание.

У Юстиниана, я знаю, на самом деле никакого чувства вины нет. Он не боится боли и не боится смотреть на людей, которым причиняют боль. Это все современное искусство, он говорил.

Юноша и девушка расстегивают пуговицы и высвобождают из своих одеяний руки. Девушка остается без лифчика, и я отвожу взгляд. У нее и без мужского внимания, проблем хватает.

— Так не поступают с людьми, — говорю я, а Офелла говорит:

— Вы серьезно? Это же просто унижительно!

Мы с ней отличная команда, но не очень-то способная на вещи реальные и значимые. Я смотрю на юношу, он мне улыбается. Он не понимает моего языка.

— О, поверь мне, мы платим этим людям большие деньги, — говорит Санктина, я вижу, что и у нее появились клыки. — Вы что же считаете, если для жизни нам нужна человеческая кровь, мы будем добывать ее с помощью насилия, будучи влиятельными и богатыми людьми? Просто оттого, что нам скучно, станем, к примеру, запугивать людей, угрожать их семьям, шантажировать их? Или как вы это видите?

Я говорю:

— Но вообще-то вы похожи на людей, которые так могут.

Ниса смеется в кулак, словно, чтобы спрятать этот смех, Офелла говорит:

— Марциан!

— Что? Это правда.

— Невежливо так говорить.

Девушка и юноша, наверное, думают, что мы просто ведем светскую беседу. Они привычно помещают в себя иглы, расправляют трубки. Ни она, ни он не выглядят так, будто страдают или даже просто испытывают нечто неприятное. Для них это работа и ничего больше. Приспособления похожи на капельницы, которые какой-то очень любящий ювелирное дело врач решил сделать произведениями искусства.

Иглы соединены со стеклянным украшением, внутри которого легкие золотые шестеренки, должно быть, вращает кровь. Трубки украшены тонкими цепочками, на которых болтаются крохотные фигурки птиц и ягод. Работа такая же тонкая и сладострастная для глаза, как и почти все здесь. Наверное, инструменту для взятия крови не нужно быть уродливым или строгим, как в больнице. Естественно стремиться пользоваться красивыми

вещами, только вот я не могу отделаться от ощущения, что все это цинично и неправильно. Инструмент, который создан, чтобы забирать и причинять боль не должен нравиться. Поэтому я и красивое оружие не люблю.

На прозрачной части украшения есть золотой рычажок. Наверное, он регулирует подачу крови. И эта управляемость тоже кажется мне отвратительной. То есть, без нее было бы, наверное, хуже, но с ней все так, словно люди просто вещи, разовый продукт для красивой насадки, позволяющей достать кровь.

Девушка и юноша помогают друг другу надеть капельницы. Они крепятся между лопаток, похожие на механических паразитов. Юноша садится рядом с Санктиной, девушка рядом с Грацинианом. Я отвожу взгляд, когда Санктина касается кончика трубки алыми губами, только слышу вздох юноши и еще, как колышутся от движения золотые птички.

Юстиниан с аппетитом ест, а я и Офелла не можем себя заставить, хотя многое кажется мне аппетитным. Юноша и девушка тоже едят, даже больше Юстиниана. С жадностью и быстротой, хотя их лица не выражают ровно никакого дискомфорта. Словно пытаются перегнать уходящую кровь.

Юстиниан говорит:

— Красивые приспособления.

А Офелла говорит:

— Юстиниан!

— Слова при тебе не скажи, — говорит он, посыпая зернами граната тушеное сердце. — В таком случае, давайте поговорим о погоде. Из окна аэропорта я увидел немного, но пустыня у вас впечатляющая.

— О, — говорит Грациниан, довольный возможностью перевести тему. Он втягивает кровь, и хотя я сразу же отворачиваюсь, мне кажется, словно я физически чувствую, как она бежит по трубке. Так еще бывает, когда кто-то ест лимон или порежет десну.

Интенсивные ощущения трансперсональны, говорит моя мама, которая иногда ведет себя почти как Юстиниан.

— В Саддарвазехе не всегда была пустыня. Наш край, может, и никогда не отличался прохладой, однако прежде здесь были плодородные земли. Область вокруг Саддарвазеха — историческая столица, как вы понимаете, это обязывает.

— Я думал, метрополии необязательно производить что-то, кроме денег, шовинистического пафоса и исторических нарративов, — говорит Юстиниан, и Грациниан подмигивает ему. У Грациниана очень подвижное, живое лицо. Это странно, потому что он-то мертв, и кажется, что мимика у него должна быть скупая, как у Нисы. Он двигается быстро, размашисто, как маленький хищник, он улыбается широко и ярко подводит глаза, словно всеми силами старается компенсировать смерть иллюзией жизни.

В нем есть что-то отчаянно и смертно обаятельное, пламенное и стремительное. И когда он рассказывает историю, мне кажется, что мне поют. Я совсем забываю, как все вокруг неприятно.

— Да-да, именно, дорогой. Саддарвазех и окрестности благословлены и наказаны Матерью нашей. Для того, чтобы поднять из мертвых первых людей нашего народа, она опустошила эту землю, превратив прежде плодородный край в пустыню, не способную дать жизнь. Судя по тому, что в последствии климатических изменений в Парфии не происходило, это был скорее красивый жест, чем неперенный атрибут воскрешения.

Мне нравится, что Грациниан говорит о своей богине со сладострастием и с иронией

одновременно. Сахар и специи, думаю я.

Он говорит:

— О, она была милосердна и безжалостна одновременно, превратив цветущую землю в обитель золотых песков. Она бросила нам вызов, оставив без всего, чем мы жили прежде. Но нам больше не нужно было зерно, мы сами стали золотом земли, восходя из нее. Патриарх, от которого пошла наша кровь, единственный, кто остался живым и продолжил наш род, почитался как сокровище. Остальные же были воинами пустыни, грабителями и хищниками. Здесь был наш дом, и мы наводили ужас на иные народы, потому что они видели как чудовищны мы под солнцем. Но шло время, и нас становилось все больше. Мы были не смертью, но непобедимой жизнью. Мы выносливы и способны преодолевать большие расстояния без воды и пищи, поэтому из нас вышли чудесные воины. Наша страна росла, мои дорогие, но сердце ее никогда не менялось. Здесь, в Парфии, сама земля служит нам, оттого никто и никогда не захватит Саддарвазех.

Он рассказывает и еще немного о том, как рождалась его страна, но ровно столько, чтобы не было утомительно. Я забываю о том, что мне все это неприятно, а когда Грациниан втягивает кровь, мне кажется, он вдыхает дым, как Гусеница из сказки одного принцепского математика, который любил описывать сны.

Он говорит волшебным образом, и даже Офелла слушает его. Я забываю обо всем и ем с аппетитом, словно рядом не сидят люди, чью кровь периодически тянет Грациниан. Он неизменно поворачивает рычажок, когда не пьет, чтобы не терять драгоценных капель.

А потом все золото и хрусталь, которыми окружен рассказ Грациниана, вдруг разбиваются, рассыпаются, когда я вижу, что у Нисы сияют клыки. Она старается скрыть это, упершись подбородком в ладонь, но и я, и Санктина все замечаем.

Санктина ловит взгляд Нисы, кивает в сторону еще одного инструмента для питания, и я говорю:

— О, нет, нет, я не люблю уколы. Совсем. Прямо точно нет.

Грациниан смеется.

— Не переживай, тебе совершенно не обязательно вовлекаться в нашу культуру.

— Мы предпочитаем просто так, зубами, — говорит Ниса. Санктина смотрит на меня долгим, внимательным взглядом. А потом она говорит:

— Как жаль. Я бы попробовала твою кровь. В конце концов, часть ее принадлежит моей сестре, а часть — моему врагу. Ненависть и любовь сделают ее горше и слаще всего на свете. Мне становится странно и неловко, словно она предложила мне секс. Ниса говорит:

— Думаю, ребята устали. Можно устроить их отдохнуть.

— Разумеется, — говорит Грациниан. — Сейчас.

Он стучит пальцем по спине девушке, говорит ей что-то, и она кивает.

Санктина, думаю я, делает это специально. Она просто показывает, что время закончить разговор, причем самым неприятным образом, потому что это доставляет ей удовольствие.

Нам предлагают три разных комнаты, но мы отказываемся. В месте под землей, где живут представители народа, питающегося кровью, не слишком-то хочется оставаться одному в комнате.

Слуги смотрят на нас непонимающе, когда мы объявляем бойкот идее отдельных комнат, потом переговариваются, услужливо улыбаются и уходят. Юстиниан говорит:

— Я думаю, что они считают, будто мы встречаемся втроем.

— Что? — спрашиваю я.

— По-моему это пикантно.

— По-моему, я передумала здесь спать.

Но на самом деле передумать сложно. В большом доме, где живут хищники, я предпочту быть с кем-то рядом. Наверное, овцы тоже так размышляют, поэтому они всегда вместе, ведь для них весь мир — большой дом, где живут хищники.

Ниса приходит, и я делюсь с ней кровью. Но на этот раз мне неприятно, словно это зубы Санктины и ее язык касаются меня. Когда Ниса отстраняется, я говорю:

— Удачи тебе.

Она касается пальцами губ, но тут же отдергивает их, только припечатав капли крови, а не стерев их.

— Я вам все расскажу. Отдыхайте. Уверена, это все не продлится долго. А завтра я покажу вам город, он вовсе не такой мрачный. По крайней мере, сверху.

— Главное помни, что...

Ниса смотрит на Юстиниана, и он на секунду замолкает, а потом говорит:

— Помни, что мы волнуемся. Спокойной ночи. То есть, я имею в виду, спокойного утра.

Офелла говорит:

— Буди нас сразу, как придешь.

А потом зевает так широко, что желания будить ее точно ни у какого доброго и совестливого человека не возникнет. Я и сам страшно хочу отдохнуть. С неохотой принимаю душ, а когда возвращаюсь, вижу, что Юстиниан и Офелла уже спят на мягком матрасе, обняв подушки.

Кровать здесь тоже низкая, без ножек, так что забираться на нее странно. Я ложусь сбоку от Офеллы, зная, что Юстиниан сталкивает людей с кровати во сне, когда ему снится нечто по-преториански воинственное. Чем подставлять себя и Офеллу, лучше ведь обезопасить нас обоих.

Я чувствую тепло и дыхание Офеллы, и мне нравится ощущать, какая она живая, и как бесперебойно работают ее сердце и легкие, это дает мне понимание о том, как это здорово — жить. Облако ее пахнущих клубникой волос щекочет меня по носу, но я сжимаю волю в кулак, чтобы не чихнуть.

Хорошо быть рядом с друзьями, хорошо, когда мягкий матрас, хорошо, когда просторная комната и можно обнять любую подушку, которых здесь так много. Если посмотреть на все словно бы сверху, я и мои друзья узнаем нечто новое и попали за помощью именно туда, куда изначально хотели. Никто не разлучает нас и не угрожает нам.

Словом, все хорошо. Однако если вернуться внутрь меня и слушать мое гулкое сердце, можно подумать, что происходит нечто тревожное. Может быть, такое впечатление производит на меня Санктина. Неприятное, тянущее чувство в груди, это сердце осознает неприязнь, которую сложно признать. Эта неприязнь прячется внутрь и порождает волнение, как боль, которую нельзя локализовать.

Юстиниан бормочет что-то во сне совершенно беззаботным образом, Офелла сворачивается калачиком, теснее прижимаясь ко мне, что определенно очень приятно и возможно является настоящей причиной, по которой я тут лежу.

Мы давным-давно не спали и происходит столько всего, обязательно нужно отдохнуть.

Вот только не получается. Внутри глухо, как бывает после трудного дня, когда голова отказывается впускать внутрь все, даже сон, а тело кажется чужим. Я закрыт для отдыха со всех сторон и чувствую себя тяжелым, прямо-таки неподъемным. Это ощущение не несет в

себе радости засыпания, и я хочу побыстрее согнать его с себя. Я осторожно встаю, на цыпочках перехожу с одной подушки на другую, будто они — кочки в потоке лавы. Весело здесь, наверное, быть ребенком.

Я стараюсь вести себя очень тихо, но прихожу к выводу, что самым лучшим проявлением уважения ко сну моих друзей, будет мое неприсутствие в комнате. Я осторожно отодвигаю шторы, выхожу и вижу пустой коридор, освещенный настенными лампами. Я думаю, чем бы мне заняться. Мне приходит в голову несколько вариантов:

Тронуть каждую лампу здесь и проверить, может ли одна быть горячее другой.

Сесть на пол и трогать ковер.

Посчитать все застёжки на шторах и сравнить самых сильных животных с самыми слабыми.

Подумать о доме и немного расстроиться.

Каждый вариант имеет свою привлекательную сторону, и я хочу быть мудрым в выборе. Я стою и думаю прежде, чем слышу голос Нисы. Ниса говорит:

— О, безусловно, вы так волновались, что бросили меня здесь!

— Нам пришлось, моя дорогая, — говорит Санктина.

— Я хочу знать всю правду!

Будь это наша Ниса, она добавила бы "всю гребаную правду" и, может быть, еще кулаком по столу бы стукнула. Но новая Ниса, Ниса, принадлежащая своей семье, ругается так, будто во всем на самом деле все равно виновата она.

Подслушивать и подсматривать — неправильно. И я знаю, что Ниса расскажет мне все, поэтому я не могу сказать, что меня терзает любопытство. Дело в Санктине. Мне хочется услышать ее и понять, что она будет говорить. Не может ведь она и вправду быть настолько фантастически плохой матерью?

Мне безумно хочется услышать Санктину в этом разговоре, понять, чего она хочет и как может поступать со своей дочерью подобным образом. Как будто ее нелюбовь к Нисе лично во мне задела нечто важное, сокровенное.

Люди бывают такими взвинченными, когда что-то колеблет их представления о мире и его надежности.

Революции двадцать два года, а мне — двадцать один. Думаю, что ни единый житель нашей страны не сомневался в том, что я не был желанным для мамы ребенком. Говорят еще "плод любви", хотя это все равно больше с яблоками ассоциируется. Так вот я — плод ненависти.

Но мои мама и папа любят меня и уважают, хотят мне счастья и стараются оберегать, но не лишают самостоятельности. Они хорошие и любящие, мои родители, и моя семья делает меня счастливым.

Но все-таки мне страшно думать о том, что было бы, если бы моя мама меня не полюбила. Поэтому видеть, что моя лучшая подруга — нежеланный и нелюбимый ребенок невыносимо. Мне хочется найти этому объяснение, такое простое и эгоистическое желание вставить недостающие детали в пазл, который и есть мой мир.

Поэтому я подкрадываюсь к комнате из которой идет звук. Дверей здесь нет, поэтому слова я слышу отчетливо, а из-за штор, похожих на занавес в театре, мне кажется, будто это актеры репетируют представление. От этой мысли той части меня, которой в детстве говорили, что подслушивать — плохо, становится немного легче.

Другая часть меня это любопытный слух, и она активна как никогда.

— Пшеничка, — говорит Грациниан. — Правда не всегда приятна. Иногда правда — это камень, который ты несешь и передать его кому-то, не всегда лучшая идея. Сказанная правда не растворяется дымком, она камнем ложится на сердце другого человека, и теперь ему будет нужно нести ее с собой. Сотворить кому-то добро, рассказав ему правду, сложно. Это большое искусство.

Грациниан говорит спокойно, напевно, и Ниса прерывает его на полуслове. Оттого, что я не вижу их обоих, когда они говорят, передо мной всплывают их лица. Словно мой разум пытается зарисовать происходящее. Грациниан в моем воображении, взволнованный и нервный, замолкает, прикрывает глаза, а Ниса говорит:

— У меня из глаз вылезают, мать их, черви. Ростки Матери.

— Что?

— Мамуля тебе не это рассказала? Что ты вообще знаешь?

Я слышу голос Санктины, он кажется совершенно расслабленным.

— Пришло время. Твоя судьба, моя дорогая, очень необычна.

— О, правда, то есть ты завистливая холодная мать, а не равнодушная холодная мать, как стоило предположить?

Но Ниса злится тускло, как будто искра в зажигалке сверкает и гаснет, не давая огня.

— Если ты пообещаешь не перебивать и умерить норы, мы сможем поговорить.

— Мама, сейчас не время...

Но Ниса все-таки замолкает, уступая матери.

Санктина говорит:

— Мы говорили тебе, что ты появилась на свет за год до моего нисхождения к Матери. Это неправда, милая моя. Ты появилась после.

— Это бред! Ты говорила, что мертвые не могут зачинать и носить детей.

— Для меня было сделано исключение. Нашей богиней. Поэтому ты — особенная.

— Я избранная или вроде того? Круто, и моя суперспособность — плакать отвратительными червями!

Санктина молчит, и я понимаю, что Ниса нарушила обещание не перебивать, дальше она говорить не будет. Я даже не могу подумать о сказанном, я так сосредоточен на происходящем, что могу только воспринимать.

Грациниан говорит:

— Милая, прежде твоя мама царствовала в Империи. Там мы познакомились и полюбили друг друга. Я никогда и никого не любил так сильно, как ее.

Ниса хмыкает, но ни слова не говорит.

— Нам пришлось расстаться в очень сложное для нее время. И когда я прочел в ее письме, что гражданская война в Империи близится к концу, это означало и конец жизни твоей матери. Мы оба это понимали. Я обещал никогда не оставлять ее, и я ее не оставил. Я надеялся, что можно будет предложить царю вступить в войну, ценой пары провинций, мы спасли бы Империю, однако как раз в то время мы защищали себя от изгоев, контроль над численностью которых потеряли. Я пытался найти лекарство для нее на земле, дорогая, но Санктина подсказала мне, что искать нужно под землей. Она подсказала мне, как обратиться к богине. Санктина изучала богов, она знала, что к ним можно добраться через умирание. Или они могут добраться к нам. Она изобрела этот способ, пока служила своему богу-Зверю, но была уверена, что он может сработать для любого бога. Она придет, обещала Санктина, если дать ей верные знаки. Умирание, переход, откроет ей ворота. Я никогда не

думал, что если бог не желает, его можно призвать, но она научила меня. Она сказала, что нужно будет отдать нечто ценное. И от ценности отданного будет зависеть расположение бога. Понимаешь, Пшеничка, чтобы спасти свою любовь, мне оставалось лишь обратиться к богине.

— Мой друг шел к своему богу не так.

— Бог твоего друга позволил ему прийти, когда увидел, что Марциан достоин. Я не мог ждать. Я должен был действовать. К тому моменту, как все было готово, императором стал папаша твоего донатора. У меня больше не было времени, чтобы сомневаться. Я смотрел, как умирают трое моих братьев. Я любил, о моя богиня, как я любил их. Я пожертвовал ими, чтобы унять боль. Я подумал, даже если она не вернется, мне станет легче, ведь я сделал все, что можно и что нельзя. Я вышел за грань. Вот отчего я так хорошо понял историю о матриархе варваров, рассказанную мне твоим донатором. Я знаю, что это значит.

— Меньше душевных терзаний, Грациниан, ей нужно знать главное.

Мне кажется, что я слушаю радио-спектакль. Я не хочу, не хочу, не хочу думать, что все это правда. Грациниан не ошибался, правда очень тяжелая. Санктина оставила маму, надеясь на воскрешение, мама же прожила всю жизнь с отчаянием от того, что не смогла ее спасти. А Грациниан убил троих своих братьев, живых людей, чтобы достать свою любовь из-за грани смерти.

Когда любят делают не только прекрасные вещи. Мне не хочется этого знать, хочется забыть. Но если тебе дали камень, нужно положить его в карман и нести, потому что правда всегда пригодится.

— Я испросил ее о самом важном. Она дозволила мне погрузить Санктину в землю, хотя Санктина не нашей крови. Она нарушила данный самой собой закон и сказала, что поговорит с моей Санктиной. Но она ничего не обещала. Она лишь дозволила Санктине говорить с ней потому, что жертва моя была достаточно велика. Потому что я был в отчаянии. Она сказала, что чувства, это драгоценные камни. Я дал ей много, и я могу получить надежду. Надежда в тот момент была всем. Я выкрал ее труп и привез его сюда, погрузил в нашу землю, святую землю. Для меня было важно, чтобы Санктина оказалась как можно ближе к сердцу богини, хотя, безусловно, она могла говорить с ней откуда угодно. Моя любовь вошла в землю, а я сидел и думал о том, что будет, если ничего не случится. Я отдал бы себя на растерзание изгоям, если бы она не вернулась. Я не хотел существовать, я не хотел, чтобы и капля моей крови, частица моей плоти осталась на свете. Но она вернулась. И, моя дорогая, она стала моей.

Санктина смеется, и мне представляется, как она закидывает ногу на ногу.

— Что ж, твоему папе повезло.

Ниса молчит, хотя я знаю, что она хочет сказать. Самая кровавая и политизированная история о том, как папа встретил маму на свете.

— Ты, дорогая, частенько обвиняешь меня в бессердечности.

Я слышу, как расстегиваются пуговицы ее платья, слышу шуршание ткани.

— У меня и вправду нет сердца.

Я рад, что не вижу этого, и все же полуобнаженная перед Нисой Санктина и рубиновая дыра в ее груди освещают темноту у меня под веками.

Когда закроешь глаза кажется, что ты менее заметный. Уловка мозгу — не вижу я, значит не видят остальные. Так что я решаю не смотреть.

— Довольно театрально, мама, — говорит Ниса, но голос у нее еще слабее, чем

прежде. — Застегнись.

— Зачем же? Я хочу, чтобы ты видела, кто я такая. Мои раны не скрывает темнота, как твои или Грациниана. Я не могу заняться очаровательным самообманом и представить, что я не мертва. Но, не имея сердца и пережив смерть, я выносила тебя. Потому что тебя я пообещала богине. Ребенка, рожденного мертвой женщиной от живого мужчины. Грациниан присоединился ко мне в смерти несколько позже. Ты от природы та грань, которая позволяет им проникнуть в наш мир. Теперь, когда ты присоединилась к ней, и ваша связь установлена, она выпускает через тебя свои ростки. Они уходят под землю, прорастают там. Их должно быть множество, они сетью должны опутать всю землю. Чем больше их будет, тем быстрее все произойдет. Ты кормишь их страданиями, чувствами. Они приходят в этот мир, разрастаются в нем. И когда они окутают все под землей, мир богов и наш мир сольются. И она придет. Вот что с тобой происходит, Ниса.

— Санктина, ты не упоминала, что это будет так, — говорит Грациниан, а затем я слышу, как хлестко он одаривает Санктину пощечиной.

— Я люблю их больше поцелуев, любимый. Мне хотелось смягчить для тебя эту правду. Ты же сам тут только что распространялся о каких-то тяжелых камнях. Я свой тащила сама. Словом, милая, для тебя это все не опасно. Просто дай этому уйти из тебя. Выполни свою миссию.

— Что станет с миром, мама?! — выкрикивает Ниса.

— Мир изменится. Самым непредсказуемым образом. Возможно, даже погибнет.

— О чем ты думала, когда соглашалась на это?!

Санктина смеется, а потом говорит:

— Есть такая хорошая фраза: пусть все умрут сегодня, а я — завтра. Мир мне не нужен, если там не будет меня. Грациниан, дорогой, только не делай вид, что ты злишься. Ты бы и сам согласился на такое ради этих лет со мной.

— О, милая, я просто в бешенстве.

По его голосу, впрочем, совершенно незаметно.

— То есть, вы не знаете, как это исправить?!

— Это воля богини, дорогая. Грациниан, может убьешь свою дочь ради общего блага? Ах, нет, ты ведь навлечешь на всех нас гнев Матери нашей.

Мне странно оттого, что Санктина в такой ситуации может издеваться. Словно это все ее злой розыгрыш? Наверное, в душе ей очень больно, и она пытается скрыть это.

Мне очень больно. Моя лучшая подруга — часовая бомба. Если ничего не сделать, весь мир изменится, а может и погибнет. Мои мама и папа, сестра, мои друзья, Ниса и я сам ничего не будем значить, когда минусовая реальность хлынет сюда.

Офелла говорила про ноль, который разложим на две единицы с разными знаками.

Но если две единицы снова сольются, это ведь опять будет ноль?

Я чувствую, что у меня коленки подгибаются, не от страха, а от чувства густого и наполняющего, наверное, это и есть отчаяние. Я ведь не могу попросить у моего бога, чтобы он поговорил с богиней Нисы? Она не ему принадлежит.

Но мы должны что-то придумать.

— Вы предали меня! — кричит Ниса. — С самого начала предали! Я вас ненавижу!

— Только не заплачь, дорогая. Ты приблизишь этим конец мира, каким мы его знаем.

В этот момент я слышу шум и звук падения, шипение. Сначала я думаю, что это Ниса бросилась на Санктину, но Ниса вылетает из комнаты со своей неясной для глаза скоростью,

замечает меня, и глаза у нее дикие. Я думаю, что, может, сейчас она бросится на меня и вцепится мне в горло, и я тогда пойму, что подслушивать плохо.

Но Ниса только хватает меня за руку, и мы бежим. Я слышу шум и понимаю, что это Грациниан и Санктина дерутся. Они шипят, словно дикие звери, и мне вовсе не хочется смотреть на такую драку.

И на любую драку, я даже бокс не смотрю, потому что насилие это не выход.

Ниса заталкивает меня в комнату.

— Слышал все? — спрашивает она зло, но глаза у нее сухие.

— Да, — говорю я. — Прости.

— Да плевать уже.

Она отталкивает меня, бежит к Офелле и Юстиниану.

— Алло! Вы в адеквате?

Офелла зевает, Юстиниан переворачивается на другой бок, и Ниса становится еще злее.

— Просыпайтесь! Быстро! Мы отсюда сваливаем на хрен! Понятно? Сейчас!

Наверное, Офелла и Юстиниан Нису даже не узнают. Она яркая от ярости, кажется, что искрится.

— Ребята, — говорю я. — Нам надо сбежать.

— Они все-таки хотят нас съесть?!

— Нет, Офелла...

Но Ниса не дает мне закончить:

— Да! Хотят! Они хотят съесть весь мир! Ненавижу их!

— Мы уезжаем, чтобы найти тебе психоаналитика? — спрашивает Юстиниан. И тогда Ниса дает ему пощечину. Кажется, она заставляет его проснуться.

— Пожалуйста, — говорю я. — Поверьте нам.

Хотя я сам не слишком нам верю. Хорошая ли идея уезжать? Грациниан тоже явно не хочет, чтобы через Нису в землю уходили ростки Матери Земли.

Но с Санктиной я, в общем, оставаться не хочу.

Ниса говорит:

— Офелла, отец с матерью дерутся в моей комнате. Это займет некоторое время. Ты невидимая пойдешь в комнату к маме, и я объясню тебе, где ключи от машины.

Ниса объясняет очень быстро, как по мне — довольно путано. Вместо того, чтобы кивнуть, Офелла исчезает. Наверное, это значит, что она поняла. Хотя, может, Офелла хочет исчезнуть, чтобы не участвовать в разговоре с нервной Нисой. Я не нахожу ответа на этот вопрос, а Ниса не находит себе места, пока Офелла не появляется снова, с ключами.

— Теперь, — говорит Ниса. — Быстро и тихо идем к лифту. А из лифта бежим что есть сил!

Юстиниан и Офелла хорошие друзья, потому что они ничего больше не спрашивают. Я чувствую себя, как в кино. Мы крадемся к лифту, слушая шипение и глухие удары, доносящиеся из дальней комнаты. Не будь они так заняты друг другом, непременно услышали бы нас. Когда лифт издает звон, шум прекращается. Мы влетаем в лифт так резко, что меня припечатывает к стене Юстинианом, Ниса ожесточенно жмет на кнопку.

Путь от третьего этажа до первого кажется мне бесконечно долгим. Когда двери распахиваются, мы бежим к воротам, Ниса вводит код так быстро, что ее пальцы становятся похожи на лапки гигантского паука, молниеносно сплетающего паутину вокруг мухи в мультфильме.

Ворота открываются, и мы несемся уже к машине. Все равно это лучше, чем бегать кросс. По крайней мере, можно вскоре можно будет передохнуть и проглотить обратно сердце.

Мы не думаем о том, как сесть в машину, поэтому получается странно, я и Юстиниан на заднем сиденье, Офелла рядом с водителем, а водитель у нас Ниса. Ругаясь на парфянском, она пытается втолкнуть ключ зажигания туда, где ему быть полагается. Офелла направляет ее руку, и все получается. Машина глубоко вздыхает, и двигатель начинает ворчать.

А потом Ниса, наверное, вдавливая педаль газа в пол, потому что всех нас толкает назад.

— Я могу сесть за руль, когда мы окажемся достаточно далеко от них, — осторожно предлагает Офелла, но Ниса молчит, смотрит только вперед. Дорога ровная и почти пустая. Конечно, думаю я, дневная жизнь сосредоточена в городе наверху. Нижняя часть Саддарвазеха спит или отдыхает после охоты. Ниса обращается с автомобилем так, словно мы участвуем в гонках. Он явно к такому не привык.

— Мать их, — говорит Ниса. — Мать их, мать их, Матерь Землю.

Никогда я не слышал, чтобы кто-то с такой ненавистью говорил о собственных богах.

— Ниса, я...

— Нет, Марциан, не надо.

— То есть, ты запрещаешь даже ему рассказать, что случилось?

— Юстиниан, и тебе не надо. Никому не надо говорить. Пару минут.

И мы едим в тишине, и я чувствую, как мое горячее и горькое сердце бьется на языке. Странно ничего не говорить в такой момент, но мы только слушаем, как шуршит под шинами асфальт, и я даже начинаю хотеть спать. В конце концов, в последний раз я спал давно, даже посчитать сложно. Но мне вообще сложно считать, поэтому это не значит, что спал я в последний раз в силурийскую эпоху или в момент перехода от подсечно-огневого земледелия к трехпольному. Но все-таки не спал я давненько, поэтому снова зеваю.

Мы проезжаем не сарайчики, а, как я теперь знаю, лифты. И я словно вижу город, растущий вниз. Даже не город, но корни города, уходящие под землю.

Черви, уходящие под землю.

Ниса говорит:

— Они не могут нам помочь. Мамаша вместо того, чтобы сдохнуть, когда полагается, сменила богиню. Договорилась, что родит ей меня, а я приведу в мир богиню или что-то вроде.

— То есть, ты даже не особенно внимательно слушала?

И тогда даже я говорю:

— Заткнись, Юстиниан.

— Они ничего не могут сделать с этим. Ничего. И не станут. Никто ничего не сделает. Я просто буду ждать, пока опрокинется весь мир. Так получается?

— Мы уехали от них, потому что... — начинает Офелла.

— Потому что я не хочу быть с людьми, для которых я всего лишь должок из прошлого. Им плевать на меня, плевать на мир. Мы никуда не едем! У вас же так говорят: куда глаза глядят?

Я говорю:

— Нет, у нас есть идея, куда. Подальше отсюда. Это уже идея. Мы найдем решение. Сколько здесь червей? Три. А мир большой. У нас еще много времени. Сейчас мы едем

подалее отсюда, а там, где будет подалее отсюда, мы будем думать, как поступить. Некоторое время мы будем ничего не понимать, может даже неделю или две, но у нас появится идея. А потом еще одна. Мы будем пробовать разные вещи снова и снова. Так делает мой папа.

— Я даже расплакаться не могу, потому что это приблизит конец света, — говорит Ниса. А потом протягивает мне руку, Офелла в этот момент хватается за руль, словно бы на нас несется фура. Так вот, Ниса протягивает мне руку и говорит:

— Дай пять.

Мы все сонные, а я даже еще более сонный, чем другие, поэтому, положив голову Юстиниану на колени, я перестаю быть туристом и становлюсь человеком ко всему безразличным и усталым, а дальше вовсе засыпаю. Машина мягко щебечет о чем-то с асфальтом, и этот звук складывается в сон, где я и мои друзья в лодке, а вокруг недружелюбное, но красивое море. Мы сидим вокруг газового фонаря с ручкой в форме цветочного венка и говорим о тортах.

— Я считаю, — говорит Офелла. — Что окружность торта должна равняться ее диаметру, умноженному на число Пи.

Ниса говорит:

— И сливок побольше.

А Юстиниан говорит:

— Сколько бы сливок мы ни добавили, нужно помнить, что торт и ситуация специфическим образом воздействуют на человека, и нам нужно использовать корицу, чтобы исследовать индивидуальные формы и условия подобного взаимодействия.

Я говорю:

— Может просто съедим торт?

— Неправильный ответ, — говорит Юстиниан, а потом сталкивает меня за борт, и я падаю в море, глотая соленую воду. Тогда я понимаю кое-что очень грустное: это море здесь оттого, что моя мама плачет и не может меня найти.

Я открываю глаза с облегчением, какое всегда наступает после кошмара. Когда оказывается, что мир в порядке, а все страшное происходило только в твоей голове.

Только задумавшись я понимаю, что хоть из маминых слез не образовалось еще море, наверняка она плачет. А у нас нет ни единой идеи, как исправить проблему Нисы. Но это только пока.

Я замечаю, что меня расталкивает Юстиниан, ворчу нечто невразумительное, не вполне довольное, а он говорит:

— Я терпел тебя некоторое время, потому что мы выглядим эпатажно, но ты отлежал мне ногу, просыпайся.

Когда я открываю глаза, то вижу, что мы выехали на поверхность и, вероятно, давно миновали Саддервазех. Дорога тянется вдоль красно-золотой, как будто осенние листья перетерли в песчинки, пустыни. Небо над нами неестественно синее, низкое и как будто старательно раскрашенное ребенком, который очень любит синий цвет, так любит, что ни облачка не оставил. Кондиционер работает вовсю, и все же я чувствую едва уловимый запах гниющей плоти.

Однако, кондиционер в машине Санктины явно приспособлен разгонять этот запах лучше, чем его коллеги в любом другом автомобиле.

Я ловлю взгляд Нисы в зеркале заднего вида, я вижу, как плоть слезает с ее губ, когда она говорит:

— Да пошли они! Я серьезно! Я никогда к ним не вернусь!

Офелла закуривает явно не первую сигарету, пальцы у нее дрожат, но слушает она внимательно, монолог Нисы явно к ней обращен.

— Да, я никогда не стану полноценной, как взрослые! Не закончу свою инициацию! Ну и ладно! Не больно-то и хотелось становиться частью этого общества! Я и так не собиралась убивать Марциана!

Я не улавливаю суть разговора, потому что застаю его середину, однако мне нравится, что убивать меня не хотят.

— А что случится, если ты не вернешься в Парфию?

— Когда я смогу пить чужую кровь, мне нужно будет опустошить донатора. Тогда я стану взрослой и возрастет моя связь с нашей землей. Наш народ может делать с Саддарвазехом удивительные вещи. Подземные города не только техническое достижение. Эта земля благоволит нам. Родители показывали мне пару трюков, но я вполне смогу жить и без связи с Саддарвазехом и всем моим дурацким народом. Когда мы все решим, я собираюсь больше никогда их не видеть.

— Ты на всю жизнь будешь связана с Марцианом?

— В общем-то, да. Наверное, позже я смогу пить и другую кровь, но пока Марциан жив, он будет для меня главным источником.

Я говорю:

— Смотри, ты можешь жить так, а когда я буду старый и на смертном одре, выпить всю мою кровь и стать взрослой. Как тебе это?

— Доброе утро, — говорит Офелла.

— Извините пожалуйста, я задремал.

— Если слезешь с меня, я не стану требовать компенсацию за причиненный моему здоровью ущерб.

Я поднимаюсь слишком резко и едва на ударюсь головой о крышу машины. В прошлый раз она была открыта, но если бы так продолжалось сейчас, нам в лица летел бы острый песок.

— О, все в порядке, Марциан, — говорит Юстиниан. — Извинись перед моим коленом, и мы в расчете.

— Прости, колено Юстиниана.

Ниса и Офелла усмеваются. Их обеих немного видно в зеркале заднего вида, и на лицах их появляется выражение, которое у девочек со школы означает скепсис по отношению к мальчикам.

Два таких разных лица — живое и мертвое, и одинаковое выражение на них, надо же.

— Мы уже решили куда едем?

Ниса мрачнеет, мотает головой.

— Из пустыни. Это-то в любом случае. Дальше подумаем.

Мы молчим, а Ниса вдруг ударяет кулаком по рулю, вызывая негодующий рев клаксона.

— Знаете, что самое обидное? Я теперь даже порыдать не могу из-за того, какие у меня дерьмовые родители, так что теперь мои эмоциональные проблемы усугубятся.

Офелла выбрасывает сигарету в окно, и она пролетает мимо меня, а потом падает на асфальт, чтобы навсегда там остаться.

— По крайней мере, у нас есть машина, — говорит Юстиниан. — Можем устроить драматическую дорожную историю в поисках неведомого. Как вам эта идея?

— Я все еще злюсь на тебя, ты в курсе?

— Да, я понимаю. Вхождение во тьму и выход из нее — инвариант всех трансформаций. Мы выйдем после этого обновленными, не переживай.

— Ты вообще можешь быть серьезным?

— Не ругайтесь, пожалуйста, — говорю я. — Нам нужно быть вместе.

Мы одни, в незнакомой почти никому из нас стране, и у нас есть только машина. Ну, у меня еще есть немного денег, которые здесь не принимают и книжка, с которой я не расстаюсь на случай, если мир уйдет в минус.

Перевернется.

Я прижимаю книжку к себе как игрушку, пробую на зуб уголок.

— Мы хотим покинуть пустыню? — спрашиваю я.

— Да, — говорит Ниса. — Я рассчитываю сделать это до вечера. Я понятия не имею, куда мы поедem, но мы точно не останемся в Саддарвазехе. Скорее всего, едем к морю, в Гирканию. Там крупный курорт и большая текучка народа. Нас будет сложно найти. А потом улетаем обратно, в Империю. Здесь мне делать нечего.

— Хоть страну новую увидели, — говорю я. Отчасти я даже рад, родители будут счастливы, что я дома. Может, даже удастся не волновать их моей прошедшей поездкой в Парфию.

— Мы найдем выход, — говорит Офелла.

— Вы все это твердите, но пока что я выхода не вижу, — отвечает Ниса. А я говорю:

— Если выхода не будет, мы останемся с тобой до конца. Потому, что ты наша подруга.

— Думаю, если выхода не будет, вам лучше убить меня и спасти тем самым мир. Я прочная, но золото в сердце меня прикончит.

Я качаю головой.

— Стой, стой. Никто не будет тебя убивать. Если черви приходят, когда ты страдаешь, то мы просто постараемся сделать тебя счастливой.

А потом я понимаю, как все это невероятно обидно. Санктина, наверняка, уехала и уговорила Грациниана уехать, чтобы Ниса испугалась, чтобы почувствовала себя брошенной, чтобы расстроилась.

Чтобы она плакала.

Наверное, всю жизнь мама Нисы училась делать ее несчастной. И в этом она сейчас преуспевает. Я подаюсь вперед, целую Нису в щеку, губы мои касаются влажной, превращающейся в ничто кожи.

— Может поиграем в слова? — преувеличенно радостно спрашивает Офелла, а пальцы ее нащупывают последнюю в пачке сигарету, и она ругается:

— Я сдохну, если мы не найдем здесь заправку. А если найдем, я куплю целый блок имперских сигарет и буду курить их одну за одной.

— Пока с тобой не случится того, что ты предполагала в случае, если мы не найдем заправку. То есть, все пути ведут к одному состоянию.

Так что, в основном потому, что Юстиниан противный человек, мы начинаем играть в слова. Тут я хорош, потому что отлично запоминаю вещи, даже такие непонятные мне, как гипербола, аксонема и осциллятор. А Юстиниан все слова заканчивает на "ия", и они кажутся одинаковые: экзальтация, революция, репатриация, репарация, глобализация, рецепция. Так что все очень радуются и даже аплодируют ему, когда он говорит "фиксатив", хотя, что это такое, никто не знает.

Офелле все время достаются слова, которые должны начинаться на "я", а сигареты у нее закончились, поэтому она едва сдерживается, чтобы не швырнуть чем-нибудь в Юстиниана. А когда решает, что все-таки сдерживается зря, оказывается что в бардачке только

флакончик дорогих духов Санктины.

— Возьми себе, если нравятся, — говорит Ниса, когда Офелла подносит колпачок к носу, вдыхая аромат.

В этот момент машина, словно решив, что мы неуважительно и преступно относимся к вещам Санктины, останавливается. Рывок получается такой сильный, что я ударюсь головой о переднее сиденье, а Офелла роняет духи, их отбрасывает вперед, и флакон разбивается о лобовое стекло. Осколки со звоном падают, а янтарная жидкость покрывает мир передо мной. Все заволакивает амброй, ванилью и чем-то перчено-острым.

Офелла ругается, Юстиниан смеется, а Ниса с глазами, не выражающими совершенно ничего, включает дворники.

— Они чистят снаружи, — говорю я.

— Упс, — говорит Ниса безо всякой интонации. — Точно же. Лучше и быть не может.

А через пару секунд нам приходится покинуть машину, чтобы не задохнуться, потому что с духами Санктины не справляется даже кондиционер. Мы выходим и попадаем прямо в объятья пустынного зноя.

— Как считаешь, у твоей мамы в багажнике не окажется шестилитровой бутылки воды? — спрашиваю я.

— Скорее, там окажется труп, — говорит Ниса. Она снова залезает в машину, сморщив нос проверяет что-то, вылезает.

— Бензина полно, — говорит Ниса. — Но тачка сдохла.

— Следующими будем мы, — говорит Юстиниан.

Офелла открывает капот, сосредоточенно что-то рассматривает, явно понимая нечто мне недоступное. Ей не хватает сигареты в зубах, судя по ее нервным движениям не только для образа автомеханика, но и физически. Она выглядит смешно, и от контраста очаровательно. В милом платье и блестящих балетках, с руками, покрытыми машинным маслом и терминами, которые я даже повторить не могу, словно они сказаны на незнакомом мне языке.

Мне кажется, мой мозг даже отключается, когда Офелла открывает рот, и я только вижу, как розово блестят ее губы. Ниса щелкает пальцами передо мной.

— Марциан!

— Что? Машина не работает?

Офелла говорит:

— Нет. И исправить без инструментов ничего нельзя.

Юстиниан говорит:

— Ниса, звони в автосервис. Но так как нам не нужны свидетели, приехавших мы уьем, а с помощью их инструментов Офелла починит машину.

— Что ты несешь? — спрашиваю я.

— Отпечаток медиа культуры, основанной на насилии.

— Да плевать на тачку, — говорит Ниса. — Все равно ее пришлось бы бросить неподалеку от первого же города. Если нас будут искать, то по ней в том числе.

А потом Ниса пинает фару, и я слышу звон, и осколки, бриллиантово сияющие под солнцем, разлетаются, погружаясь в песок.

— Давайте ждать попутку, — говорю я. — Но что воды нет все-таки жалко.

Даже от взгляда на солнце язык присыхает к небу. Жарко до невероятности. Я смотрю на пустыню, которая, кажется, не имеет ни конца, ни края. Такой золотой океан, состоящий

из обжигающих капель. Рыжий и золотой заставляют небо синеть еще больше, и оно своим предельным цветом вызывает жажду. Офелла нервничает, что встретит змею или скорпиона, Юстиниан напевает детскую песенку о далеких краях, а Ниса снова и снова пинает машину, и однажды на бампере непременно образуется вмятина.

Мы явно далеко уехали от Саддервазеха, потому что навстречу нам ни одна машина не едет. В этом большом и пустом месте чувствуешь себя непередаваемо одиноким. Когда Ниса еще раз бьет бампер, я делаю шаг к ней, но меня останавливает Юстиниан.

— Позволь мне, — говорит он, а когда подходит к Нисе, на ладони у него сверкает фиолетовым преторианский нож. Ниса смотрит на него со злостью, но Юстиниан улыбается обезоруживающе и вгоняет нож в бампер машины. Я слышу шипение расходящегося под лезвием металла. А потом Юстиниан предлагает Нисе руку, словно она дама, которую он приглашает на танец. Ниса понимает его безошибочно. Она хватается Юстиниана за запястье, ведет его руку, заставляя втолкнуть лезвие ножа в металл. Железо плавится как масло от огня его души.

Ниса управляет рукой Юстиниана и вместе они калечат дорогую, безумно красивую машину Санктины. Мне кажется, они хотят ее на клочки разрезать, не меньше. Машина вскоре теряет свою форму, становится топорщащимися листами и полосами металла. Теперь не сказать, чтобы когда-то она была красивой или дорогой. Или вообще машиной.

Мы с Офеллой как раз видим первый автомобиль, способный нас подвезти. И вообще первый автомобиль за долгое-долгое время, кроме того, который калечат перед нашими глазами.

Наверное, водитель решает, что мы разберем на металлолом и его машину, потому что он не останавливается. Следующей попытки приходится ждать десять минут, но и второй водитель нас игнорирует.

— Может, мы неправильно голосуем? — спрашиваю я. — Так же говорится про автостоп. Голосовать? А почему голосовать?

Офелла утирает пот со лба и говорит:

— Понятия не имею, Марциан.

И мы пробуем снова, но у нас не получается опять. Тогда я снимаю с себя рубашку, стелю ее на обочине, и Офелла садится на нее, а я продолжаю голосовать правильно или неправильно, пока Юстиниан и Ниса распиливают машину преторианским ножом. Вернее, пока Ниса водит рукой Юстиниана, словно он первоклассник, которому она помогает с прописями.

Наверное, все вчетвером мы похожи на какой-нибудь абсурдный перформанс Юстиниана. Мы странные. Многие так думают, потому что редкие машины пролетают мимо нас, даже не замедляясь.

Только одна останавливается — старенькая, красно-облезлая и с открытым кузовом, в котором трясутся коробки с консервными банками и прямо на солнцепеке спит какой-то тощий человек, которому я сочувствую, потому что, наверное, он уже ближе к жаркому, чем к нетронутому человеческому существу.

Юстиниан отшатывается, едва не падает. Он бледный, несмотря на то, как палит пустынное солнце и, кажется, если его тронуть, он будет холоднее Нисы.

Ниса обнимает Юстиниана, и он улыбается. Кажется, Юстиниан прощен, и я тоже этому рад. Затем Ниса подскакивает к машине, из окна высовывается водитель. Я иду обнимать Юстиниана вместо Нисы, чтобы он не упал, пока Ниса пытается договориться с

водителем на живописном фоне развалин, в которые превратила машину своей матери. Водитель мне нравится. Растрепанный молодой парень с растерянной улыбкой, словно он что-то потерял, но может вспомнить, что.

Ниса говорит с ним на парфянском, и он отвечает ей что-то так, словно она спрашивает у него, в чем смысл жизни или почему западная философия строится вокруг категорий существования. То есть, он нервничает, смеется, выглядит растерянным, а говорит много. Я подхожу ближе, чтобы рассмотреть его.

Он до половины высовывается из окна самым неудобным образом. Я вижу, что одежда у него легкая и черная, такого же кроя, как у Санктины и Грациниана, только пуговицы и запонки не в форме солнца, а в форме птичьих черепков, маленьких и сделанных очень искусно. Каждая пуговичка — отдельная, крохотная птичья голова.

Это даже немного неприятно, но все равно красиво. Парень смуглый, глазастый, с чертами в целом симпатичными, но из-за странного выражения его лица, у него совершенно нелепый вид.

Я поддерживаю уставшего Юстиниана, и он пользуется этим со всей возможной расслабленностью, так что мы оба кренимся назад, и я говорю:

— Осторожно! Мы должны произвести впечатление!

Тогда водитель вдруг неожиданно внимательно на нас смотрит, говорит с акцентом заметным, много сильнее, чем у Нисы:

— Говорите на латыни?

— Да, — говорю я. — Это наш родной язык. Мы из Империи.

А потом я понимаю, что, может, этого и не стоило говорить. Все-таки парфяне, наверное, нас не любят. Но парень выглядит очень доброжелательным.

— Приятно познакомиться.

Но ни мы, ни он не представились, поэтому выходит неловко, как будто кто-то вырезал кусок диалога.

— Пожалуйста, — говорит Офелла. — Подкиньте нас до ближайшего города! Прошу вас! Видите, наш друг от жары совсем дурной, — она кивает в сторону Юстиниана.

— А с машиной что случилось? — спрашивает водитель.

— Она плохо себя вела, — говорит Юстиниан, едва шевеля языком.

— Вот что, — говорит водитель. — Ближе всего здесь наша деревня. Я вас подкину туда, дам ночлег. А утром вы как-нибудь себе разберетесь. Может, оттуда кто поедет в город. А то вы далеко забрались.

— Здорово! — говорю я, и Ниса тоже что-то говорит. Наверное, то же самое, только на парфянском.

— Девчушки влезут на сиденье, — говорит водитель, и слово это странное, словно бы оно должно быть произнесено кем-то много старше него. — А вы полезайте в кузов. Там, конечно, жарко, но тент наш сдуло в прошлую песчаную бурю.

— Спасибо вам, — говорю я. — Вы очень добрый человек.

А он говорит:

— Это вам спасибо.

Получается весьма странно.

Я помогаю Юстиниану залезть в кузов, и Юстиниан наступает на человека, спящего там. Он бормочет что-то, а затем открывает пронзительно голубые на обгоревшем, красном лице глаза.

— Здравствуйте, — говорю я, и он улыбается словно я его самый-самый лучший друг.

— Латынь! — восклицает он. — Тысячу лет не говорил на латыни!

— Надеюсь, не в прямом смысле.

— Миттенбал сказал, что мы за тушенкой. А привез мне земляков! Хороший он человек!

Вас как зовут?!

Я вижу, что это человек старый, постоянное нахождение на солнце сделало его кожу похожей на иссохшую красную землю в трещинах, и когда-то тонкие, почти аристократичные черты выглядят у него страннейшим образом.

— Меня зовут Юстиниан, и я свидетельствую, что по вкусовым качествам уступаю тушенке.

Красный человек вытягивает палец, словно решил ткнуть им в небо, говорит:

— Тихо! Сейчас тронется!

Мы с Юстинианом одновременно опускаемся на плетенную подстилку рядом с красным человеком. Он говорит:

— Хорошо его знаю. И малышку эту.

Хлопнув по кузову машины, он тут же отдергивает руку, обжегшись.

— Тут двигаться надо осторожно, — говорит. — С плетенки ни шагу. Вас как зовут?

— Меня — Юстиниан.

— А меня — Дарл.

Не то, чтобы я считаю, что мне опасно быть Марцианом, каждый здесь знает имя сына императора чужой страны, или что-то в этом роде. Даже у нас в Империи мне не уделяют никакого особенного внимания, папа давно отучил прессу перемывать нам кости.

Просто мы в путешествии, а в путешествии хочется побыть кем-то другим. Иная страна, иное имя, иное все.

Я думаю о папином воспоминании и о том, как он хотел назвать меня, так имя само всплывает в голове.

— Дарл! — говорит красный человек. — И я тоже Дарл!

Он вдруг подается ко мне, его пронзительные, голубые глаза упираются мне в зрачки, так что я не могу сфокусировать взгляд, и все делается туманным.

— У меня был друг, на которого ты похож. Но у тебя мягче черты. Так вот, тот друг сказал, что назовет в честь меня сына, если мы сумеем выбраться из дурки.

— Из дурки? — спрашиваю я с опаской. Что этот человек — один из нас, я понял еще не по имени, но по взгляду. Но в дурдом, заведение закрытого типа для содержания тех, кто совершенно не способен себя контролировать, отправляют опасных для общества людей нашего народа. Совершенно точно нельзя относиться хуже к человеку, которому повезло меньше, чем мне, ведь никто не выбирает, под какой звездой родиться. Однако нужно быть и осторожным. Баланс между этими стремлениями и есть порядочность.

Дарл достает из-за одного из ящиков бутылку воды, передает нам. Сначала я даю попить Юстиниану, потому что он потратил много сил на бессмысленное разрушение. Юстиниан передает бутылку мне, и я крепко в нее вцепляюсь. Даже в тени ящика пластик нагрелся так, что обжигает ладони, а вода горячая, но самая вкусная на свете.

— Ага, — говорит Дарл. Одет он не так, как парфяне, на нем шорты и выцветшая майка, на которой едва читается название футбольной команды, все игроки которой уже стали толстыми обладателями яхт и недвижимости у моря.

Он говорит:

— Там не сахар. Но так нигде не сахар!

Он хрипло смеется, и я наблюдаю, как двигаются избороздившие его лицо морщины.

— А как вы оказались здесь? — спрашиваю я. — В кузове.

— Поставил ящики да сам сел.

— О, эти варварские разговоры. Вскоре издам абсурдистскую пьесу по мотивам, — говорит Юстиниан, и я прижимаю руку к его лбу. Он оказывается холодным.

— Ты отдохни, — говорю я.

Мне ожидается, что станет прохладнее от скорости, с которой мы едем по дороге, но ветер горячий, хрустящий от песка, и нам всем, в конце концов, снова приходится лечь в кузов. Лежа на плетеной подстилке я понимаю, что Дарл поступил мудро. Над нами словно завеса песка, золотая вуаль, но скорость уносит его вдаль, и он не оседает на нас. Если протянуть руку, песчинки будут ударяться о мою ладонь, но когда я лежу, песок просто заволакивает синее, безоблачное небо надо мной.

Юстиниан вскоре засыпает от усталости и от того, как мягко нас качает машина, двигаясь по ровному языку асфальта, пролегшему между барханами. Дарл достает из кармана сигареты с парфянским названием и закуривает. Я представить себе не могу, как он может курить такие вонючие сигареты, лежа на дне кузова в такую страшную жару.

Я смотрю на расслабленное лицо Юстиниана, он не морщит острый нос, наверное, даже не чувствует запаха дыма. Глаза у него чуть заметно двигаются под веками, будто он что-то читает. В детстве я считал, что когда у спящих двигаются глаза, они читают свои сны, и в головах у них всплывают картинки, как от книг.

Я не знаю, что сказать Дарлу, наверное, надо что-то спросить, но язык сухой, а в голове свистит ветер. Дым от его сигареты взвивается вверх, и его разбивает летящий над нами песок, изредка гремят на поворотах ящики.

— Я ведь знаю, что ты его сын, — говорит Дарл. — Казалось бы, просто парень похожий. Но я уж такие вещи чувствую. Его сынок, надо же. От той грустноглазой принцессы?

Я молчу и слушаю его. Мне странно задавать вопросы тому, кто знает обо мне что-то важное с самого начала.

— Мы с ним были друзьями, — говорит Дарл. — Потом каждый пошел своей дорогой.

Наконец, я все-таки не выдерживаю:

— Мой папа правда был в дурдоме?

Мне кажется, что кто-то смывает краску с рисунка, на котором я знаю каждую черточку. Мой папа — особенный, он избран нашим богом, чтобы быть нормальнее других. Не мог он попасть в место, где оказываются самые безумные люди Бедлама. Это просто неправильно, так не должно быть, потому что мой папа — противоположность варварам, которых все представляют, когда слышат слово "дурдом".

Дарл смеется, говорит:

— Он был самым поехавшим ублюдком, с которым я дружил. А дружил я со многими. Я вообще дружилистый.

— Нет такого слова, — говорю я. — Но оно хорошее.

— Вот и язык стал забывать. Ничего, новый придумаю.

— Вы были с ним на войне?

Дарл смеется, показывая песочно-желтые, пустынные зубы.

— Нет. Мы с ним сбежали вместе, и я пошел своей дорогой. Тогда было странное время.

Все кричали о свободе и невероятных переменах, готовы были бороться и умирать за радикальное преобразование мира. Бертольд окунулся в это с головой. Там было его место. У меня были свои дела.

Дарл говорлив, как и все старики, и мне нравится его слушать. А потом я понимаю, что он разве что на пару лет старше моих родителей. Мне становится очень странно думать об этом.

— Он мудрый человек, хотя чокнулся похлеще тех, кто рождается под Буйными Звездами, — говорит Дарл. — Он человек своего времени. А я человек, которому нужно было решить проблему.

— А какую проблему вы решали?

Я смотрю на него внимательно, понимая, что этот высокий, тощий, и в то же время крепкий старик, был рядом с моим отцом в темное время его жизни, о котором не знаем ни я, ни сестра, ни мама.

Он является источником знания о папе. Но я не уверен, что хочу открыть для себя, кем был мой отец. В конце концов, он не зря хранил свои тайны. Поэтому я спрашиваю:

— Так что про проблему? Какая она?

Дарл почесывает нос, ветер сдувает пепел с его сигареты.

— Я был мертв внутри, и голоса с юга сказали мне идти. И я пошел. Здесь, на юге, я нашел отца Миттенбала и стал на него батрачить. Так и жизнь прошла.

— А что голоса с юга?

— Голоса с юга говорят, что я все сделал правильно.

— И теперь вы живы?

Он обнажает зубы, цокает языком.

— Да нет. Нет, не жив. Так и никто не жив.

Я не боюсь, и в то же время мне не по себе. Папа говорит, что любое безумие отчасти правда. Что на все можно посмотреть с любой перспективы. Слова Дарла именно этим мне не нравятся.

Безумец в стране мертвых.

— Расскажите, — быстро прошу я. — Про место, куда мы едем.

— Да деревенька, особенного в ней ничего нет, кроме того, что она стоит на границе с землями изгоев. Но сколько ни живу — все справляемся. А чего б не справиться? Как отца Миттенбала закопали, так тяжелее стало. Но живем. Там люди важным делом занимаются. Ты про кукольников ничего не знаешь, да?

— Они делают кукол, — предполагаю, но Дарл закладывает руки за голову, словно меня не слышит.

— Это нет, — говорит он. — Я бы это так не назвал.

Дарл широко зевает, из черного провала его рта высовывается красный язык.

— Ты как хочешь, а я дальше спать. Ехать нам до самой областной границы. А книжку береги. Хорошая книжка. Я ее наизусть знаю.

Я сильнее прижимаю ее к себе, как ребенок игрушку. И вправду, очень хорошая.

Он закрывает глаза, минут десять молчит, и тело его безвольно качается от хода машины, но я чувствую, что Дарл не спит. Может быть, по контрасту мне что-то ясно, потому что рядом со мной спящий Юстиниан. Сначала я думаю, что в такую жару заснуть точно никак не получится. Перед глазами у меня то и дело всплывает испещренное морщинами лицо Дарла. В честь этого человека папа хотел назвать меня? Но почему? Дарл

не воевал с ним бок о бок. Они вместе сбежали, и Дарл ушел на юг, чтобы стать живым, а папа вошел в императорский дворец, чтобы переделать мир.

Оба они сумасшедшие, даже для нашего народа слишком, но дороги у них разошлись. Папа выглядит рассеянным человеком, я знаю о его жестокости, и он развлекается, смотря на записи с камер наблюдения. Это странно, но не совершенно безумно.

Я вспоминаю, что мама говорила о его взгляде на реальность, но для меня ее слова звучат, как сказка. Такая жутковатая идея, которая может вызвать мурашки по спине. Вроде тех, что заканчиваются словами "только не оборачивайся" или "но это уже не был твой друг". Только нельзя не оборачиваться, если таков сам мир вокруг, а измениться в любой момент может не только друг.

Папин взгляд, как будто он смотрит сквозь человека, с которым разговаривает, папины случайные фразы про то, что ничего надежного нет.

У нашего народа бывают странные идеи, но мало кого держат взаперти.

Словом, мне бы думать, куда мы попадем и что будем делать, но я думаю о папе и странном друге из его прошлого, знающем, что у моей мамы грустные глаза.

Так я засыпаю, и мне ничего не снится, только песок шелестит над головой, делая меня глухим к каким-либо снам.

Когда я открываю глаза, Юстиниан и Дарл обмениваются бутылкой над моей головой. Небо сумеречное, и я боюсь, что мир стал той единицей, что с минусом, однако судя по спокойствию Юстиниана, все в порядке.

Дарл отпивает воду, а остаток предлагает мне. Я беру бутылку, машина в этот момент останавливается, и меня окатывает теплой водой. Но это приятно. Дарл смеется, а Юстиниан говорит:

— Тебя нельзя пускать в пустыню, ты не умеешь экономить воду.

— Ты не умеешь прощать людям слабости, — говорю я. Слышу, как открываются двери машины и понимаю, что надо мной только потускневшее небо, а что вокруг совершенно непонятно.

Дарл с мальчишеской ловкостью спрыгивает с кузова, говорит:

— Теперь поможете таскать консервы. Миттенбал не попросит, он растяпа. Но я лентяев не люблю.

Я говорю:

— Мы с радостью вам поможем.

— Совсем как твой отец, — хмыкает Дарл, и взгляд у него становится ярче и дружелюбнее. Юстиниан смотрит на свои руки, будто не верит, что они способны к работе, вздыхает.

Мы выбираемся из кузова. Ниса обсуждает что-то с Миттенбалом, он изредка говорит нечто, вызывающее у Нисы либо удивление, либо скепсис. Интересно смотреть за людьми, говорящими на незнакомом языке и видеть те же реакции, ту же мимику, что и у тех, чью речь понимаешь. Но как бы ни было интересно, приходится взять коробку с консервами и следовать за Дарлом.

Действительно, мы в деревне. Тут одна улочка, где две противопоставленные друг другу линии невысоких домов разделяет полоса земли с узкими островками пожухлой травы. Пейзаж странный. Позади, за одной линией домов, метров за пятьдесят, разлеглась пустыня, а впереди, после второй линии домов, примерно на таком же расстоянии, стоит густой, темный лес. Мне казалось, что вся Парфия — сплошная пустыня, поэтому лес меня страшно

удивляет.

Его неестественное происхождение очевидно. Слишком резкая граница между ним и пустыней, а в природе все мягко, сглажено. Золотые пески, полоса человеческой жизни и сразу высокие, напоенные водой деревья.

Все это имеет особое, божественное значение. Как и две линии домов. Они похожи на знак равенства. Домики красивые, разноцветные, хорошо покрашенные. У домиков ставни с нарисованными цветами и зверушками. У домиков крыши с разноцветной черепицей. Такое ощущение, словно все это придумывал ребенок, а проектировали очень любящие его взрослые.

Разноцветные дома, фигурки, вырезанные на перилах, все это здорово и мне нравится. Все окна обращены к лесу. В домах, находящихся со стороны леса, ни одного окна к дороге не выходит, это странно. Будто половина домов смотрит на другую, а вторая обижена и глядит на лес.

Мы следуем за Дарлом, таская коробку за коробкой в сарай, выкрашенный в мятный цвет. С моей книжкой я так и не расстаюсь, кладу ее каждый раз поверх консервов в коробке, словно она в любой момент может мне пригодиться. Я с восторгом смотрю на мир вокруг, он кажется мне таким странным. В детстве у Атилии был целый кукольный городок. Так вот, это место очень его напоминает. Международный язык детства — рисунки мелом, яркие краски, фигурки и детальки.

Вид деревни совершенно не согласуется с людьми в ней обитающим. Все те же рубашки или платья, идущие в пол. Только ткань легкая, почти невесомая. Пуговицы и запонки в виде птичьих черепков, как у Миттенбала. Наверное, в Парфии принято носить особые пуговицы и запонки в знак принадлежности к какому-то народу. В мире, где отношения между народами хорошие, это кажется отличной идеей, позволяет избежать пуганицы, ненужных вопросов.

У нас дома, спустя двадцать два года, многим все еще не хотелось бы, чтобы о них знали, что они воры, или ведьмы, или варвары.

Всякий раз, как мы приносим коробку и ставим ее в выкрашенном в мятный сарае, мне хочется там остаться. Прохлада в нем стоит нежная, живая, такая приятная, что хочется закрыть глаза и некоторое время только для нее существовать.

Людей на улице не много, но для такой крохотной деревни, наверное, это даже чуть больше обычного. Три женщины сидят на веранде и пьют холодный чай. У одной на коленях кот, и она нежно гладит его, а я люблю котов, но когда смотрю на этого, вздрагиваю.

У него стеклянные глаза и шея на пружинке. Это игрушечный кот, но мурлычет он, как настоящий.

Я вижу, как девочки играют с фарфоровыми куклами. Сначала мне кажется, что они механические, потому что куклы бегут за девочками, догоняют их, а потом я понимаю, что никто не управляет ими. Чем больше я присматриваюсь к людям вокруг, тем более странными они кажутся.

Позади изящного старичка идет человек с бессмысленным взглядом и раскрытым ртом. Он вовсе не из нашего народа, потому как глаза у него стеклянные не в таком смысле, в котором обычно говорят, а в самом прямом. Это видно по тому, как падает на них свет.

Когда заканчиваются коробки, я говорю Юстиниану:

— Немного странно здесь все.

— Как в фильме ужасов.

Миттенбал махает нам рукой, говорит:

— Спасибо! Здорово, что вам нравится носить тяжести!

Но нам не нравится носить тяжести, думаю я, скорее стоило бы предположить, что мы старались помочь.

Офелла и Ниса смеются, и Миттенбал улыбается, словно бы не понимая, что здесь такого забавного, но решая поддержать веселье. Он рукой приглаживает непослушные, волнистые вихры и говорит:

— В общем, я хотел сказать, что здорово было бы поужинать вместе.

Я тоже думаю, что это очень здорово, поэтому киваю. Миттенбал мне нравится.

Его дом изнутри так же похож на кукольный, как и снаружи. Цветные шкафчики, креслица и зеркала. Все не слишком богатое, не изящное вовсе, но аккуратное и явно сделанное собственноручно и с любовью. Мне здесь уютно, хотя и совершенно непривычно.

Нам накрывают стол в гостиной. Обычно в этом доме явно едят на кухне, но сегодня гостей много. Длинный раскладной стол укрывают скатертью в цветных квадратах, ставят тарелки с розовыми и голубыми краями. Я чувствую себя польщенным, никогда еще я не обедал в таком необычном месте.

Ничего нет необычнее пианино, стоящего в гостиной и собаки по гостиной бегающей. Из открытого корпуса пианино торчат механические руки с пятью похожими на спицы пальцами. Они наигрывают одну мелодию снова и снова, а когда Астарта, жена Миттенбала, говорит что-то на парфянском, механические пальцы на секунду замирают, а затем ловко и без запинки воспроизводят новую мелодию. Собаку, которая носится вокруг, радуется, когда ее гладят и лихо виляет хвостом, и вовсе собакой бы не каждый назвал. У нее фарфоровая головка кукольного младенца на длинном теле с короткими лапками. Офелла даже смотреть в ее сторону не хочет, я же не вижу в ней ничего отвратительного, раз ей весело, и она виляет хвостом.

В доме почти нет техники. Я не вижу ни телевизора, ни радио, ни микроволновки или плиты. Телефон висит в коридоре, но дальше технологии отступают.

Миттенбал и Астарта сами накрывают для нас на стол и не позволяют нам помогать. Миттенбал больше молчит, а Астарта болтает без умолку. Она извиняется на ломанном латинском, что места у них мало, что спать нам всем придется в одной комнате.

Мы извиняемся, что вообще доставляем ей неудобство. Астарта молодая, как и Миттенбал, в Империи люди в таком возрасте редко женятся. Черная одежда на Астарте покрыта блестками, у нее длинные ногти в глазурно-розовом лаке, пушистое облако темных волос и яркие, влажные губы. Она красавица, кукольная и вся блестящая. Астарта не спрашивает в беде ли мы, но кормит нас овощным рагу с тушеным мясом, щедро сдобренным восточными специями и оттого совершенно непривычным на вкус. Астарта и Миттенбал иногда перекидываются репликами на парфянском, но фразы слишком короткие, чтобы быть невежливыми. Они добрые люди, но у их собаки несвойственная собакам голова.

Ужин получается совершенно чудный, я уже и не думал, что нам может быть так спокойно.

Офелла избегает смотреть на собаку, хотя явно нравится ей больше всех. И когда собака в очередной раз тыкается фарфоровой головой ей в ногу, Офелла быстро спрашивает:

— Расскажите о вашем народе, если это приличный вопрос в Парфии.

Мы как раз заканчиваем ужин и приступаем к крепко заваренному кофе. Я слышу стук маленьких лапок. Мимо стола проходит существо на длинных, словно бы паучьих ножках с

несколькими кукольными головами, смотрящими в разные стороны. Между этих голов я вижу корзину, туда Астарта и Миттенбал опускают свои тарелки. Я думаю, что в большинстве случаев, чтобы быть вежливым достаточно делать то же, что и хозяева. Опускаю тарелку и чувствую тепло, исходящее не от фарфора, но изнутри него. Словно в каждой голове бьется по маленькому сердечку.

Существо собирает тарелки и уходит на кухню.

В кофе добавлен мед, но это оказывается вкусное и согревающее сочетание. Никаких сладостей не подают, кофе сам здесь и есть десерт.

Астарта хлопает в ладоши и блески осыпаются с ее пальцев на скатерть.

— Наоборот, очень приятно рассказать о себе иностранцам! Нас здесь называют, как это будет... Дарл?

— Кукольники, — отвечает Дарл. Он берет на колени собаку и вытягивает язык, словно хочет облизать фарфоровое, младенческое лицо.

— Да, кукольники. Мы предпочитаем жить деревеньками, где все всех знают. Большие города это ужасненько и очень утомительно. Хотя кое-кто и уезжает, но я не смогла бы там жить.

Миттенбал говорит:

— Но там бывают интересные театральные постановки. Я люблю театр.

В отличии от Дарла, он не выглядит сумасшедшим, скорее ему очень-очень неловко, и он все не может найти подходящих слов, но Астарта с радостью щебечет за него.

— Наш бог-ребенок велит нам сотворять. Мы сотворяем существ, таков наш дар. Мы можем наделять жизнью механизмы и мертвых. Конечно, умерший не станет разумным, — она кидает взгляд в сторону Нисы, которая явно знает о кукольниках и слушает вполуха.

— Но, — продолжает Астарта. — Это все очень миленькие существа! Мы сотворяем игрушки для бога-ребенка и даем им жизнь, как он дал жизнь нам.

И тогда я понимаю: это не кукольный дом, это детский сад, где они нянчат своего бога.

А мы знаем, где живет их бог.

Миттенбал говорит:

— У нас, в общем, есть староста деревни. Это я. А раньше был мой отец. А еще раньше был его отец. В общем, у нас монархия.

— И чудные, чудные праздники! Вы любите фестивали? У нас есть фестиваль птиц. Их осенние маршруты пролегают прямо над нами, многие падают от усталости. Мы выхаживаем тех, что еще живы, а из тех, что мертвы делаем игрушки и запускаем в небо.

Она снова хлопает в ладошки, а потом подается вперед.

— Но расскажите о ваших народах! Я так мало знаю об Империи!

— О нашем народе, наверное, знаете, — говорю я. — Благодаря Дарлу.

— Ваш бог отметил ваши головы, это так интересно! — кивает Астарта. — А другие?

Разговор получается долгий и приятный, хотя и неловкий оттого, что мы едва знакомы. Дарл уходит спать рано, а мы еще долго болтаем. Когда мои друзья тоже уходят спать, я остаюсь послушать еще о том, как кукольники создают. Миттенбал и Астарта не раскрывают никаких секретов, но рассказывают все равно интересно. Оказывается, нужна часть, что прежде была живой и часть, которая живой никогда не была. Часто они вкладывают плоть внутрь механизмов, так что ее и не видно. А иногда вшивают металл в нечто бывшее живым.

Считается дурным тоном не изменять игрушки, ничем не украшать их.

Миттенбал говорит:

— Когда умерла моя сестра, я создал ее такой же, какой она была. Это великий позор — не дать ей ничего нового, не сотворить. Это не игрушка. Стыдно не уметь отпускать.

Мне дико слушать, как Миттенбал поднял из мертвых свою сестру в качестве неразумного существа, но я не говорю ничего. Люди скорбят очень по-разному и, быть может, ему до сих пор больно.

— Но все закончилось, — говорит Астарта. — Теперь Миттенбал один из лучших творцов здесь. Хотя я, конечно, считаю лучшим творцом себя. Но вместе мы тоже хороши.

Она смеется, словно птичка, и ее губы кажутся еще ярче от света лампочки. Все ставни в доме захлопнуты, а дверь заперта на засов. Наверное, живя на краю пустыни поневоле станешь осторожничать.

Миттенбал показывает любимое их творение. Хищную птицу, сделанную из тонкого, резного металла, внутри у которой бьется живое сердце. Птица поет сладким-сладким голосом, в котором я узнаю голос Астарты.

— Да-да, — говорит Астарта. — Я вложила немного себя в наше творение.

Я смотрю, как бьется за металлическим орнаментом красное, яростное сердечко. Оно как горящий уголек.

Миттенбал уходит спать, и мы с Астартой еще некоторое время сидим. Она рассказывает, что в апреле будет ярмарка, куда они повезут нечто удивительное. На латыни она говорит бойко, но иногда надолго забывает нужное слово и замолкает. Она кокетливая, но каким-то игрушечным, кукольным образом.

Наконец, она поднимается из-за стола, говорит:

— Пора спать, мой дорогой. Завтра решите, не хотите ли остаться еще на день.

Она тянется ко мне, от нее пахнет жимолостью, которая не должна расти в этом жарком месте. Астарта целует меня в щеку.

— Ты очень красивый, — говорит она. — Мне нравятся красивые люди.

Но я ни на секунду не думаю, что она хочет меня. У нее детское восхищение, словно она много младше, даже совсем маленькая девочка, хотя она явно чуть старше меня.

Я остаюсь в гостиной один. Длинноногая корзинка ходит вокруг меня, пока я не складываю туда свою чашку и блюдца, а потом цокает в направлении кухни, и наступает тишина.

Я листаю книжку, лежащую у меня на коленях. Мне здорово, и меня переполняют впечатления. Но наступит завтра, и мы не будем знать, что нам делать дальше.

Точки звезд обозначены цифрами, за цифрами скрываются буквы. Ответы и шифры.

Я решаю выйти во двор и посмотреть на звездное небо. В прошлый раз, когда мой бог помогал мне спасти папу, он говорил со мной. Были ли мы в минусовой реальности, если там его дом? Бездна звезд лишь часть огромного плана мироздания, в котором мы ничего не понимаем.

И все-таки я решаю выйти во двор и посмотреть в глаза моего бога. Может быть, ему интересно, что происходит со мной. Я отодвигаю засов и выхожу на крыльцо. Абсолютно все ставни закрыты, я из любопытства даже прохожусь вдоль дороги. Все как одна ставни действительно крепко запахнуты, как будто кто-то следит за порядком и проверяет их каждый вечер. Небо большое, звездное.

Аквариум с серебряными рыбками, думаю я, возвращаюсь на крыльцо, сажусь рядом с дверью и открываю книжку. Звезд много, но ни одна не мигает. Я пробую наугад составить предложение.

Видение. Вино. Моя. Война.

Звучит, как что-то, что мог бы написать Юстиниан. Некоторое время я с упоением занимаюсь составлением предложений. Ловлю взглядом звезду, ищу ее значение, запоминаю слово, ловлю следующую.

Мое новое любимое предложение: город животных моментально жует.

Все это — части моего бога. Все это — кирпичики для бреда. Все это — живые люди.

Я связываю взглядом папины звезды, и мне становится тоскливо.

Я отвожу глаза, замечаю тень на земле, вскидываю голову и вижу Офеллу. Она стоит передо мной и смотрит на меня в упор.

— Привет, — говорю я. Вид у нее странный. Она стоит так, будто у нее очень устал позвоночник — плечи опущены, голова наклонена. Она делает шаг ко мне и протягивает руку.

— Ты в порядке?

Но она совершенно точно не в порядке. Лицо ее искажает страдание. Я поднимаюсь, делаю шаг к ней, но в этот момент дверь позади меня открывается, и чья-то рука втягивает меня в дом. Офелла в этот за момент перестает быть Офеллой. Она кидается ко мне, а может к свету за дверью, теряя человеческий облик. Я едва успеваю ее рассмотреть. В ней оказывается что-то от насекомого, большие блестящие глаза с неярко выраженными зрачками, тонкие крылышки и острое тело, с которого словно осыпаются частицы.

Я оказываюсь в доме, а оно остается за дверью. Миттенбал задвигает засов, и я слышу мерные удары, но дверь выдерживает. Она очень крепкая, хотя и выкрашенная в нежно-розовый.

— Там моя подруга! — говорю я, хотя сам уже убедился в том, что это не она.

— Нет, — говорит Миттенбал. — Там изгой. Они иногда приходят посмотреть, не задержался ли кто после темноты.

— Тебе, наверное, жить надоело, — говорит Миттенбал. Голос у него спокойный, кажется, он на меня не злится. Я говорю:

— Нет, совсем не надоело. Жить ведь очень здорово. Мне нравится жить. Я бы даже сказал, что это самое любимое мое занятие.

Миттенбал смотрит на меня, потом прижимает ладонь ко лбу.

— Значит, это я не сказал вам самого главного. Здесь после темноты нужно закрывать окна, закрывать двери и точно знать, где находятся твои близкие. Видит мой бог, если бы я не заметил тебя с этой дурацкой книжкой, ни за что бы не пустил домой.

— Вы не любите людей, которые не любят читать? — спрашиваю я, а Миттенбал вздыхает, словно ему очень грустно.

— Да нет. Просто изгой не умеют читать и не берут предметы. Вещи их не интересуют.

— А что не так с изгоями? То есть, я понимаю, что если вы называете их изгоями, значит с ними все не так...

Миттенбал прерывает меня, тыкает пальцем в мою щеку.

— У тебя здесь помада моей жены.

Я смотрю в зеркало и вижу малиновый отпечаток. Миттенбал начинает его тереть. Я говорю:

— Это не то, что вы думаете.

— Она может быть неаккуратной, — растерянно говорит он. — Так вот, изгой.

Помада Астарты исчезает с моей кожи, и Миттенбал смотрит на свои пальцы, говорит:

— Здесь наша земля, мы испокон веков жили тут и никуда не собираемся уходить.

Мне становится неловко, словно бы я какой-то толстосум в хорошем костюме, пришедший дать мешок с деньгами за эту деревню, в землю которой впитались целые поколения.

Но потом я понимаю, что Миттенбал говорит не со мной, а с тем, что снаружи. Он поворачивается к окну. Но то, что за окном, отчего-то думаю я, не в силах его понять.

— Они живут в лесу, но все время суются в нашу деревню. Тебе не повезло, обычно дорогу патрулирует одно из моих творений. Я сделал его из нескольких волков и пластика. Оно сейчас в ремонте.

Я думаю, что это забавно, потому что встретив ночью нечто из нескольких волков и пластика, я испугался бы больше, чем увидев Офеллу, даже такую странную.

Мы с Миттенбалом садимся на стулья, не сговариваясь развернув их от стола к закрытому ставнями окну.

— Дарл говорит, что другие в Империи считают, что пересотворение варваров вышло каким-то неправильным. Они просто никогда не видели изгоев. Эти действительно потеряли разум. И человеческую суть.

Я слушаю внимательно, потому что мне нравятся страшные истории. Но я не связываю рассказ Миттенбала с тем, что только что едва не случилось со мной.

— Изгой не похож на людей. Мне они чем-то напоминают насекомых. Пересотворение изменило их облик, но не только. Оно отобрало у них разум. У них есть лишь одно стремление — жрать, чтобы жить. Их тела разрушаются, словно в пыль

рассыпаются, когда они голодают. Им нужна человеческая плоть, чтобы жить. И кровь. И кость. Они не оставляют совершенно ничего.

Мне становится грустно. Это уже не люди-хищники вроде Нисы, а просто хищники.

— Немногие осмеливаются жить рядом с лесами изгоев.

Наш народ тоже живет в лесах и считается неразумным. Наверное, принцепсы пришли бы в ужас от изгоев, если так бояться нас. Хотя в ужас пришел бы кто угодно.

— В общем да, они съедают все, — говорит Миттенбал задумчиво. — В детстве мы рассказывали друг другу страшилки о синих слюнях.

— Синих слюнях? — спрашиваю я.

— Да. Их слюна имеет характерный, блестящий оттенок синего. Страшилка такая: приходит мальчик домой, а мама сидит за столом. Он маме говорит, что обедать не будет, а она в окно смотрит. Мальчик спрашивает в порядке ли мама, волнуется. А потом видит рядом с ножкой стула лужицу синих слюней. Вот мальчик и понимает, что это не мама на стуле сидит, а мама — эта лужица, вот и все, что от нее осталось.

Я представляю эту историю с собой в главной роли и с моей доброй, любящей мамой, и у меня в груди неприятно сжимается сердце.

— Противно, — говорю я.

— Да, — говорит Миттенбал. — Мне тоже эта страшилка никогда не нравилась.

Мы смотрим в закрытое окно, и ни за что я не был так благодарен в последнее время, как за то, что ставни крепко закрыты.

— Они принимают облик твоих близких. Их, в общем, отличить несложно. Они не умеют говорить. Да только иногда и пары секунд хватает, чтобы пропасть. И все, был ты, а осталась лужица синих слюней.

Я думаю о том, как легко мог стать сегодня лужицей синих слюней. Это вызывает у меня меньше боли, чем история о мальчике и его маме, но все равно неприятно.

А потом я понимаю и еще одну страшную вещь. Изгой следили за нами днем. Из своего леса они нас видели. Видели нас четверых и теперь могут принять облик любого из нас. Они нами заинтересовались. А мне совсем не хочется вызывать интерес у существа вроде того, что я встретил, и его друзей.

— Всегда им мало, — говорит Миттенбал, словно мы ведем какой-то философский разговор. — Ну, спокойной ночи. Ваша с друзьями комната, она в конце коридора.

— Спасибо большое! — говорю я и срываюсь с места. — Спокойной ночи.

Мне хочется скорее оказаться рядом с друзьями, потому что я вдруг понимаю, что если Миттенбал забыл сказать нам об изгоях, то мои друзья могли открыть окно и увидеть там меня.

А вдруг, когда я войду в комнату, там будут только лужицы синих слюней?

Но когда я распахиваю дверь, мои друзья валяются на кровати.

— Скажите что-нибудь! — прошу я с отчаянием. Юстиниан говорит:

— Репрессивный аппарат цивилизации.

— Что ты опять несешь? — спрашивает Офелла, а Ниса садится на кровати.

— Ты что думаешь, мы изгой?

Ставни крепко закрыты, и я тяжело вздыхаю. Комната совсем небольшая и темная, потому что в нее не проникает звездный свет, а на тумбочке стоит один ночник в форме полумесяца. На зеленых обоях малиновые кружочки, а кровать похоже вырвалась из кукольного дома и хотя значительно выросла, сохранила самые главные черты — грубоватый

розовый цвет и крупное изголовье. А на одеяле даже есть кружева.

На потолке имеется нечто вроде люстры, но в ней нет лампочек. Конструкция из птичьих костей с розовыми пустыми плафонами. Наверное, это детская. Хотя все в этом доме принадлежит ребенку.

— Нет, уже не думаю, — говорю я. — Просто я вышел на улицу, а там была ты, Офелла, а потом меня спас Миттенбал, а потом...

Они смотрят на меня внимательно, и я понимаю, что нужно рассказать заново и в подробностях. У Офеллы глаза наполнены ужасом то ли от описания ее самой, то ли от страха за меня. Юстиниан говорит:

— Фильм ужасов об этих ребятах непременно бы окупился. Если бы архетипический ужас был рестораном быстрого питания, злые двойники были бы жареной в масле картошкой — для психики очень вредно, расшатывает переживание реальности, но неизменно щекочет нервы.

— Теперь я знаю, что ты любишь поболтать, находясь в ужасе, — говорит Офелла. — Можешь не выпендриваться.

Я сажусь на кровать, обнимаю книжку и смотрю на закрытые ставни. Я не то чтобы очень боюсь, скорее волнуюсь. Мне не нравится, что кто-то столь неясный ходит по пустой улице между песками и лесом снаружи. Но тем уютнее становится рядом с друзьями.

Ниса говорит:

— Не переживай, я запретила им открывать окно. Я ведь тоже живу в Парфии. Здесь проблемы с изгоями с самого конца великой болезни. В Саддарвазехе их нет, но, как видишь, стоит пустыне закончиться, эти твари тут как тут. Даже мы их боимся. Нас очень сложно убить, даже с отрубленной головой мы вполне функционируем. Но если эти твари бросаются на тебя и съедают, как пираньи, то от тебя просто ничего не остается.

Мы с Нисой ложимся на кровать рядом с Юстинианом и Офеллой. Тесновато, но все равно хорошо. Я кладу книжку себе на грудь и говорю:

— Мне жалко их. Ужасно, что им приходится есть людей, чтобы выжить.

— Нам тоже, в определенном смысле. Парфия не для слабаков.

— Но вы можете не убивать, — говорю я. Лицо у Нисы становится заговорщическим, она тянется к ночнику, давит на кнопку и желтый полумесяц гаснет, оставляя нас в темноте.

Ниса ложится рядом, я оказываюсь между ней и Юстинианом. Ниса приподнимается, облакачивается на нас, словно на самом деле хочет рассказать что-то Офелле. Она легкая, и мне приятно ее ощущать.

— На самом деле изгой — величайшая загадка для всех иных народов.

Ниса вдруг становится ребячливой, в отличии от рассказывавшего мне страшилку Миттенбала, она говорит со страстью, которую рождает испуг. Бояться весело, когда рядом те, в ком ты абсолютно уверен.

Темнота погружает нас в состояние на грани веселья и ужаса. Мы все рядом, ощущаем собственное тепло и холод (когда дело касается Нисы), но речь идет о существах, что принимают форму людей, которых ты любишь, и близость становится тревожащей и в то же время необычайно нужной.

— Кто-то говорит, что их пересотворение пошло не так. Часть их бога разрушает их, и они отчаянно пытаются выжить, хотя их человеческий разум уничтожен. Кто-то говорит, что в этом и была задумка их бога, такими он пересотворил их, такими придумал. Но никто не знает о боге изгоев, друзья. Они ведь не говорят, ничего не создают, у них больше нет

культуры. Никто никогда не расскажет об их боге. Некому рассказать. Но все-таки давайте подумаем, если бог изгоев пожелал сделать их такими, думаю ему совсем не нравятся люди. Молитесь о надежной защите своих богов, встретившись с изгоями. Но известные нам боги могут отступить перед тем, о ком мы не знаем ничего.

Я чувствую, что Офелла дрожит и хватаю ее за руку. Рассуждения, от которых мурашки двигаются по позвоночнику вверх мне обычно нравятся, но сейчас все остро и слишком близко.

Больше книг на сайте - Knigolub.net

— Их привлекает свет, — шепчет Ниса. В темноте ее желтые глаза блестят и искрятся, и я думаю, может ли этот свет привлечь изгоев. Мы тесно прижимаемся друг к другу.

— Они идут туда, где свет. Они принимают облик того, кого ты любишь. А потом...

Ниса берет мою книжку, раскрывает ее и клацает переплетом.

— И все, — говорит Ниса. — Ты теперь ничто. Ни кусочка, даже похоронить нечего.

— Все, прекрати, — говорит Офелла, а потом мы все смеемся, и этот смех рассеивает напряжение. Юстиниан говорит:

— Я надеялся, что ты сдашься раньше меня.

— Я думала, это сделает Марциан.

— Мама говорит, что я самый смелый человек на земле.

Ниса подмигивает мне золотым глазом.

— Но жутковато стало, а?

— Жутковато, — повторяю я. А Ниса говорит:

— Знаете, как для людей с большими проблемами и неясными способами их решения, мы весьма неплохо проводим время.

Я вдруг ощущаю нечто особенное, но оно не укладывается в голове, не приручается языком.

Юстиниан говорит:

— Да, на мой взгляд вполне неплохо.

А Офелла шепчет:

— Раньше я думала, что приключения для людей, которые не в силах найти себе в жизни полезного занятия.

— А мы в силах?

— Не знаю, по-моему мы в силах даже спасти мир.

— Чтобы спасти мир, нужно спасти меня.

— Да, это я сказал так поэтично, чтобы ты...

— Ничего не поняла.

— Марциан, не додумывай за меня, это невежливо. Но, в определенном смысле, ты прав.

Теперь мы все шепчем, и я вдруг ощущаю нечто совершенно странное. Учительница учила меня, что есть дезинтеграция и интеграция, но не учила, что есть нечто среднее между ними.

Я ощущаю, как с одной стороны все распадается и расходится, все мы теперь шепчем, и я уже не понимаю, кто и что говорит, даже собственные реплики не отделяю от чужих. И в то же время, пока восприятие мое распадается, нечто соединяется и очень крепко.

Мне кажется, мы ближе, чем когда-либо.

— Я люблю вас.

— Я думаю, это слишком сильное слово, мы ведь, в сущности, не так близко знакомы.

— Я знаю, что ты любишь больше всего на свете, Офелла.

— И что же?

— Чувствовать себя лучше других.

— Помолчи.

— Да, помолчи. Я хочу насладиться тем, что у меня есть друзья.

Я касаюсь чьей-то руки, но не чувствую ни тепла, ни холода, и переживания мои становятся еще более странными. Я ощущаю рядом с собой людей, которые мне дороги, и я уверен, что я влюблен, тем вдохновительным образом, о котором читают в книжках.

Только я совершенно не понимаю, в кого именно. Я задумчиво глажу кого-то по волосам, что-то говорю, меня держат за руку, что-то говорят.

— Интересно, родство душ выглядит именно так?

— Оно никак не может выглядеть.

— Кстати, если именно так, то все это довольно нелепо.

— Я думаю, вполне можно подружиться навсегда за пару недель.

— Кстати, мы с тобой знаем друг друга всю жизнь.

— Не всю, ты позже родился.

Мне кажется, что у меня в груди невероятно легко, словно там космос и невесомость. А еще, что все правильно. Я глажу кого-то, гладят и меня, мы говорим о чем-то, только слова не значат совершенно ничего.

Запредельная цельность в чужой стране, где по единственной улочке рядом с нами ходят невиданные и голодные существа, делает меня таким счастливым.

— Я так счастлива, что вы рядом со мной. Я представить себе не могла, что меня можно полюбить и ради меня можно бросить свой дом.

— Я думал, что меня никто не выдержит дольше пяти дней к ряду.

— Я не знала, что могу довериться кому-то через пару дней после знакомства.

А я все это знал, я все это думал. И мне так хорошо.

А потом я целую кого-то, и это влажно, приятно и лучше совершенно точно не бывает. Кто-то касается губами моей шеи, и я кого-то глажу. Все это неразлично, может даже не только для меня.

Но я как никогда ощущаю, что мы счастливые, мы в чужой стране, у нас большие проблемы, но мы молодые, и нам все можно. Это невероятное ощущение.

Все становится совсем туманным. Я касаюсь то кожи, то ткани, я целую и целуют меня, холодное и теплое чередуется.

А потом Ниса всхлипывает, и все разбивается. Я открываю глаза и вижу, как она прижимает руку к лицу.

— Ниса, ты... — начинает Офелла.

— Мать твою, я слишком счастлива.

Она смеется, но ничего уже не исправить. Мир опять опрокидывается в минус.

Я смотрю на Офеллу, она черно-белая, и румянец на ее щеках серый, как у мечтательных девушек в старом кино. Она быстро застегивает пуговицы на блузке, становится такой, словно бы никогда ее не расстегивала. Юстиниан говорит:

— Волшебство закончилось.

А Ниса говорит:

— Волшебство началось.

Я вижу, как червь проникает в щели между досками на полу, мы с Нисой кидаемся к нему, но сталкиваемся лбами. На самом деле, это ничтожный, крохотный кусочек катастрофы. Его не хватит для того, чтобы в мир пришла Мать Земля. Но однажды из всех этих крохотных существ сложится сеть, которая приведет ее сюда.

Не страшно, если мы потеряли его, но однажды это станет важным.

Мы сидим на кровати, и я не знаю, что пугает меня больше — взгляд Офеллы или изменившаяся реальность.

— Как жаль, — говорит Юстиниан. — Еще одна странная сексуальная история не случилась со мной из-за конфликта между слоями мироздания. По крайней мере, это необычно.

Мы смеемся, а Ниса растирает по лицу кажущиеся черными слезы.

— Простите, — говорит она. — Не за то, что испортила момент. Просто я вдруг почувствовала себя такой счастливой. Оказывается, мне нельзя испытывать никаких сильных эмоций.

В отличие от Офеллы, она не выглядит смущенной. Юстиниан этого совершенно не умеет. Я, наверное, смущен тем, что Офелле теперь неприятно. Она поправляет волосы, и я думаю, что их клубничный запах кажется мне теперь совсем близким.

Я смотрю на настенные часы, на которых шевелит глазами клоун, рот у него открыт, как будто он очень пьян или не совсем разумен. Когда я пришел, то этого клоуна не заметил. Может быть, в реальности со знаком плюс он выглядит менее жутким. Маятник, его вываленный язык, путешествует справа налево и иногда замирает на одном из краев его ограниченного мира. От этого лицо клоуна кажется еще более жутким.

Я слышу далекий детский смех. Если это дом богов, думаю я, то здесь вполне может быть бог-ребенок кукольников. Эта мысль вызывает у меня не только благоговейный трепет, но и радость, потому что я вспоминаю, что и мой бог здесь.

Мой бог с его открытыми глазами и ответами ждет меня. Я хватаю книжку и говорю:

— Мне нужно на улицу.

— Ты с ума сошел? — спрашивает Ниса. — Там может быть опасно.

— И здесь может быть опасно, — говорю я. — Но если мы будем подвергаться опасности на улице, у нас есть шанс узнать кое-что важное.

Я не дожидаясь их ответа, потому что я знаю, как ограничено может быть наше время здесь.

Я распахиваю дверь, и она кажется мне слишком легкой, словно сделанной из бумаги. Так странно ощущать несогласованность предметов и их свойств, и мне кажется, что по-настоящему привыкнуть к этому невозможно. Я бегу по коридору, и хотя шагов моих друзей не слышно, я знаю, что они рядом. А потом я вдруг останавливаюсь, еще сам не вполне поняв, почему, смотрю на открытую дверь в одну из комнат. Как бы наша гостевая ни была похожа на детскую, теперь я хорошо вижу, что она ей не является.

Потому что детская передо мной. Такая хорошенькая комнатка с тортиками на обоях, выструганной из дерева колыбелью и целым морем игрушек — кукол, машинок, плюшевых зверьков, калейдоскопов и прочих радостей, которые сопровождают нас в детстве.

Только вот у кукол до жути человеческие глаза, в машинках металл переплетен с костью, а у плюшевых зверьков не плюшевые головы, пришитые грубыми нитками. Калейдоскопы ничем меня не шокируют, но, может быть, заглянуть я бы в них все-таки не решился.

Хотя странно думать, что я смог бы сделать хоть шаг, зайти в эту комнату с занавесками, усыпанными звездами и лунами.

Я стою, и друзья мои, едва не врезавшись в меня, замирают. Игрушки образуют ровный круг, как будто охраняют кого-то внутри. В центре этого круга стоит лошадка, она выглядит почти нормальной. Деревянная, в пятнах, в любом случае кажущихся черными в этом сумеречном мире, с большими, нарисованными и грустными глазами. Лошадка мерно раскачивается, и я бы не удивился, если бы она делала это сама собой. Многие вещи здесь не подконтрольны ничему и живут собственной, особенной жизнью.

Да только слишком ясно и сильно я различаю здесь присутствие чего-то. Лошадка качается, а потом вдруг замирает. Перед ней рассыпаны кубики с изображениями зверушек, цифрами и буквами. Каждая грань — нечто новое. Зверушки кажутся мне совсем чужими. Это не существа из нашего мира. Непропорциональные, незнакомые и очень зубастые. Цифры похожи на результаты страшных уравнений из университета, а буквы принадлежат алфавиту, которого я не знаю.

Но все это исполнено с той любовью и простотой, с которой создаются игрушки для наших, человеческих детей. Кубики выстраиваются в башенку, смотрящую на нас буквами странного алфавита с линиями неприятными моему (а может и человеческому) глазу.

Я не слышу детского смеха или дыхания, но мне чудятся прыжки и хлопки. Я не знаю, как выглядит бог-ребенок, похож ли он на человека вообще, не слышу его голоса, не вижу его, но эти прыжки и хлопки, размеренные, ритмичные, заставляющие содрогаться башенку из кубиков без сомнения принадлежат кому-то маленькому. Детские ритуалы и правила, ровное количество прыжков, ровное количество хлопков.

Или твоя мама умрет.

Перешагивай через трещины, иначе заболеешь. И не гляди под кровать, вот чего точно никогда не делай. Мне кажется ритм, который я слышу, можно наложить на несложную песенку.

Еще я слышу щелчок, и первый кубик отлетает, замирает на уголке, совершенно не желая занять устойчивое, как полагается в реальном мире, положение.

Скрипят доски, повторяются хлопки в ладоши. Есть много разных считалочек, они не все смешные.

Девять-десять, вас всех повесят.

Кубик поднимается в воздух, а потом взлетает вверх, остается на потолке, словно полет был падением.

Семь-восемь, прощения попросим.

Щелкни пальцами, на месте покрутись, а если будет страшно, к маме обратись.

Я помню, как важно было нам с Атилией совершить ровное число шагов или пройти в парк именно той дорогой, которая огибает ручей. Поэтому я стою на месте. Я знаю, что нельзя прерывать такие вещи.

Когда ребенок сбивается, его мир рушится. Я не хочу, чтобы бог сбился. Уязвимость того, что важно для него страшна мне. Я думаю, что и остальные это чувствуют, мы молчим, стараемся сделать вид, что нас вовсе не существует.

Перемещаются кубики, а игрушки, словно верующие, словно его собственный народ, неподвижно устремлены к центру. Наконец, наступает тишина. Движения нет, и это значит, что все важное — закончено. Я физически чувствую, как уходит время. Это, с одной стороны, метафора, потому что у нас его не так много. С другой же стороны, я ощущаю его,

словно бы воздух, уходящий из легких. Оно уходит из моего тела прочь, и в этот момент равняется жизни, как никогда прежде. Я закрываю глаза и думаю, что будет, если открыв их, я увижу перед собой чужого, маленького бога.

Не увижу. Его нельзя увидеть, ведь бог-ребенок в какой-то степени еще не существует. С ответом приходит спокойствие. И я понимаю, что можно идти. Мы проходим мимо осторожно, и вслед нам несется скрип укачивающей его деревянной лошадки.

Мне кажется, что доски пола расходятся, и отчего-то я совсем не хочу видеть, что под ними. В щелях между досками блестит притягательная чернота.

Мы нарушаем молчание только когда выбегаем из дома. Юстиниан говорит:

— По-моему, я передумал когда-либо заводить детей.

Я прижимаю к себе свою книжку и смотрю на подмигивающее мне небо. Я схожу с крыльца, иду на дорогу, и мне кажется, что закрытые окна домов, обращенных ко мне, это открытые глаза. Бог-ребенок любопытствует. И хотя мы не разозлили его, ему про нас интересно.

Дорога пыльная, и когда я сажусь на землю, вокруг меня вздымается облачко песка легкое, словно пудра. Мои друзья стоят на крыльце, а я открываю книжку. Сумерки позволяют мне видеть, но буквы, как во сне, скачут и расплываются перед глазами. Мне кажется, что я смотрю на суп, в котором плавает вермишель в форме буковок. Это знаки, из них составляются слова, их много, но они не имеют никакого смысла и находятся в движении. Я запрокидываю голову. Нужно сосредоточиться, времени мало. Звезды в светлом небе кажутся еще острее, словно их нарисовали. Они мигают, они хотят, чтобы я понял. Он хочет.

Я мотаю головой, стараясь вытрясти изнутри смятение. Когда я смотрю на дорогу, то вижу изгоев. Они такие же прозрачные, как и всякий несуществующий в этой версии реальности человек. Вот только они совсем на людей не похожи.

Они прямоходящие, но позвоночники их болезненным образом искривлены, глаза у них не то чтобы фасеточные, а темные и блестящие, словно бы хитином покрытые и незрячие. У них слишком длинные руки с пальцами, похожими на хоботки насекомых и почти красивые на фоне всего остального тонкие крылья, наверняка перламутровые и переливающиеся в лунном свете.

Вытянутые лица и большие зубастые пасти придают им сходство с хищными рыбами. С тонких и похожих на уголки зубов стекают блестящие капли. Их немного, они появляются и исчезают, один из них проходит совсем рядом со мной, но не видит меня, не может почувствовать.

Какая тонкая между нами грань. Наверное, если сейчас мы снова окажемся в нашем мире, меня ожидает судьба лужицы синих слюней. Синий, успокаиваю себя я, по крайней мере красивый цвет.

Изгой шатаясь ходят по дороге между домами, иногда с отчаянием припадают к закрытым окнам. Прерывистость их появлений не позволяет мне точно понять характер их движений. Но я вижу, что они оставляют за собой светлую пыль. И хотя тела у них темные, они распадаются на нечто белесое и почти невесомое.

Я вспоминаю облачко, поднявшееся с земли, когда я сел на дорогу. И понимаю, что это вовсе не очередное искажение отрицательной реальности. Это то, что остается от них. Один из изгоев, которых я вижу, похож на разрушенную статую. Его тело теряет цельность, обтачивается, рассыпается.

Они отчаянно голодны, и этот голод намного страшнее, чем тот, что одолевает Нису. Их тела разрушаются на глазах. Мне становится ужасно жалко этих существ.

Но я должен собраться. Да, Марциан, ты должен быть сильным и очень умным. А еще, желательно, быстрым. Когда я снова смотрю в книжку, слова там становятся ясными, а белые точки перестают путешествовать в черноте. Я запрокидываю голову и в светлом небе ловлю пульсирующие звезды. Я листаю книгу, нахожу их и там. Мне кажется, они начинают мигать быстрее.

Словно мой бог там, наверху, рад моему упорству. Я никогда в жизни не сдавал экзамен, но, наверное, именно это и ощущают люди, когда некто очень важный собирается оценить, как работает их голова.

Моя голова никогда не работала хорошо, но сейчас я ощущаю себя удивительно быстрым, не дочитывая слово до конца, перехожу к следующему и запоминаю их, словно учу песню или стишок.

Мне так легко, слова встают в ряд, и я еще не складываю их в предложения, но знаю, что и это смогу. Мой бог здесь, со мной, и он хочет мне помочь.

Наш бог заботится о нас. Многие люди считают, что у нашего народа нет надежного дара. Это неправда. Наш бог с нами и в нас, мы вечно едины, и он никогда не оставит меня. Меня накрывает ощущение абсолютного счастья оттого, что я все могу. Монстры расхаживают надо мной, мои друзья стоят на крыльце, тесно прижавшись друг к другу, и надо всеми нами забавляется бог-ребенок.

А для меня ничего невозможного нет. Если бы я был гением, так бы я ощущал себя, открывая нечто новое о мире или создавая произведение искусства.

Затем вдруг все становится очень обидно, словно я упал и больно ушибся. Слова кажутся бессмысленными, они не складываются друг с другом.

И с чего я только взял, что я — пророк и умница?

С чего я взял, что мой бог не подшутит надо мной? У меня есть вот какие слова: конец, кража, бездействие, слюна, кокон. Еще есть такие: нужда, изгой, подруга, помощь.

Все это части людей, ныне живущих и уже умерших, и тех, что еще будут жить. У всего есть смысл, но не для меня. Я не улавливаю его, хотя стараюсь. А может нечего и улавливать, может есть только шутка, потому что с мирозданием все давно кончено и делать уже нечего.

Только я в это не верю. Нужно быть смелым, чтобы понять, что все безнадежно, и ты проиграл.

Но еще смелее нужно быть, чтобы никогда не проигрывать. Я запоминаю слова и вижу, как загорается еще одна звезда. Открыв книжку, я натыкаюсь на нее почти сразу.

Правильность.

Я встаю с земли, поднимается облачко невесомой пыли, оно состоит из почти несуществующих частиц тел, принадлежащих существам, которые прежде были людьми. И тут без стука, жарким взрывом, в голову мою врывается мысль.

Лужица синих слюней.

— Чтобы помочь подруге, укради слюну изгоев, — говорю я. — Бездействовать нельзя, потому что это конец.

Звучит не то, чтобы намного осмысленнее разбросанных слов. Похоже на шутку, похоже на бред.

Но на светлом небе остается лишь одна звезда — правильность.

— Я все понял! — кричу я. — Нам нужна слюна изгоев! Она в коконе или вроде того!

Понятия не имею зачем, но она очень нам нужна.

Я доверяю маме, папе, сестре, своим друзьям и своему богу. Что может быть проще?

Юстиниан стучит пальцем по виску, Ниса смеется.

— Ты еще раз чокнулся.

— Нет, — говорю я. — Только поверьте мне, я обещаю, что она очень нам понадобится.

Бездействие, это конец. И мы должны сделать это очень быстро. Пока мы в минусовой реальности, мы сможем украсть кокон со слюной. Понимаете? Наверняка, он в лесу. Но нужно действовать, а не объяснять.

Я оборачиваюсь к ним, раскидываю руки и запрокидываю голову.

— Я абсолютно уверен в том, что это нужно. Мы достанем ее сейчас!

Они сомневаются, я знаю. Мне тоже было бы полезно сомневаться, но я уверен так, как никогда прежде. Я чувствую, как все правильно.

Когда я смотрю в сторону леса, мне становится жутко, оттого как темен он, и от тех, кто скрывается там.

Но если бездействовать, ничего не останется. Рано или поздно все станет пустым и холодным. Это гораздо страшнее изгоев.

Вообще-то я смотрю на лес без энтузиазма. Он темный, наполненный существами, которые пугают меня и против которых у меня нет никакого оружия.

Но если не сделать этого сейчас, то мы никогда не узнаем, может ли спасти положение лужица синих слюней. Вернее, кокон, который нам нужен.

Я иду вперед, к темноте и наполненности между деревьями.

— Ты идиот! — кричит мне вслед Офелла, голос у нее звенит от волнения. Я, абсолютно точно, да, но, в конце концов, я хочу помочь Нисе.

Только я не совсем глупый, я же понимаю, что мои друзья пойдут со мной, и что я подвергаю их опасности. Это решение, которое дается мне очень болезненным образом. Но мы в отрицательном слое нашего мироздания, и мы не знаем, как все остановить. Непростые решения — часть любого выхода, так говорит папа.

Я не слышу за спиной их шагов, но они оказываются рядом. Искажения, причиняемые миру и разуму здесь — всего лишь часть огромного поля, которым является мир. Минус единица и единица плюс, все правильно и так, как надо в каждом из миров. Ощущение этой гармонии, словно все стоит на своем месте и прибрано там, где еще минуту назад был беспорядок, помогает мне справиться со страхом.

— Это сумасбродная идея, — говорит Офелла, но я молчу. Есть множество вещей, которые нам нужно сделать перед тем, как мир сломается.

— Но других идей, — говорит Ниса. — Справедливости ради, у нас нет. Никаких других идей.

А Юстиниан вкладывает мне в руку что-то тяжелое и ледяное. Я думаю, что это металл, а оказывается, что доска.

— Это зачем? — спрашиваю я. — Она уже ушла из леса, там ей не место.

— Тебе, — говорит Юстиниан. — Не место в обществе, мой маргинальный друг. Но ты мне дорог как память, поэтому я решил вручить тебе что-нибудь тяжелое. Офелла может стать невидимой, Ниса стремительна и зубаста, а у меня есть мой нож. Что есть у тебя?

— Нежелание бить палкой живых существ.

— Они не вполне живые, если тебя это утешит, — говорит Ниса.

— Мертвые, как ты?

— Нет. Умиряющие.

И в этот момент, словно в фильме ужасов, режиссер которого очень хорошо учил композицию в университете, а больше ничего не учил, мы вступаем в лес. Я должен испытать ощущение, словно все это уже было, все повторяется, вот мы вчетвером, и лес, и то, что можно назвать страхом и решительностью.

Но такого чувства не появляется, потому что лес совсем другой. Вроде и густой — такой же, и такой же темный. Да только небо над нами светлое и сбоит, словно бы рвется помехами. В лесу никого нет, живности нет, нет птиц. Никто не ходит и не шуршит. Мы на обратной стороне мира. В коробке зверьки и птички, но если ее перевернуть, они все выпадут.

Но вещи, неживые вещи, сохранены здесь. Они существуют и разрушаются по законам, которые мне неясны (но многие законы не ясны мне и в моей родной реальности), и я не

знаю, сможем ли мы вынести из одной реальности в другую то, что нам нужно. Но мы сможем попробовать.

Даже страшнее, что изгоев здесь нет, это придает неопределенную, дрожащую неясность мыслям. Я вижу, как появляются и исчезают их силуэты. Когда мы проходим мимо одного из изгоев, меня пробивает дрожь, и в то же время я ощущаю радость. Мое сердце бьется в груди демонстративно-громко, словно чтобы привлечь внимание хищника.

У них пустые бессмысленные лица, в головах угадываются еще очертания человеческих черепов, но отдаленные, словно и не родичи мы с изгоями. Они дышат, и благодаря минусовой реальности, дыхание их я слышу неестественно громко, словно оно звучит изнутри меня, а не исходит извне.

Это дыхание десятков измученных, болеющих существ. Они болеют, действительно болеют, я чувствую это. Наверное, такое дыхание было у папы, когда его одолевала лихорадка.

Словно внутри нечто мешает дышать, такое горячее и горькое. Я не знаю, откуда ко мне приходит это ощущение. Словно во мне еще живет память моих испуганных и дальних-дальних предков, которые знали, что болезнь равна смерти.

Дыхание у изгоев неровное, словно они забывают дышать, а затем наверстывают упущенное, часто-часто втягивают воздух. Мне так жаль их. Я не представляю, что мне придется ударить одного из них палкой. Мне совсем не хочется причинять боль живому существу, но дело не только в этом.

Они совершенно ни в чем не виноваты, у них никогда не было выбора. И когда я буду бить их палкой, а палка с гвоздями, я буду причинять боль существам, которые никогда не знали, как это, не питаться другими людьми. Может быть, существам, которые и не догадываются, что они тоже люди. Мне грустно от этого, и я понимаю, как ужасна участь, тех, кто больше не знает, что он человек.

В лесу нет тропинок, словно люди здесь не ходят. Есть следы, но они вовсе не человеческие. Словно искаженные, тонкие пальцы впиваются в землю, а на пальцах этих настоящие когти. Хитиновые люди, люди из улья. Их становится все больше, пока мы продвигаемся. Иногда бесцветно загорается нож Юстиниана, и он оставляет зарубки на деревьях. Они мудреные, но быстрые. Я понимаю, что это буквы. Я пытаюсь читать их, но выходит бессмыслица, и тогда я понимаю, что предложение обязательно сложится, когда мы пойдем назад. А на самом деле: если мы пойдем назад.

Изгой сидят на деревьях, стоят, прижимаясь к ним лицами, вынюхивают что-то на земле. Их крылья способны к полету, потому что я вижу нескольких в воздухе. Я чувствую себя, как ребенок, которого отделяет от тигра толстое стекло.

Все, в принципе, безопасно, но тигр страшный все равно. Изгоев становится все больше, и все сильнее они ассоциируются у меня с насекомыми. Офелла прижимается ко мне и Юстиниану, насекомых она боится, а Ниса идет чуть сбоку, хватается за деревья и кружится.

— Ты что совсем не боишься? — спрашивает ее Офелла. Ниса говорит:

— Я — конец света. Если уж я чего-то и не боюсь, так это умереть.

И столько в ней тоски, что я притягиваю ее за руку к нам. Я знаю, что мы идем в верном направлении. Чем больше вокруг появляется и исчезает изгоев, тем ближе мы к их гнезду. Кокон ведь хранятся в гнездах? Я смотрю на небо. Оно заливают верхушки деревьев, словно потекла краска. Глаза моего бога смотрят на меня со спокойствием, он больше не подсказывает мне и не хвалит меня, он наблюдает за тем, как я справляюсь.

Пока я совсем не справляюсь, но я в пути. На словах все звучит очень просто. Мы найдем кокон, мы заберем кокон и мы успеем добраться до деревни прежде, чем нас выбросит в реальность. В конце концов, в самолете мы практически все время полета просидели именно в минусовой части мира.

Но до этого нас два раза возвращали довольно быстро. Мне странно оттого, что нас больше не преследует Мать Земля. Ведь именно здесь, в Парфии, ей и полагается в первую очередь быть.

— Может, она ждет чего-то?

А потом под моей ногой что-то оглушительно хрустит. Не приятно, как хлопья с молоком или осенние листья в парке, а с отчаянной надрывностью. Еще не взглянув вниз, я понимаю, что это кость. Она, как и все сломанное здесь, начинает распадаться, рассыпаться. А в настоящем мире будет лежать еще долго-долго, переживет и меня, и всех. Я боюсь, что это человеческая кость, хотя толком не успеваю ее рассмотреть, она желтоватая, но рассыпаясь, кажется мне белой.

— Помни о смерти, — говорит Юстиниан.

И я вдруг думаю, как так может быть, чтобы я тоже мог так лежать, костью, отдельно от всего себя и навсегда. Это странно, я неотчуждаем и бессмертен для себя самого, и мне кажется, что смерть это то, чего не бывает, и о чем всем нам врут.

Мысль эта обнадеживающая, словно бы с ней я непобедим. И это очень здорово, потому что густой лес все более душно и тесно прижимается к нам. Я вижу тут и там выросшие на деревьях соты, словно бы кто-то распотрошил улей. Они похожи то ли на диковинные грибы, то ли на древесную болезнь, то ли на странный и уродливый коралл. Множество ячеек, соседствующих друг с другом, кажутся мне тошнотворными. Я читал о таком, человеку отчего-то неприятны такие штуки. Так что я не трус, просто следую сигналам своего мозга. Внутри каждой ячейки что-то вытянутое, крохотное и белое, как личинка, выглядывающая из отверстия, или как мерзкая гнойная головка, образующаяся в невымытых ранках, или коротенькая и разваренная вермишель. Мне больше всего нравится третий вариант, хотя и он противный.

— Мерзость какая, — говорит Офелла.

— Совершенно прекрасно, я считаю, нужно создать такой скульптурный комплекс.

— Я считаю, что у тебя комплекс, — говорит Ниса. — Иногда можно просто признать, что нечто отвратительное тебе не нравится.

— Я защищаю свой разум от ужасов мира с помощью эстетизации, не мешай мне.

Мы смеемся, и смех наш разносится далеко-далеко и громко, словно звук минует стволы деревьев, ни обо что не ударяется и не останавливается.

Я подхожу к сотам, рассматриваю их и замечаю, что белые, странные штуки в отверстиях шевелятся. Наверное, впервые в жизни меня совершенно не разбирает любопытство. Я не хочу знать, что это и для чего. Но это не кокон. Оно все влажное, но лишь слегка, ничего, кроме личинок в себе не хранит. Значит, мы ищем нечто совсем другое. Это даже хорошо, потому что я понятия не имею, как мог бы прикоснуться к этим сотам.

— Что за бог мог сотворить такое? — спрашивает Офелла. Никто не отвечает ей, потому что нас всех тут же одолевает страх, что если мы и в безопасности от изгоев, то не от их создателя.

А я все еще надеюсь, что отвратительные штуки лишь еще одно проявление минусовой реальности, изменчивой и чуждой. Но в глубине души я знаю, что это часть моего мира, и от

этого мне становится совсем противно.

Мы приближаемся к сердцу леса, думаю я. И меня пробирает дрожь оттого, как близко оно к деревне. Наверное, мирный и милый народ кукольников тоже думает про это, и крепко закрывая двери и ставни, каждый из них помнит, как близко находятся изгой.

— А в Парфии есть еще народы? — спрашивает Юстиниан. — Двум из трех народов, о которых я знаю, нужно кого-то есть.

— Конечно, — говорит Ниса. — У нас есть даже травоядные.

А потом мы останавливаемся, и Ниса ничего не добавляет, а Юстиниан больше ничего не спрашивает, потому что мы стоим ровно перед тем, что искали. На деревьях висят коконы. Цвет их в черно-белом мире неразличим, но внутри нечто переливается и сияет. Это одновременно отвратительно и красиво, мерзко и хрупко.

Кокон висит на деревьях, словно диковинные плоды. Я запрокидываю голову, звезды большие, близкие, низкие. А что если ты просто смеешься надо мной?

— Слушай, — говорит Юстиниан, словно прочитав мои мысли. — Если твой бог находит веселым послать нас к каннибалам за слюнями, я этому не удивлюсь. Удивлюсь я тому, что слюна каннибалов и вправду нам пригодится.

— Подержи мою книжку, — говорю я Нисе. — И доверь мне, пожалуйста.

Я беру палку поудобнее и решаю сбить один из коконов. Все остальные делают шаг назад, и я очень хорошо их понимаю.

В тот момент, когда я сбиваю кокон, он обретает цвет, и все вокруг обретает цвет. Кокон пронзительно-синий, похожий на янтарь, только небесного цвета. Он крепкий, не хрупкий, на вид словно бы влажный, сапфирово переливающийся. Красивый.

Цвет дает всему в мире красоту, и я понимаю, отчего богиня Нисы так хочет сюда, чтобы увидеть сапфирово-синие коконы и алые гранаты, и большое, розовое небо на рассвете.

А еще через секунду я понимаю, как все не вовремя, неправильно и непоправимо. Кокон качается от ночного ветра, все очертания темны и неясны. Под ногами у меня липко, странная субстанция, словно бы из жил и слизи, покрывает траву. Я поднимаю ногу, и от подошвы с характерным звуком тянется липкая жижа. Убегать будет скользко, думаю я прежде, чем вижу, как из темноты выступают изгой. У них темные глаза, лишённые зрачков, черные тела, которые только под лунным светом отливают синим, а в тени деревьев абсолютно неразличимы. Они идут медленно, движения у них такие, словно все кости их были переломаны, а срослись неправильно.

Я оглядываюсь, чтобы увидеть, окружают ли они нас. А потом остается только бежать, я даже о коконе забываю, потому что изгой кидаются за нами. Зато я замечаю, что Офелла не двигается. Он не бежит, как мы, а я о таком читал. Это еще называется оцепенение. А если Офелла боится насекомых хоть вполтину так же сильно, как неловких ситуаций, то это естественная реакция. Я хватаю ее за руку, и она оборачивается.

А потом раскрывает рот, и я вижу острые как иголки зубы. Наверное, она выгрызет из меня кусок, думаю я, прямо сейчас. И, наверное, это не моя подруга. Только вот я абсолютно уверен, что так и не смог бы ударить это существо, даже будучи точно уверенным в том, что это не Офелла, если бы не услышал ее голос.

— Я невидима и возьму кокон! Беги!

Голос этот, конечно же, вырывается не из зубастой пасти. И тогда я бью ее палкой, слышу хруст, но не кости, а хитина. Офелла смаргивает, и глаза ее становятся абсолютно

черными. Тогда я бью еще раз, по ее руке, пальцы разжимаются. Кожа сошла с них, теперь они такие же черные, как глаза.

Мне так противно оттого, что я ударил то, что так похоже на мою подругу. Ее милое платьице с летящей юбкой, чуть вздернутый носик и аккуратно выщипанные брови, все повторено с точностью, словно бы художником, который очень любит Офеллу.

Этот художник я. Ведь это ко мне обращена иллюзия, она идет изнутри меня. И как чудовищно преодолеть свою любовь даже ради спасения собственной жизни. Даже точно зная, что передо мной обманка.

Но сложно, оказывается, не всем. Сиреневое сияние ножа Юстиниана мелькает у меня перед глазами и входит в хитиновое горло Офеллы с треском и шипением.

Ниса дергает меня за воротник, и мы бежим. Я волнуюсь за Офеллу, мне страшно, что изгой могут поймать ее, однако, если быть честным с собой, у нас шансов гораздо меньше. На самом деле наша единственная надежда — Юстиниан. Изгой наверняка никогда не сталкивались с преторианцами, оружие которых совершенно.

Самое главное теперь добежать до конца леса.

Интересно, думаю я, а что случится, когда мы покинем лес, почему я вообще думаю, что это нас спасет? Рой изгоев вряд ли остановится, мы ведь видели их в деревне. На самом деле нам просто придется бежать дальше. Пока мы не выбьемся из сил.

Изгой медленные, так что бежать не сложно и сердце не рвется из груди. От моей тети Хильде мы убегали куда быстрее. Я даже успеваю подумать о том, что не везет мне с тетями.

Вот только изгоев много. На бегу мне кажется, будто они за каждым деревом, что их источник — темнота, бесконечно порождающая этих существ. Я волнуюсь за Офеллу, но не зову ее, потому что так ее могут заметить. Я только надеюсь, что она бежит с нами и мечтаю услышать ее дыхание.

Но я слышу только их прерывистые, больные хрипы и помимо неприятной перспективы быть съеденным, я боюсь заразы, которую распространяет их горячее дыхание. Хотя это не так уж и разумно. В конце концов, какая разница, заразишься ли ты, если тебя тут же съедят.

Они летают, но не высоко и недолго, слабые крылышки с трудом выдерживают вес их тел. Эти крылья действительно переливаются легкой, размытой радугой в потоке лунного света, и нечто столь хрупкое даже красиво, поэтому я обещаю себе запомнить это удивительное зрелище, но подумать над ним потом.

— Лучше бы мы занялись групповым сексом! — кричит мне Юстиниан, но в голосе у него восторг, потому что для любого преторианца опасность лучше, чем групповой секс. А еще некоторые говорят, что преторианцы устраивают оргии после охоты, но это не подтвержденная информация, хотя Юстиниан и соглашался с ней.

Трава и земля под нашими ногами покрыты этой странной жилистой слизью. Смотреть на нее почти невозможно. Мне нравится думать, потому что как только я пытаюсь просто бежать, мне кажется, что ноги меня не слушаются.

Не нужно контролировать процесс, нужно предоставить телу самому все решать, и оно окажется умнее меня. Так что я как будто разделяюсь, один я бегу, другой я размышляю. Один я взволнован и сердце мое выпрыгивает из груди, другой я созерцаю мир, словно бы я к нему непричастен.

Я не сосредотачиваюсь в полной мере ни на чем, даже на спасении собственной жизни, поэтому кое-что у меня получается. Иногда меня хватают и даже пытаются укусить, но у меня есть палка, и она неплохо справляется со своей задачей (а кроме того с тем, чтобы

занозить мне руки крохотными своими частицами — на долгую память). Я ловлю себя на мысли, что изгой, в общем-то, не страшные. Это несчастные, больные создания. Они разрушаются прямо у меня на глазах, и то, что они вообще могут охотиться на нас, с их стороны подвиг.

Хорошая мысль, которую я, возможно, уже не успею донести, приходит ко мне совершенно внезапно. Их бог разрушает их тела. Пересотворение убивает их. Все народы получили нечто, но изгоев убивает то, что дал им их бог.

Но они питаются плотью и кровью, и даже костью тех, кто смог выдержать влияние бога. Человеческая плоть для них не пища, нет. Иногда мне приходится перескакивать через кости, и я понимаю, что они звериные. Та страшная кость, которая показалась мне человеческой, наверняка, принадлежала крупному животному. Они едят не только человечину. Конечно, ведь иначе они давно погибли бы. Слишком неразумные, чтобы пробраться в дома, слишком медленные, чтобы мигрировать.

Но это не хорошие новости. Изгой не оставляют костей и крови, они слижут кровь вместе с землей, а кость разжуют с камнями не потому, что они прожорливые чудовища. Люди для них не пища, а противоядие. В нас что-то есть, чего им не хватает. Их тела разрушаются вовсе не от голода. Их тела разрушаются, потому что пересотворены таким образом, чтобы медленно умирать. Но человек, может один на кучу изгоев в месяц или даже в год, дает им шанс остановить распад. Не вылечиться, просто не умирать.

И я понимаю, отчего бог изгоев лишил их разума. Почти любой человек выберет не существовать. В лесу полно рассыпающихся, едва-едва двигающихся изгоев, которые все-таки ползут в нашу сторону. Им не становится легче, нет, распад просто останавливается на какое-то время. А потом возвращается, потому что все в мире возвращается. Я бы выбрал несуществование и точно не давал бы жизнь детям, если бы понимал, на что обречен.

Они не понимают, их инстинкты требуют человеческой плоти, и они радуются оттого, что им становится легче. Вот какая грустная история, у которой нет ни морали, ни смысла, просто каждый бог сотворил из нас то, что хотел.

Я не знаю, отчего эта мысль так настойчиво вертится у меня в голове, но я откладываю ее в надежде, что она пригодится мне. Не то чтобы в голову мне пришло нечто новаторское, чего не знали, скажем, Миттенбал или Ниса, но я все равно старательно запоминаю, что люди — антидот для изгоев. Может, я так готовлюсь к тому, чтобы не зря погибнуть.

Между этой мыслью и следующей пролегал пауза, когда я смотрю на свои ноги, на то, как я бегу по серо-розовому и липкому. И в какой-то момент я поскользнулся, потому что слишком пристально наблюдаю за собственными движениями. Я падаю прямо в мерзость, которая разлита здесь по земле и прежде, чем надо мной нависают изгой, я удивляюсь тому, какая хорошая, темная ночь с серебряным блюдцем луны.

А потом я вижу зубастые морды. Они подергиваются, словно отражения в воде, которые тревожит ветер, и вот надо мной стоят Ниса, Юстиниан и Офелла, мама и папа, и даже Атилия. И я думаю, что это по-своему очень даже милосердный способ умереть. По крайней мере, я увижу тех людей, которых сильно люблю.

Только вот сопротивляться им у меня не получится. Это, наверное, потому что я совсем глупый. Я выставляю перед собой палку, и зубы Атили и Юстиниана впиваются в нее. Они до смешного напоминают злых собак. Хотя на самом деле глупо думать "до смешного", потому что все сейчас совершенно не смешно.

С хрустом ломается древесина, и я понимаю, что в следующий момент я стану шансом

этих существ прожить еще какое-то время. Наверное, такая у меня судьба. Я корм для Нисы, и для них тоже корм. У мамы злое, зубастое лицо, какого у нее совершенно точно быть не может. Я понимаю, как скучаю по ней и понимаю, что в голове мысли вертятся очень быстро, а рубашка пропиталась липкой мерзостью, которая пахнет чем-то гнилым и сладковатым.

У мамы на шее болтается кулон на золотой цепочке — маленькие, фиолетовые цветы под тонким стеклом. Я помню этот кулон, он впечатлял меня в детстве, когда я был совсем маленьким Марцианом и сидел у нее на коленях, мне хотелось схватить этот кулон, и с него начинался я, с этого пристального внимания к цветам внутри и ласковых маминых рук.

А однажды я сдернул кулон с ее шеи, и он разбился, и все пропало. Мама поцеловала меня в лоб и сказала, что это не страшно, а папа сказал, что будет нам с мамой кулон еще красивее, но они оба были неправы — я ужасно расстроился, что никогда больше не увижу эту красивую вещь. Будет другая вещь, но эта покинула меня навсегда. Став старше я понял, что так переживают и смерть, только намного горше.

И теперь это детское воспоминание хлынуло мне внутрь, в секунду затопив все, и я чувствую, что почти рад снова увидеть этот кулон даже такой ценой. Вот мы и встретились с тобою, думаю я. Никто из тех, кого я знал лично, не умирал, и это очень здорово, что на пороге смерти я вижу давно потерянный мамин кулон, а не, скажем, бабушку.

Никто не умирал, даже тетя Санктина на самом деле не умерла. Я начинаю смеяться и понимаю, что мысли мои и секунды не длились. И что вот сейчас все они закончатся.

А потом мир расплывается в серебристо-синее пятно, становится быстрым-быстрым. Ниса вытягивает меня прямо из-под зубов изгоев.

— Ты чего разлегся?

— Извини!

Она и Юстиниан вздергивают меня на ноги. Я не оборачиваюсь, потому что не хочу видеть зубастых людей, которых так люблю.

— Надеюсь, — говорит Юстиниан. — Офелла уже выбралась по моим наметкам!

Я никогда так не радовался поцарапанным деревьям, как сейчас. Отметки начинаются, а это значит, что мы преодолели половину пути. Они белеют в темноте, и теперь буквы складываются в слова, и я понимаю, что написал Юстиниан.

Существовать — значит умирать. Безусловно, лучшее, что можно сейчас прочитать. Наверное, изгой бы обиделся, если бы могли понимать латынь и вообще какой бы то ни было язык.

Юстиниан иногда останавливается, и лезвие его ножа с шипением путешествует внутрь какого-нибудь изгоя. Он бежит впереди меня, поэтому когда он оборачивается со сверкающим ножом в руке, я вижу выражение его лица.

И понимаю, что на самом деле как бы далеко Юстиниан ни отошел от стереотипного образа преторианца, он принадлежит своему народу, и это намного больше, чем способность достать из своей души сияющее и способное резать даже металл лезвие.

У него дикий, кровожадный вид, ему нравится быть и охотником и жертвой, и об изгоях он понимает куда больше меня, Нисы или Офеллы. Глаза его, кажущиеся от сияния ножа фиолетовыми, теряют разумность и человечность в момент, когда он погружает нож в хитиновое тело. Я не знаю, кого он видит в этот момент, но ему совершенно не жутко. И мне не жутко от него, потому что выглядит Юстиниан как никогда естественно. Словно это все тоже искусство. Хотя на самом деле это, конечно, полный кошмар.

Наконец, лес становится редкий, и я понимаю, что мы почти выбрались. Все заканчивается и становится серебряным от света луны. Мы огибаем последние далекие друг от друга деревья, и я думаю, что по закону жанра, именно сейчас мне стоит споткнуться обо что-нибудь. Это делает меня внимательным, и я легко перескакиваю через похожие на щупальца, нырнувшие в землю, толстые корни.

Мы сбегает вниз, к дороге, но совершенно неправильно было бы приводить изгоев в деревню. По крайней мере, так думаю я. Изгой, наверное, считают совершенно иначе. Если только вообще способны мыслить наперед. Изгой трепещут крыльями, щелкают, клацают зубами за нашими спинами, и это гонит нас вперед.

Будь быстрой, Офелла, думаю я. Мы поднимаем пыль на дороге, и изгой начинают нагонять нас. Они медленные, но выносливые, особенно для больных существ, мы быстрее, но уже выбиваемся из сил. Останавливаться нельзя, поэтому мы бежим. На самом деле, только поэтому, ведь я уже совершенно не чувствую ног, а горло раздирает такой жар, что мне кажется, воздух в легких раскалился.

Нужно бежать, и мы огибаем второй ряд трогательных, кукольных домов, и я уже знаю, что бог ребенок здесь, он играет, а может, смотрит на нас с порога, ведь ему ничего не страшно. Закрытые двери и ставни такими и остаются, но я не чувствую злости на обитателей деревни. Наоборот, это мы привели к ним изгоев.

Мы взлетаем на другую сторону, где вместо деревьев высокие барханы, встающие тут и там до самого горизонта. Здесь бежать почти невозможно, ноги вязнут в песке. Я слышу как, будто издалека, как кричит Юстиниан:

— Они остановились!

Прежде, чем проверить, правда ли это, я бросаюсь в песок. Странное дело, песок, который должен был раскалиться за день, сейчас кажется мне холодным, будто снег.

Я с трудом переворачиваюсь и вижу, как изгой бродят по дороге между двумя линиями домов. Они, как пьяные, израненные люди шатаются по пыльной дороге, похожие на солдат разгромленной армии.

Изгой смотрят на нас, но в пустыню не входят. Голодно клацают зубами, трепещут крыльями, но ждут. Я думаю, уйдут ли они к утру. Все мое тело расслабляется, а холодный песок кажется мне лучшей на свете постелью. Мне так жарко внутри и снаружи, что я готов зарыться в него. Я замечаю, что Юстиниан лежит рядом и смеется.

— Знаете, чем мне нравится дружба с вами? Мы все время от кого-то бегаем!

— Моя тетя была куда менее опасна, — говорю я. Ниса стоит, сложив руки на груди, как какой-нибудь маленький, бледный полководец. Она совсем не устала, она высматривает Офеллу. Я пытаюсь поднять голову, чтобы тоже высматривать Офеллу, но понимаю, что незачем. Она ведь невидимая.

Мы ждем, и с каждой секундой ожидание все болезненнее. Изгой тоже ждут, и им, безусловно, хуже, чем нам. Ниса говорит:

— Боятся пустыни. В прошлый раз, примерно пока твой папа вел гражданскую войну, они пытались вылезти к нам. Их здесь отлично отделили. Еще помнят.

— Много лет прошло, — говорит Юстиниан. — Не уверен, что они так долго живут.

Я киваю, и это простое движение дается мне с огромным трудом. Мы готовы обсуждать все, что угодно, лишь бы не думать о том, что Офелла не придет. Ниса говорит:

— Может, они обучили своих детей бояться пустыни.

— Значит, у них есть культурная память. По крайней мере, какие-то меморативные

практики.

Я словно бы исчезаю, и мне это нравится. Ниса и Юстиниан еще что-то говорят, а я в холодном песке смотрю на пустыню, которая кажется мне безграничной. Там, вдали, барханы как волны. Я не знаю, сколько проходит времени, мне кажется, что его и вовсе не существует, пока я не замечаю, как движется песок, его фонтанчики взмывают вверх и опадают, а по серой глади проходят следы.

— Офелла! — кричу и вижу ее, словно я узнал ее, как в сказке, и она появилась от этого. Офелла дрожит, глаза у нее влажные и красные. Она говорит:

— Я не спешила. Простите.

Она, как ребенка или котенка, прижимает к себе синий кокон, словно светящийся изнутри. Мы бросаемся к ней, и я понимаю, что усталость, как рукой сняло. Офелла тесно прижимает к себе кокон, и я вижу, как плещется внутри блестящее и синее. Он похож на экзотический фрукт или красивую поделку. А потом я замечаю в коконе дыру, от нее исходит сияние.

— Я не спешила, — продолжает Офелла. — Не потому, что не боялась или хотела, чтобы вы волновались. Я подвернула ногу. И я его немного разбила. Часть пролилась.

— За вторым мы точно не пойдем, — говорит Юстиниан.

— Если это нам не понадобится, — говорит Офелла. — Марциан, тебе конец.

Я говорю:

— Это нам понадобится. Они сохраняют слюну не просто так. В ней что-то содержится. Они живут на этом. Пока не найдут следующую жертву.

— Ты как зловещий странный парень из фильма ужасов, — говорит Ниса. Офелла вручает мне кокон.

— Надо перелить остатки, — говорит она и снимает рюкзачок. Ногу она держит странно и морщится от боли, мне ее так жалко. Хорошо, что ей не надо бежать.

— Ниса, когда я брала ключи от машины твоей мамы, я...

Она достает из рюкзака флакон духов. Вот почему Офелла без особенного желания смотрела на тот флакон, что был в машине. Она уже взяла себе другой. И я хочу засмеяться, потому что весь он обтянут золотой сеткой, похожей на соты. Это еще называется ироничным.

Ниса говорит:

— Да пошла она. Жаль только, что тебе не достанутся.

Офелла краснеет. Ей явно неприятно то, что она сделала. Она откручивает крышку духов и льет их на холодный песок, от которого тут же поднимается медовый, густой запах, бьющий в нос, а затем рассеивающийся по пустыне.

— Надеюсь, — говорит Юстиниан. — Свойства слюней не испортятся, если мы не помоем флакон.

— У тебя все равно нет других вариантов, — говорит Офелла.

— Мне просто нравится твоя враждебность.

Офелла подставляет флакон, и я наклоняю кокон. На ощупь он теплый, будто живой, и твердый. Наверное, упав, он ударился о какой-то камень, потому что разбить его явно нелегко. Я наклоняю кокон, и из него льется во флакон светящаяся синяя жидкость, такая красивая, словно растворили множество сапфиров. Жидкость излучает свой собственный свет, и он кажется мне ярче, чем тот, что исходит от далекой луны.

— Какая красота, — шепчет Офелла. И вправду очень красиво, словно жидкие звезды

льются и успокаиваются в стеклянном сосуде. И вовсе не скажешь, что это слюни. На вид драгоценные, а не противные.

Юстиниан говорит:

— Ребята, с радостью разделил бы ваше благоговение, но мне кажется, изгоям вовсе не нравится, что мы их обокрали.

Офелла вытряхивает из кокона последние капли, получается только три четверти флакона, и я надеюсь, что нам этого хватит. А для чего — и сам не знаю. Мы смотрим на дорогу. Изгой нервничает, наверное, чувствуют, что мы не только не продлили их время на земле, но и забрали его.

Офелла прячет в рюкзак флакон с их жизнью в самом прямом смысле. Поэтому они больше не боятся. Бросаются вперед, и мы понимаем, что долго бежать не получится. Тем более, многие из них взлетают, и вот здесь, в отличии от леса, где ветви деревьев снижают их маневренность, у изгоев все преимущества перед нами. Я бы тоже с радостью полетал вместо того, чтобы бежать по песку.

Изгой бросается к нам, а когда мы разворачиваемся, то видим мощную, черную машину, приспособленную для гонок по пустыне. Ниса ругается на парфянском, и тогда я понимаю, кому машина принадлежит. Грациниан и Санктина выскакивают из нее, оба они выглядят очень взволнованными, что естественно, когда твою дочь собираются съесть насекомоподобные каннибалы.

Вот только в те секунды, когда я вижу их, они вовсе не кажутся обеспокоенными лишь тем, что Ниса может не выполнить то, что предназначено ей их богиней. Они кажутся просто родителями, которые без ума от ужаса. А может я только думаю так, потому что не хочу верить в плохое.

А потом все Грациниан и Санктина как-то совершенно одновременно, как в танце, синхронно вытягивают руки, сжимают кулаки, и перед нами встает стена песка. Обернувшись, я вижу, что она ограждает нас и от изгоев, и даже загораживает небо. Мы словно в песочных часах, и времени у нас еще полно. Наверное, это и называется глаз бури, потому что нас не достигает ни единой песчинки.

Песок издает этот странный звук, не то чтобы рев ветра, ведь ветра нет, а скрип трущихся и ударяющихся друг о друга песчинок, похожий, наверное, на звуки, которые можно услышать внутри муравейника. Это тоже по-своему смешно.

— А твои родители не так уж плохи! — кричит Юстиниан. Я думаю, если протянуть руку к песку, наверное, он в кровь изранит мне ладонь и пальцы, так быстро он двигается. Я вижу силуэты изгоев, которые швыряют потоки песка, словно Грациниан и Санктина могут управлять ими так же легко, как собственными руками.

Становится очень ясно, отчего пустынный Саддарвазех никто и никогда не покинет. И не возьмет.

И что умеют те, кто убил своего донатора. Вот она, цена моей жизни. Теперь изгой и вправду напоминают крохотных насекомых, и мы сами становимся крохотными в этой пустыне.

— Видишь! — говорю я. — Твои родители вовсе не такие плохие! Они хотят нас спасти!

— Плохой момент, чтобы это сказать, — говорит Юстиниан. — Композиционно опасный.

А потом я чувствую, что песок уходит у меня из-под ног. Я думаю, наверное, им нужно больше песка, и они заимствуют его у нас из-под ног. А потом мне становится не на чем

стоять. Я падаю, и Юстиниан, и Офелла падают, и я абсолютно уверен, что мы разобьемся. А Ниса остается стоять высоко над нами и кричит, но я не слышу что, потому что все звуки глухие, а поверхность очень далека.

А дальше все становится странным и очень-очень долгим. У меня такое ощущение, будто я в полусне, оттого я не чувствую времени. Я думаю, может я здесь уже много-много лет, и все кого я знал и любил, давно умерли. А может и минуты не прошло с тех пор, как я сюда попал. А куда, я и сам не понимаю.

Я только знаю, что я где-то глубоко-глубоко под землей. Только вот меня окружает не песок, а влажная, темная земля. По крайней мере, я думаю, что она темная, потому что на ощупь она как черная земля на плодородном поле.

Она забивается мне в нос и в уши, поэтому я ничего не слышу. Думаю, примерно так работает камера сенсорной депривации, о которой рассказывала мне учительница.

Только температура тут явно ниже, но мне не холодно. Я словно вообще не в полной мере ощущаю и существую. Может, именно так чувствуют себя люди, впавшие в летаргический сон и погребенные заживо.

Я все время жду, когда очнусь от ужаса погружения в холодное, вязкое и безвыходное пространство.

Но этого не происходит, ощущения почти приятные, и иногда мне кажется, что я чувствую, как растения, прорастая, касаются кончиков моих пальцев. Я под землей, и это вовсе не страшно, потому что мое сознание не в полной мере на месте, существует только холодная, наполненная жизнью земля, и эта жизнь, концентрированная, чистая, питает меня вместо воздуха, воды и пищи.

Я не ощущаю, как проходит время, как встает и садится солнце. Под землей растут растения, и иногда можно услышать, как течет вода. Глаза у меня закрыты, но я даже представлять ничего не могу, кроме темной земли, испещренной зелеными, поднимающимися вверх стеблями. Влажный цветочный запах, который я воображаю, мешается с земляным и тяжелым, но я никогда-никогда не могу даже мысленно добраться до поверхности.

И вспомнить, что там. Я осознаю, что мое место не здесь, что я не подземное животное, не ленивый крот и не червяк, а человек, и мне должно быть над, а не под. Но что там, наверху, я и представить себе не могу, сознание всякие раз заволакивает черноземом.

Иногда меня навещают червячки, они не пугают меня и не едят, словно понимают, что я живой (это место мертвых и цветов, цветы получают из мертвых). Червяки скользкие и будто резиновые, они касаются моего лица или рук, и это приятно, потому что я чувствую, что кто-то рядом, а растения — совсем не то.

Ни пошевелиться, даже кончиков пальцев не согнуть, все строго определено, и мое место здесь настолько ясно, что под тяжестью земли не остается никаких сомнений и возможностей перевернуться, к примеру. Но ничего не затекает, словно бы мне мягко и хорошо.

Я вообще не могу испугаться, как бы ни старался, как ясно ни понимал бы, что я в неправильном месте, где не живут люди. Я сплю, а во сне все это нормально. Я знаю, что не могу открыть глаза, но это и не нужно. Сон бесценен, потому что приятен и спокоен. Нет ничего в мире, что могло бы меня взволновать, я помню, что люблю и много кого, но не помню их лиц и собственного лица не помню.

Во всех моих воспоминаниях влажная, черная земля, и стебли, которые ползут вверх, пробивая ее, и розовые черви, похожие на длинные конфетки, которые лежат в большой миске на празднике.

Конфеты и праздник — слова очень легкие, но приблизительные, словно бы существующие только в фильмах и книгах. А про фильмы и книги я помню, что они ненастоящие. И я тоже не настоящий вполне, а из всех цветов помню только черный, зеленый и розовый.

Вот бы, думаю я, сюда забрел крот. Кроты же точно живут под землей. Мы познакомились бы с кротом, он бы полюбил меня своим маленьким сердцем, а я полюбил бы его, и мы были бы немymi друзьями, потому что кроты не говорят, а я не могу открыть рот. Мы будем такие друзья, и мы будем вместе думать о том, как восходят цветы, и что они видят там, наверху.

Единственным действительно неприятным ощущением бывает опустошение. Когда из меня уходит кровь, я это чувствую, хотя у меня нет никаких ран. Она уходит вверх, путешествует внутри земли с гибкостью недоступной мне, капля за каплей, в лабиринте цветов. Совершенно неприятное ощущение, как расставание, только телесное. Меня покидает нечто, что нужно мне, и однажды все оно уйдет.

Я не знаю, что будет тогда, но вспоминаю еще один цвет — красный. У него много оттенков, но от меня уходят алый и рубиновый. Прощай, алый, думаю я, прощай, рубиновый.

Мне становится интересно, закончатся ли рубиновый и алый на самом деле, и что тогда будет. А потом все пропадает, когда капли уходят вверх, как стебли растений. Только они остаются со мной, а капли уходят туда, где я должен быть.

Но и это неважно, пока мне не страшно. Иногда я думаю, что можно хотя бы представить, что я в другом месте. К примеру, на дне океана или в космосе, но не могу вспомнить ни того, ни другого.

Кажется, где-то есть вода, но о воде я знаю только звук, с которым она течет.

Все дни становятся одинаковыми, так что я не могу сказать, когда все меняется. Просто однажды меня посещает мысль, такая огромная, что светится у меня в голове, вытесняет черноту полусна и запах земли.

Я никогда еще не был так далеко от звезд.

Пульсирует каждое слово, каждое слово светится. Звезды это небесные глаза, думаю я и вспоминаю о них, и о тех, что смотрят на меня, и о том, кому они принадлежат. Я не просто существую в земле, у меня есть бог. Мой бог умалишенных и тех, кто знает о том, какой мир хрупкий. Мой бог безумных, смотрящий на нас с небес, бог шутов, дураков и тех, кого навсегда запирают. Мой бог искаженного, спутанного сознания. Мой бог, который и есть я.

И как бы далеко от звезд я ни оказался, у меня внутри, в голове моей, в самом существе моем, всегда есть мои собственные звезды. Он здесь, со мной.

Когда я вспоминаю о боге, словно бы часть меня оживает, оттаивает, отплевывается от всепоглощающей земли. Все поглощающей земли. Конечно, ну конечно. Я помню и о ней.

Земля, она царица или мать? Мать Земля.

Мама. Я вспоминаю ее, бледную, нервную, нежную. Она первой приходит ко мне, ее ласковый голос и дрожащие руки, хрустальная хрупкость ее настроения и сталь ее любви. Вся она передо мной, и я вспоминаю запах ее, и прикосновения. Вслед за ней появляется папа, у папы взгляд всегда поверх или предельно вовнутрь, либо рассеянный, либо такой, словно папа видит насквозь и намного больше, чем все другие люди на земле. Папа самый

теплый, самый добрый, и самый холодный, и самый безжалостный. Учительница говорит: амбивалентный. Это еще к физике применимо, не только к моему папе. Вспоминается мне и Атилия с ее губами красными, как кровь, которая уходит от меня вверх, с ее острыми стрелками, которые она рисует так аккуратно, с ее ссадинами на коленях и резким голосом, и виной за то, кто она есть. Мне вспоминается Юстиниан, рыжий и бледный, со своими картинками из полос и картинами из себя самого, и длинными шрамами от волчьих зубов.

Я вспоминаю Офеллу с зажатой между пальцев с блестящими розовыми ногтями сигаретой, со злыми, милыми глазами и пушистой нежностью светлых волос, и очаровательным рюкзачком, в котором то, что нам нужно. Что нам нужно?

Мне вспоминается и Ниса, моя бледная, маленькая Ниса. У Нисы зубастый рот, и желтые глаза, и гнусавый голос, и очень плохая мама. Ее мама — моя тетя. Я под землей из-за нее. Мы под землей. Наверняка, если я здесь, и друзья мои здесь. Я чувствую себя так, словно проявляю фотографию, на ней появляется все больше деталей, и все эти детали — части меня, моей жизни, такой огромной, какую я здесь, под землей, и представить себе не мог.

Вот тогда становится страшно, и дышать тяжело, и тесно, и все сразу. Но эти чувства я принимаю с восторгом, потому что они лучше анабиоза, в котором я пребывал неизвестно сколько. Пробуждающиеся, а оттого яркие, как мир весной, они всего меня целиком захватывают, и я зову своего бога. Я думаю: прошу тебя, прошу тебя, у меня одно желание, пусть мама меня найдет.

Я думаю о маме, и это ее я зову в минуту страха и тоски, это ее голос хочу услышать, ее хочу увидеть, ей доверяю больше всех людей на свете. И хотя я многих люблю, в отчаянии мне даже не приходит в голову, что я могу обратиться к кому-нибудь еще.

Мама, думаю я, мамочка, пожалуйста, где бы ты ни была, ты меня ищешь, я знаю, что ищешь.

Я чувствую себя таким маленьким. Словно бы только научился думать и говорить, и весь мой мир — мама, и только у нее можно искать спасения. Я знаю, мог бог сам выбирает желания, которые исполнит, знаю, что не руководствуется ничем, знаю, что он может просто позабыть обо мне.

Но внутри у меня так пылает желание услышать мамин голос, что я готов ждать. Я готов ждать, несмотря на вкус и запах земли, несмотря на исчезнувшее время и кровь, уходящую из меня. Я знаю, что она придет, во что бы то ни стало найдет меня.

Мама, думаю я, мама, пожалуйста, я знаю, что ты можешь услышать меня.

Я не прошу у бога и даже не думаю о том, как правильно желать. Я думаю только о том, что она может быть здесь, вытащить меня отсюда, одна во всей огромной Вселенной, разделенной на минус и плюс.

И я слышу ее. Голос глухой, проходящий сквозь землю, словно бы за многие километры отсюда. Такое физически невозможно (хотя о физике я знаю совсем мало, так что может быть и возможно), но я слышу ее, далекую-далекую, и даже слезы в ее голосе слышу.

— Марциан, мальчик мой! Где ты? О, мой бог, мы с твоим отцом искали повсюду. Бог мой, я думала ты мертв, малыш! Где ты сейчас? Ты ранен?

Я в Парфии, думаю я, а ты где, мама?

Еще прежде, чем вопрос звучит в моей голове, я понимаю, что он глупый, но мама отвечает, наверное так же машинально, как я его задаю.

— Я в Делминионе. Прошло уже четыре месяца с тех пор, как тебя нет. Это глупо, но

когда мы потеряли надежду, я вспомнила о том, что давным-давно у меня было видение. Что я найду тебя под землей. Я была ровно в том месте, где сейчас, и я говорила с тобой.

Я думаю, что это ужасно смешно, как и все самоисполняющиеся пророчества. Мама могла услышать меня где угодно, но поехала туда, куда указало ей видение, случившееся в далеком прошлом.

Мама смеется, а потом плачет.

— Милый, где именно в Парфии ты находишься?

Мне кажется, я слышу, как она отдирает доски от пола. Наверное, маме совсем плохо, ведь она спрашивает, где именно в Парфии я нахожусь, но пытается добраться до меня в Делминионе. Я хочу подумать снова, но в этот момент я чувствую, как уходит вверх кровь. Я чувствую, как она течет совершенно неправильным образом, так, как произрастают растения. Четыре месяца, надо же, думаю я. Это очень и очень много. Много-много. Как если отсюда и до поверхности земли, а может и еще больше. Или меньше.

Мысли снова путаются, и я думаю о рубиновом и алом, двух моих красных.

А потом мамин крик раздается прямо у меня в голове, вот какой он силы, сквозь огромное расстояние он звучит прямо внутри меня.

— Мой мальчик! Сынок! Милый мой, я знаю, что ты жив! Я чувствую тебя, милый, я слышу тебя. Пожалуйста, говори со мной! Я найду тебя. Если понадобится, я на краю земли окажусь, чтобы найти тебя. Я знаю, что ты жив! Я не сошла с ума! Скажи мне, где ты, скажи, и я тебя найду!

Она пробуждает меня от полусна, такого милосердного и в то же время совершенно не нужного мне. Ее надломленный голос, хриплый, влажный от слез, дает мне силы думать.

Я не знаю, где я, думаю я. Я точно в Парфии. Наверное, в Саддарвазехе. Где-то под ним. Под землей. Я в странном состоянии, но я не ранен. Со мной, наверное, друзья, но я их не чувствую. Мне кажется, что я один, совсем один.

В этот момент я чувствую себя очень слабым, каким давным-давно не чувствовал, как будто здесь, наедине с землей, я больше не ощущаю, что все непременно, в любом случае будет хорошо.

Все опрокинулось.

Она чувствует мою боль, словно она — струна, которой достаточно легкого ветерка, чтобы звенеть. Я слышу собственную боль и собственные слезы, когда она издает бессловесный и отчаянный вой, затем же она шепчет:

— Я слышу тебя. Я слышу тебя, мое сокровище! Ты должен беречь себя, а мама придет, мама найдет способ, любой способ.

Мне становится легко, словно я плакал, уткнувшись носом ей в колени. Я не сомневаюсь, что она придет. Кассий говорит, что моя мама нелепая и неприятно надломленная, и падает в обморок, если ветерок подует на нее не с той стороны, но это может быть правдой для кого угодно, кроме меня.

Для меня моя мама — героиня, и я знаю, что она придет.

— Ничего не говори, я чувствую где ты, милый.

Они пьют кровь, думаю я, их сложно убить. Но золото в сердце убивает их. Я не хочу, чтобы вы с папой убивали кого-нибудь, но я боюсь, что вы будете в опасности.

— И не бойся ничего, хорошо, Марциан?

Мне становится так спокойно, когда я вдруг слышу, как она поет. Сначала она прижимается к земле, и скрип ее ногтей по дереву вторит ее ломкому голосу. Мама никогда

не пела хорошо, а сейчас ее голос срывается. Но она со мной, и этого достаточно, чтобы успокоить меня не страшным, полусонным состоянием, а надеждой и теплотой.

Мама поет мне песенку о темном лесе, который заканчивается, и рифма не всегда подходит, а ритм сбивается, и сама мелодия позаимствована у какой-то далекой песенки, названия которой я не могу вспомнить. Там было что-то про ласточек, но мама поет про мальчика. Сперва песня громкая, а потом она отдаляется, и я слышу мамины шаги, сначала осторожные, затем переходящие в бег, и песенка дрожит у меня в голове.

Маленький мальчик в лесу, где он должен быть очень внимателен, но он не один, ведь его мама и папа, и милая сестричка, всегда рядом с ним. Если я улыбнусь, земля испачкает мои зубы.

Я слышу, как мама заводит машину и понимаю, что она делает и зачем. Мама поет всю дорогу, песенка лишь ненадолго исчезает, наверное, она говорит с папой. Ей нужно быть предельно сосредоточенной на мне, чтобы петь мне, но без ее голоса я начинаю засыпать, возвращаясь в беспмятное состояние, куда мне совсем не хочется.

Мама не оставляет меня. С ее помощью я учусь считать время заново. В песенке мальчик может полчаса перепрыгивать с кочки на кочку, сражаться с чудовищами или считать, иногда он видит реку или небо, и я будто бы тоже их вижу, хотя еще недавно мне казалось, что я не могу их представить.

Мама описывает мир вокруг, поет о том, как любит меня и какие на вкус конфеты. Я считаю слова в ее песенке, они становятся для меня секундами, и я вспоминаю, сколько секунд в минуте, а минут в часе.

Как просто, думаю я, считать, когда она поет. Проходит, наверное, часов пять прежде, чем голос ее становится совершенно незначительным, тихим. Она говорит:

— Скоро, милый, совсем скоро.

И я жду, когда она запоеет снова. Я проваливаюсь в долгий полусон, вспоминая, что мама над землей, и это дает мне смутную надежду, а на что, я опять перестаю помнить.

Я думаю, что здесь ведь можно сойти с ума, если не быть в этом странном состоянии. Но мне не страшно сходить с ума, потому что мой бог никогда не давал мне разума. Я понимаю, что волнуюсь за Юстиниана и Офеллу, и за Нису, которая, наверное, не под землей.

И тогда мне кажется, что вот он, я прежний. Под землей, среди прорастающих трав, теряющий кровь и близкий только к червям. Но это я, и никуда я теперь не денусь, когда могу только ждать.

Иногда, говорит папа, ждать намного лучше, чем действовать.

Я больше не маленький и плакать мне не хочется. Я знаю, что скоро все закончится, что закончится хорошо. И это знание, неотъемлемое от меня, самое во мне важное, делает меня сильным снова.

Когда я чувствую, как у кончика моего пальца извивается червь, я хочу погладить его, а если не погладить, так поприветствовать мысленно.

Привет, думаю я, тебе здесь тоже, наверное, очень одиноко? Как ты относишься к тому, чтобы немножко поговорить, когда моя мама в самолете? Она не может мне петь, а я хочу считать время. У тебя есть мама?

Учительница говорила, что у червей нет родителей, так что, может быть, ты сам себе мама. Я не хочу тебя обидеть, наоборот, это тоже здорово, потому что мир большой и разнообразный. Ты знаешь, что на дне океана живут рыбы, которые светятся в абсолютной

темноте. Они похожи на монстров, и у них большие-большие глаза. Они плавают в темноте, где ничего не видно, поэтому у них есть фонарики, но их фонарики как у меня рука или у тебя хвост — части их тел. Тебе вообще интересно про большеглазых рыб?

Наверное, совсем нет. А может и да, потому что червь все еще копошится у кончика моего пальца.

Интересно, белый ты или розовый, думаю я. Невежливо сразу начать говорить о своем, и я не хочу быть навязчивым или чтобы у тебя создалось впечатление, что ты совсем мне неинтересен. Признаюсь честно, намного больше я люблю общаться с людьми, но раз мы с тобой здесь одни или почти одни, то ты сейчас для меня самое интересное существо.

Наверное, это все звучит довольно обидно. Но каждое слово помогает мне сохранять сознание и помнить, кто я такой, что снаружи и зачем мне туда.

Мне очень нужно наверх.

Проходит много времени, я разговариваю с червем и растениями, и все мы знаем теперь, что я это я, а мир, это мир, и земля только небольшая его часть.

Не бойся, Марциан, думаю я, во-первых, потому что ты смелый, а во-вторых, потому что нет никого более везучего, чем ты.

Над землей самолет, а в самолете мои родители.

Я почти соскальзываю в ничто и никогда, и в теплое, сонное состояние, когда мама снова поет. Так я понимаю, она на земле. Она на земле, а я под землей. Мамино пение, некрасивое и нежное, снова выводит меня из забвения. Вместо земли мне на секунду душно пахнет горячим песком.

Она шепчет:

— Теперь совсем скоро, мой милый.

А я думаю, лихорадочно думаю, что надо еще скорее, и не из-за меня, а из-за синих слюней. Потом думаю, как это звучит у мамы в голове, и стараюсь мысленно объяснить ей все, что произошло. Получается так, словно я тоже теряю кровь, но в хорошем смысле. Самое лучшее ощущение на свете, ощущение освобождения от лжи. Я думаю все, как есть, с самого начала, и я не слышу маминого голоса, наверное, потому что она думает о Санкतिны, о ее мертвой сестре, которая живет здесь, в Парфии.

Я думаю обо всем, чтобы маму и папу не ждало никаких сюрпризов, я думаю об опасности, которая угрожает миру. Думаю о том, что было с самого начала в подробностях, которые, как мне казалось, я больше никогда не вспомню.

А потом думаю, надо же, я так хотел защитить вас от всего этого, я хотел быть взрослым и со всем разобраться сам, а теперь я рассказываю это, и я в восторге от того, что мне больше не нужно одному все знать.

Мама молчит, но слушает меня внимательно. В конце концов, она говорит:

— Нужно иметь много смелости для того, чтобы защитить самого себя. Ничуть не меньше, чем для того, чтобы защитить тех, кого любишь.

Голос у нее странный, совсем другой, и я понимаю, что это из-за Санктины.

Ты злишься, думаю я, что я тебе не сказал.

— Нет, Марциан, я не злюсь на тебя. Ты ни в чем не виноват.

Тогда на кого ты злишься, думаю я, на Санктину?

Но она молчит.

Я думаю о шариках, таких маленьких железных шариках, путешествующих по сложным пластиковым конструкциям с цепочками и рычагами. Иногда один шарик толкает другой,

чтобы он продолжал свой путь. Множество, огромное множество железных, блестящих, красивых, разноцветных шариков, которые помогают друг другу преодолеть сложное, полное ловушек пространство.

Может быть, моя задача была показать маме, что ее сестра жива. Может быть, я толкнул ее вперед, а сам двигаюсь совершенно в другом направлении.

У меня перед глазами встает другая картинка, грустная, и совсем другой шарик. Однажды, в моей жизни была электричка, которая от Вечного моего Города шла в какой-то другой город, попроще, и я ехал там один, потому что мне интересно было про транспорт. В той электричке я видел шарик. Он был красный, и бок у него был блестящий, как у железного. Только шарик был резиновый, наполненный гелием и очень праздничный. Он летал под потолком, еще полный жизни, но совершенно один. Наверное, рядом с ним были и другие шарики, но он отбился от них, и его потерял ребенок, которому этот шарик был очень нужен.

Он подрагивал под потолком и проплывал надо мной, когда поезд останавливался, и сила неподвижности (учительница называет ее инерциальной) протаскивала шарик вдоль всего вагона. Я долго стоял и ловил шарик, даже пропустил свою остановку, чтобы выпустить его, чтобы он улетел далеко, туда, словом, куда все шарики, наполненные гелием, попадают.

Я смотрел на него, и мне было тоскливо оттого, какой одинокий он в вагоне электрички, как далеко от других шариков и каким безразличным и даже неживым кажется пространство рядом с ним.

Вот как это было грустно. И вот как я себя сейчас чувствую. Как будто я вроде этого шарика, совсем один. Только все вовсе не безнадежно, ведь мама выпустит меня. Я просто понимаю стремление того шарика вверх, и его грусть оттого, что существует потолок. В конце концов, я тоже там, где не должен быть и хочу наверх, где мне и место. И наши синие слюни, наверняка, в порядке. В конце концов, никто не досматривал рюкзак Офеллы прежде, чем погрузить нас под землю. Иногда масштабность стратегии вредна, потому что отрицает детали, так говорит папа. Папа, приходи скорее.

Мама говорит:

— Малыш, пожалуйста, постарайся думать о хорошем. Уже совсем скоро мы заберем тебя отсюда.

Голос у нее такой ласковый, такой нежный, что и вправду получается думать о хорошем. Я думаю о том, что Юстиниана и Офеллу, и, может быть, Нису тоже нужно будет вытащить из-под земли.

И слышу мамин голос, она говорит:

— Конечно.

А я думаю: передай папе, что я его тоже очень люблю.

— И папа тоже любит тебя. А теперь будь сильным и жди нас.

Она пропадает, значит сознание ее сейчас не на мне сконцентрировано. Но она знает, где я, и наше прощание значит, что она уже близко. Я собираюсь быть сильным и даже очень сильным, собираюсь ничего не бояться.

Я не могу дышать, но словно бы здесь и не это мне нужно. Не могу двинуться, но скоро я выберусь отсюда. Бояться совершенно нечего, и я не боюсь. Но отчего-то мне кажется, что выходить из этого состояния будет намного болезненнее, чем пребывать в нем.

Мне придется снова научиться дышать, а мир надо мной будет большим. Зато он будет,

и я смогу открыть глаза. Я стараюсь приготовиться к этому ощущению, но оно все равно застаёт меня врасплох. Так всегда бывает, думаю я, а потом уже ничего не думаю, потом что вслед за легким ощущением движения земли, приходит удушье.

Мне кажется, что легкие разрываются, что за каждую, буквально каждую секунду, проведенную без воздуха, я расплачиваюсь сейчас. В теле болит каждая косточка, даже там, где я не думал, что у меня есть кости и нервы, они оказываются, и какие же они живые, это даже потрясающе, что можно ощутить нечто такой силы.

Я не чувствую момента, когда земля надо мной расходуется, чувствую только смутное движение, боль, способную раздавить мне и разум, и кости, и свернувшееся в груди удушье, и воздух, который кажется мне непомерно горячим, обжигающим. Мне кажется, я никогда не привыкну к ощущениям, никогда не кончится боль, никогда воздух не станет холоднее, никогда у меня не достанет сил открыть глаза.

Но, по крайней мере, последнее мне сделать удастся. Я даже не сразу осознаю, что в помещении темно. Белые цветы кажутся мне такими яркими, каким я никогда не видел даже солнце, они впиваются мне в зрачки, заставляя снова зажмуриться. После всей этой черноты невозможно смотреть на белый, которого здесь много. Его здесь ровно половина, другая же отдана красному. Красные цветы, белые цветы. Санктина и мама, сестры. Розы и лилии, и бессолнечное, темное пространство, где они не могут расти, где их не может и не должно быть.

Розы и лилии, подземный сад. Восприятие возвращается по кусочкам, цветы сталкиваются друг с другом, превращаясь в пятна краски, затем отделяются, и снова сталкиваются. Так делают Галактики в начале всех времен. Но после нуля. Две Галактики, это уже две единицы.

Плюс и минус, столкнувшись они снова дадут ноль. Все пропадет.

Меня бьет дрожь, но я радуюсь ей, потому что это значит, что я живой. Какой я живой сейчас, как глубоко могу вдохнуть. Здесь душно, как в теплице, и все же воздуха хватает. Подземный сад, где освещение совсем слабое, а солнца, которое должно питать цветы, нет вовсе.

Я вспоминаю слова Нисы о том, что разлагаясь под солнцем, они питают свою богиню. Втягивая солнечный свет и передавая его земле. Здесь они — солнце, думаю я. Наверное, это место что-то вроде храма. Наверное, они построили подземные города вовсе не для того, чтобы прятаться от солнца, а для того, чтобы передавать его земле. Пышный, здоровый сад, похожий на оранжерею с оградками и лесенкой вверх, и хитросплетением металла, которым она заканчивается, круглой, легкой конструкцией, на которую и взойти-то страшно, но только она ведет к двери наверх. В кружевах и вензелях металла оград и круглого моста надо всем узнается стиль имперских построек маминого детства — безупречно утонченных, цветочно тонких и в то же время строгих. Все сделано из зеленой меди, таинственной и мрачной в полутемном помещении.

Я машинально хватаюсь за ограду, холод меди обжигает меня так же, как жар воздуха, пахнет цветами, металлом и землей, снова этой вечной землей. Я обнаруживаю себя за оградой и понимаю, что вовсе это не сад, то есть, не только сад. Полусад, полукладбище, храм, устроенный так, как хотелось тете Санктине.

В стеклянном сосуде, который кажется бутон розы на медном стебле, плещется моя кровь. Наверняка, они поили ей Нису. По крайней мере, Ниса не голодала.

Я замечаю все больше деталей, словно мое зрение настраивается заново. От орнамента

на оградках до обращенных ко мне головок лилий. Я был погребен между ними, они растут прямо передо мной, запах у них мертвенный. За ними я даже не сразу вижу маму. И еще, конечно, за Грацинианом. Она прижимает что-то к его спине, прямо между лопаток.

— Только попробуй, — говорит она. — Если ты лишь дернешься, я вгоню это тебе в сердце.

— Ты вправду думаешь, что успеешь?

Но мне кажется, он по голосу маминому, по силе прикосновения понимает — она успеет. Никогда прежде я не видел маму такой решительной, такой злой. Она, наверное, не понимает еще, что я пришел в себя, говорит:

— Если только мой мальчик искалечен или мертв, не рассчитывай на то, что я проявлю к тебе милосердие.

Грациниан смеется, но выходит не слишком уверенно. Сцена даже комичная. Маленькая, бледная мама и зубастый Грациниан, повелевающий землей, вот только злая здесь она, а не он.

— Ты все еще ненавидишь меня из-за родителей? — спрашивает Грациниан, облизывает тронутые золотом губы. Ему ситуация тоже явно кажется забавной, но не только.

И он бы вовсе не смеялся, если бы видел, как блестят мамины глаза. Соблазн воткнуть золото ему в сердце велик для нее. И она знает, что Грациниан ничего не может ей сделать. Санктина любит ее, Санктина, может быть, на свете никого не любит, кроме мамы. А Грациниан любит Санктину. Так что я знаю, и он знает, и мама знает, что как бы легко ни было для него вонзить в нее зубы, он не сделает этого.

Вот почему она здесь, и вот почему она здесь одна. Мама похожа на человека, который вошел в клетку ко льву, но знает, что лев уляжется возле его ног.

— Ты закончил? — спрашивает мама. Глаза у нее блестят от злости, не от слез, но под ними так красно, словно она из нашего народа.

Я говорю:

— Мама.

Она дергается, на секунду я боюсь, что она, как канатоходец в середине пути, потеряет равновесие и рухнет вниз. Но мамина рука остается твердой, мама только кусает губы.

— Ты в порядке, милый?

— Да, — выдавливаю я из себя, хотя шевелиться все еще почти невозможно, говорить фактически тоже, а вот мысли начинают течь.

Грациниан смеется.

— Удивительная любовь к отпрыску твоего врага.

Но мама — отличный канатоходец, ему ее не провести и не схватить.

— Пожалуйста, Грациниан, я не хочу слушать моральные суждения человека, который причастен к похищению моего сына.

— И воскрешению твоей сестры.

Мамин язык скользит по полным, бледным от волнения губам.

— Следующий, — говорит она. — Здесь Юстиниан и Офелла, я это знаю. Пожалуйста вытащи их.

— Знаешь, Октавия, слабость, маскируемая смелостью, очень опасна.

Но мама ничего не говорит, Грациниан дергается от ее движения, видимо, лезвие упирается в него сильнее, он улыбается, словно мама делает с ним нечто эротическое.

— Знаешь, милая, как я обожаю тебя в такие моменты? Тогда ты хоть каплю на нее

похожа. Тебе ведь это тоже нравится?

Но Грациниан не только болтает, он вскидывает руку, морщится, видимо, ощущая, как мамино лезвие, готовое пронзить его сердце, пропарывает кожу. Тени на его лице, подчеркнутые косметикой, придают ему не только искусственную, словно бы скульптурную красоту, но и еще более болезненный вид, в то же время в этой мертвенности, в желтых его, нечеловеческих глазах, плещется сила. Грациниан разводит пальцы, словно хочет размяться перед игрой на музыкальном инструменте, и я слышу, как отзывается на это простое движение земля.

Расходится, расплескивается, разрывается. Я думаю, мы ведь были совсем рядом, но совершенно не чувствовали друг друга. Где Ниса, думаю я, но ничего не могу сказать. Я хочу увидеть Офеллу или Юстиниана, но едва могу шевелиться, в каждой точке тела по тысяче иголок. Намного хуже, чем когда отлежишь руку или ногу, заснув в неудобной позе. В конце концов, мое тело не двигалось четыре месяца, и я удивлен пульсации крови в каждой моей конечности.

Я слышу, как кто-то хрипит, но точно не распознаю, кто. Вряд ли мы вскоре будем в силах обменяться впечатлениями. Мама ждет некоторое время, лицо ее холоднее некуда, так она зла. Она бесстрашная и очень яростная, настолько, что кажется мне чужой. Такой я ее не помню. Наконец, мама говорит:

— Ты в порядке, милая?

Офелла пищит что-то невнятное, мама хмурит брови, лицо ее приобретает детское, жалостливое выражение, и тут же она шипит:

— Теперь Юстиниан.

Я думаю, что мама сейчас, как в плохом фильме, скажет что-то вроде "только дай мне повод", но она говорит:

— Пожалуйста.

Пожалуйста, говорит она на самом деле, не давай мне повода. Теперь, когда первое впечатление сменилось благоразумным наблюдением, я вовсе не уверен, что мама может убить человека, даже давно мертвого. И хотя она выглядит так, будто готова, я все-таки хорошо знаю ее.

— Тебе нравится наш храм, Октавия? Лилии и розы, Санктина непременно думала с тебе, создавая этот чудесный сад.

Цветы в темноте, думаю я, и когда закрываю глаза, на секунду и от усталости, лилии и розы стоят у меня перед глазами. Я слышу дыхание Юстиниана, теперь я знаю, что они оба живы.

— Я совсем не хочу убивать тебя, Октавия. Мы ведь были друзьями.

Когда я открываю глаза, Грациниан стоит, раскинув руки в карикатурно беззащитной позе, но секундой позже я вижу его смазанное движение, когда он разворачивается к маме. Раздается выстрел, и Грациниан останавливается, я вижу, что разрывная пуля почти отстрелила ему голову, кажется, что она держится на паре клочков плоти, но крови нет, нет ощущения боли, причиняемой существу, оттого это не противно.

Есть только огромное и страшное волнение за маму, но мама в последнюю секунду успевает оттолкнуть его зубастую пасть от себя, тянет, так что голова отрывается от тела легко, как от игрушки. Мама держит ее в руках, а папа говорит:

— Не только не хочешь убивать, но и не убьешь.

Грациниан улыбается, хотя голова его отделена от тела.

— А я все думал, когда ты здесь появишься. Странно было бы, если бы милашка Октавия заявила сюда одна, а я слышал, что вы подружились.

Папа стоит у двери, в руках у него ружье, а рядом с ним Кассий, и его красный клинок здесь горит ярче всего на свете. Конечно, ведь Кассию папа доверяет.

— Ты вправду думаешь, что пуля может кого-нибудь из нас убить?

Выражение лица у Грациниана такое, словно бы он скучает, хотя его голова в руках у моей мамы и, наверное, это примечательное событие.

— Не может. Но может задержать. Как и преторианское оружие.

— Всегда хотел посмотреть на тебя, Аэций. В конце концов, отчасти я благодарен тебе.

Конечно, ведь папина война соединила Грациниана с его любовью вновь и навсегда.

Я хочу хотя бы встать, но это оказывается непосильной задачей. Грациниан говорит:

— Ах, какой политический прецедент. Император и императрица вламываются в дом парфянского жреца.

— На самом деле куда менее скандальный, чем парфянский жрец, похищающий императорского сына, — говорит папа.

— Нам, людям столь большого масштаба, действительно сложно убить друг друга без последствий, — говорит Грациниан. — Но неужели мы совершенно никак не можем договориться?

В этот момент тело Грациниана казавшееся (и бывшее мертвым), лежавшее на земле, пинает маму под коленку, и она падает, едва не уронив его голову. Я смотрю, как мама борется с телом Грациниана за его голову с ожесточенностью, которой от нее совсем не ожидаешь, папа целится в переходящую от мамы к Грациниану голову с видом совершенно безмятежным, а Кассий сбегает по симпатичной лесенке вниз. И только я ничего не могу сделать. Как будто мне снится худший на свете сон, из тех, что приходят, когда засыпаешь на спине.

Я думаю, что если бы все это было ненастоящим, я бы непременно проснулся именно на этом моменте.

Но я не просыпаюсь. Наверное, я прежде никогда не попадал в ситуации, самое ужасное в которых то, что они реальны. Грациниан, за голову которого они с мамой сражаются, говорит так, словно бы все совершенно в порядке и волнует его не сложившаяся ситуация, а иные вещи, реальные и значимые.

— Октавия, ради твоего бога, прекрати строить из себя героиню.

Мама давит пальцами ему на глаз, и его руки дергаются. Ужасно странно видеть связь между телом и головой, когда они не вместе.

— Я не хочу причинять боли твоему сыну! Я хотел взять паузу! Послушай меня!

— Четыре месяца его жизни, — говорит мама. — Мы думали, что он мертв!

Четыре месяца моей жизни, рассеянно думаю я, под землей. Когда проводишь время наверху, и когда ты молод, четыре месяца кажутся мелочью, но однажды я постарею, и тогда я буду жалеть даже не о каждом дне, а о каждом часе, проведенном здесь.

Сейчас жалеть ни о чем не хочется и не получается, получается только бояться.

— Моя дочь не может жить без вашего паренька, — говорит Грациниан. Ему, наверное, надоедает играть с мамой, он легко, со своей незаметной быстротой выхватывает свою голову, и как только она соприкасается с телом, кожа, плоть и кость срастаются. Это не выглядит так, словно рана заживает. Схватываются части Грациниана, но никакого ощущения живого процесса от этого нет. Как если чинят вещь, простую и очень хорошую, обладающую запасом гибкости, чтобы оправиться от самых страшных разрушений. Но все равно это просто вещь.

Кассий отталкивает его, и Грациниан пошатывается, словно бы он мертвецки пьян, и это движение обладает каким-то особенным, нелепым обаянием. Мой мир в лилиях, но вижу я вполне сносно, и все же Кассию удастся добраться до мамы незаметно для меня. Но, конечно, не для Грациниана. Он улыбается, словно бы они сыграли в игру, в которой Грациниан поддавался. Кассий стоит перед мамой, у него красным горит клинок. И мне очень хочется, чтобы он думал в этот момент о Юстиниане, чтобы тоже волновался.

Кассий не тушит клинок, чтобы вонзить его в Грациниана, если он бросится к ним с мамой. Он успеет его, по крайней мере, задержать. Грациниан смеется, и я понимаю, что ситуация его забавляет. Чем дольше Кассий держит клинок, тем сильнее он устает, и в какой-то момент ему придется потушить оружие. Но и отдохнуть Кассий не может, потому что не уверен, что успеет призвать клинок.

Вот такая безвыходная ситуация, которая мне тоже очень не нравится. Папа стоит на лестнице, у двери, и дуло его ружья теперь смотрит в пустоту, словно бы он держит на прицеле призрака.

— Позвольте мне уточнить, — говорит Грациниан. — Я не имею в виду, что моя Пшеничка воспылала к вашему мальчику чувствами, просто он действительно нужен ей для питания. И мы не могли просто выгнать его, а также не могли выгнать и других Пшеничкиных друзей, которые непременно бы вам обо всем доложили. Словом, мы с Санктиной не злодеи, просто мы оказались в безвыходной ситуации, мы не хотели, чтобы они создавали проблем, и в то же время нам совершенно не нужно было их присутствие.

Я ощущаю, что слабость моя вызвана не только нахождением под землей, но и потерей

крови. В стеклянном бутоне плещется моя кровь, и первым моим рефлекторным порывом является желание выпить ее. Я чувствую, какой я голодный, но не уверен, что смогу сейчас хоть что-нибудь прожевать.

Силы, которые я нашел в себе, чтобы шевелиться в первые секунды теперь тают, словно бы движение стоило мне всей энергии, которая во мне оставалась. Но я не чувствую себя умирающим. Только предельно изможденным, настолько, что это практически невероятно, потому что я еще не думал о том, что тело мое может так уставать. Но я живой, ощущающий, и кровь во мне разгоняется, не в последнюю очередь от предельного волнения, которое я испытываю.

— Мы все знаем, — говорит папа. Он в сторону Грациниана даже не смотрит, словно бы говорит с кем-то другим.

Я думаю, что папа зря все это рассказывает, что в детективах за такие слова все время убивают людей. Грациниан рассматривает Кассия и маму, и я хочу уловить в этом оттенок голода, но у меня не получается. Темный его, блестящий взгляд кажется мне печальным. Он стоит совсем рядом, так что умей я сейчас протянуть руку, непременно бы коснулся его. И от этой близости вся его тоска становится мне очевидна, хотя зубастая улыбка не оставляет его лица.

— Хорошо, — говорит он, запрокидывая голову неудобным, болезненным образом, смотрит на папу, который на него не глядит. — Предположим, твой преторианский друг отрежет мне, скажем, руки и голову, а моя милая подружка Октавия вгонит мне в сердце свой золотой нож. И? Что это, в принципе, изменит? Ваш мальчик свободен, наша девочка...

Он замолкает. Я вижу мамины руки в лилиях, застилающих мне взгляд. Она крепко, до белизны пальцев, сжимает золотой с рубинами нож. Наверное, он местный, по крайней мере рукоять кажется мне узнаваемо восточной.

— Мы несколько злимся, — говорит Аэций. — Не нужно ведь пояснять, почему?

Папа вправду интересуется, совершенно готовый к любому ответу, и эта его очаровательная черта, совершенная непосредственность, сейчас кажется мне жутковатой.

— И взволнованы, — говорит Грациниан. — Совсем не сомневаюсь. Готов принести свои глубочайшие извинения.

— Серьезно? — спрашивает Кассий, и я радуюсь его хриплому голосу. — За то, что хотите раздолбать наш классный мир?

— А ты ему доверяешь, — говорит Грациниан, но к кому он обращается, папе или маме, теперь непонятно. — Да-да, понимаю, они как члены семьи или вроде того.

Мне не нравится, что он говорит о Кассии как о собаке, хотя преторианцы и называют себя псами. Люди, которые играют в карты, не показывают ни взглядом, ни жестом, когда они удивлены. Грациниан, наверное, очень любит карты. Я понимаю, что он не мог знать, что я связался с мамой, что удивлен и присутствием здесь моих родителей, и их осведомленностью, но по лицу его этого никак сказать нельзя.

Мама выглядит такой взволнованной и испуганной, а Грациниан таким спокойным, что кажется, будто их вырезали из разных фотографий и наклеили рядом, настолько они рассинхронизированы в этот момент. А обычно бывает, что люди, разговаривающие на одну тему, пусть и проявляют разные эмоции, но направлены они словно бы в одну точку. Здесь все совсем по-другому. Папа целится в человека, которого нет рядом, Грациниан ведет светскую беседу, мама сжимает нож и страшно переживает, а Кассий говорит:

— Конечно, я знал, что эта страна полна поехавших мегаломаньяков, но чтобы

настолько!

Наверное, мама и папа взяли Кассия для того, чтобы возмущаться.

— Это будет для вас сюрпризом, — говорит Грациниан. — Но я тоже не хочу, чтобы все так заканчивалось. Я хочу найти способ остановить страдания моей Пшенички. И за четыре месяца я в этом не преуспел.

— Ужасно жаль, — говорит папа. А мама говорит:

— И ты считаешь, что можешь оправдать этим похищение?

— Все можно оправдать любовью, — задумчиво говорит Грациниан. — Но нам ведь и вправду не выгодно убивать друг друга, так? Нам выгодно договориться, попытаться помочь друг другу. Может быть, вместе мы найдем выход.

— Я думаю, ты вцепишься мне в горло при первой возможности, — говорит мама, лицо ее тут же меняется, словно это она вцепится ему в горло. Грациниан смотрит на нее снисходительно, как делают иногда старые друзья.

— Дело в том, — говорит он. — Что мне и вправду необходима помощь. Нам с ней сложно кому-то довериться.

При не произнесенном имени ее сестры, мама вздрагивает. А мне странно оттого, что Грациниан и Санктина прежде явно имели противоположные мнения по этому вопросу. Но я рад, что Грациниан не думает, что Санктина совсем не хочет помочь их дочери. Я видел ее в тот момент, когда она выскочила из машины, чтобы спасти нас от изгоев, и тогда, когда она провожала Нису в ее путешествие к богине. Она была настоящей, не ледяной и не железной. Человеком из плоти и крови, любящим своего ребенка.

— Здорово, — говорит Кассий. — Доверься нам, мы же вломились в твой дом. Это лучшее начало знакомства после вооруженного грабежа!

— Кассий, — говорит мама. — Пожалуйста.

— Вы ведь тоже понимаете, — продолжает Грациниан, как ни в чем ни бывало, и я думаю, что мужчину, который так любит косметику, мало что в жизни может смутить, вот даже Кассий не может. — Вся эта история связана и с вами. Ниса и Марциан связаны.

Он подмигивает маме.

— Ты и Санктина связаны. Ты ведь знаешь, как все получилось?

— В общих чертах, — говорит мама, голос ее словно бы ничего не выражает, становится пустым и лишенным даже злости.

— Может быть, мы все-таки поможем друг другу? Я обещаю вести себя хорошо, никого не есть, никому не вредить и даже вести себя с достоинством сообразным имперскому о нем представлению. Долг всякого человека, знающего об этой ситуации, хотя бы попытаться придумать способ ее разрешения.

— Мой сын с друзьями, кажется, занимались именно этим, — говорит папа.

— Но мы ведь взрослые люди и понимаем отличие настоящих попыток заняться этой проблемой от решения сбежать в пустыню и наткнуться на диких каннибалов.

А я вдруг понимаю: но ведь у нас есть способ. Мы еще не разобрались в том, что собираемся делать, мы еще не знаем, в порядке ли слюна изгоев у Офеллы в рюкзаке, но у нас есть больше, чем у Грациниана за четыре месяца, раз он просит помощи у родителей.

Я надеюсь только, что у синих слюней нет срока годности. Я открываю рот, чтобы сказать об этом, но у меня не получается. Видимо, и все силы на слова я тоже использовал в самом начале.

— Для любого человека, — говорит папа. — Желающего плюс-минус сохранить

текущее мироустройство, это небезынтересно.

Плюс-минус, думаю я, и мне хочется засмеяться. Я почти уверен, что это папина шутка, что он тоже находит ее смешной, и сейчас мне очень важно протянуть между нами ниточку.

Он понимает, и я понимаю.

А потом дверь открывается, и я узнаю еще кое-что — папа целился в Санктину. Дуло ружья упирается ровно ей в висок, словно папа все это время безошибочно помнил ее рост. Я смотрю на маму. Мне кажется, что сейчас она выронит нож, а затем упадет в обморок. Мама не просто видит перед собой призрака, она видит человека, с которым так и не смогла попрощаться. Наверное, она ощущает себя, как люди нашего народа, когда бог выполняет их желания, самые странные для мира. Чувство вроде этого должно преследовать человека, чье желание отдалило наступление дня или ночи.

Нарушение естественных законов, отступивших перед чувством и желанием настолько сильным, что уже нет ничего важного.

Но самое странное то, что и Санктина выглядит так же. Моя мама эмоциональна и чувствительна, Санктина же, почти все время ледяная, не похожа на человека, который может испытать что-то настолько всеобъемлющее. Она не двигается, не плачет, не бледнеет и не краснеет, как мог бы живой человек, но она прижимает пальцы к губам, и хотя я не вижу ее глаз, напряжение в ее теле говорит о любви и боли. Я словно вижу момент из телешоу, один из тех, в которые никто и никогда не верит. Но все происходит по-настоящему, с настоящими людьми, искрящимися от чувства, переполняющего их и неуместимого в слова. Все, что стоит между ними — огромное, бесконечное количество времени, ложь и злость, события со мной и Нисой, как прозрачная и тяжелая вода в озере покрывает камушки их воспоминаний, нежности и боли, которая всегда скрывается в любви. Они ничего не произносят, и мамины глаза я вижу хорошо, а глаза Санктины — нет. Мама рассказывает Санктине обо всем, ни слова ни говоря. Кричит, ругается, злится и радуется, говорит, что любит, говорит, что ни на секунду не забывала, не произнося при этом ни звука. Что говорит Санктина, я не знаю, но, наверное, что-то не менее важное. Я не знаю, какие слова можно сказать спустя столько лет и в такой ситуации, и нужны ли они вообще. Мне страшно за маму, потому что мне кажется, что еще секунда, и у нее сердце разорвется. А у Санктины так быть не может, не потому, что она не чувствует этого, а потому, что сердце ее больше не живо, не бьется, а оттого и не опасно ему ощущать такие вещи.

Напряжение между ними охватывает всех, как волна прокатывается по подземному саду, розы и лилии кажутся мне волнующимся морем. Папа прижимает дуло к виску Санктины, но я знаю, он не выстрелит, но и она не тронет его, как мама и Кассий не тронут Грациниана, а Грациниан их. Появление Санктины делает ситуацию патовой, как будто в шахматах выстраиваются в ряд друг перед другом, вершина к вершине, пешки, не способные идти дальше. Чувства, связывающие маму с ее сестрой, не позволят им причинить боль тем, кого хоть одна из них любит, а папа и Грациниан в свою очередь не смогут навредить Санктине и маме.

Я ощущаю легкость и радость оттого, что бояться больше не нужно, хотя мне и забавно, что с появлением Санктины, которая все это время кажется мне злодейкой, вероятность кровопролития, как сказала бы учительница, стремительно снижается.

Регрессирует, сказала бы моя учительница.

Любовь обладает великой силой, даже для тех, кто холоден и очень-очень зол, и, может быть, особенно для таких людей, потому что только она и может спасти, когда все остальное

внутри стало ледяным. Мне ментально становится легче, потому что мои родители не умрут и родители Нисы не умрут, но ситуация от этого не перестает быть напряженной.

И как странно, насколько волна их эмоций захлестывает и меня.

— Воображала, — говорит Санктина, голос у нее тут же становится совсем иным, я и не представлял, каким человеческим он может быть, каким живым.

— Жадина, — говорит мама, и первый слог выдыхает с нежностью, второй со злостью, а третий с отчаянным удивлением. Я говорил маме о Санктине, но в такое нельзя поверить по-настоящему, пока не увидишь своими глазами.

Много лет прошло, и так по-разному сложились судьбы у обеих, у каждой из них свой талант и свое дело, они полюбили совсем не похожих мужчин, по-разному воспитали детей и, казалось бы, сквозь столько времени, это должны быть совсем другие люди. Но мне они кажутся маленькими девочками, и я наблюдаю за ними с восторгом. Мне нравится смотреть на них и воспринимать все, потому что это, пока что, моя основная способность, а еще, потому, что я четыре месяца был под землей, и теперь мир вокруг чрезвычайно наполнен деталями, и мне кажется, что опыт этот не только отобрал у меня время моей жизни, но и обогатил меня бесценным опытом внимания к яркости всего вокруг. Сколько оттенков скрывает мир, даже в самом темном, подземном своем уголке, и сколько могут сказать люди, вообще ни звука не издавая. Я ловлю взгляды моих родителей, мне хочется, чтобы они видели, что со мной все в порядке, но все, что я могу делать, это дышать как можно глубже, чтобы мама и папа видели, я живой.

Я думаю, мы ведь вправду можем помочь, только пусть выслушают нас. Но для того, чтобы помогать, нужно для начала суметь что-нибудь сказать.

— Как ты могла поступить так с моим сыном?!

Мама почти кричит, такой я ее видел очень и очень редко. В этом вопросе, как в шкатулке, скрыты и другие вопросы. Как ты могла поступить так со мной? Как ты могла попасть в такую беду? Как ты могла не написать мне? Как ты могла быть все это время и не дать мне понять, что жива? Как ты могла оставить меня? Все эти вопросы, которые мама все прошедшие годы задавала Санктине мертвой, теперь адресованы Санктине живой.

— Я нашла твою записку. Это было забавно, вызвать меня сюда. Ты не боялся, что я приду не одна?

— Тебе некого посвятить в эту щекотливую ситуацию. Поэтому я не боялся, что ты придешь не одна, — говорит папа. Он словно бы и никак в эту ситуацию не вовлечен, только комментирует фильм.

— Ты, животное, убери оружие. Ты меня не убьешь.

Я не могу представить, чтобы кто-то так называл моего папу, он ведь император. Но она — императрица, оставившая свое сердце, жизнь и престол в Империи.

— Да, я ознакомлен с правилами твоей новой богини. Но, думаю, тебе потребуется некоторое время, чтобы восстановиться. Так что я не откажусь выстрелить в тебя при необходимости.

— Жалеешь, что не убил меня сам? Хорошо, иди за мной. Я хочу поближе увидеть свою сестру.

Санктина спускается по лестнице вниз с царским достоинством, словно бы ничего страшного не происходит, ничего необычного не случается. Она подходит ко мне совсем близко, касается стеклянного бутона с моей кровью.

Завтрак Нисы. А может обед или ужин. Одно это ее движение, словно она касается

бокала с вином, кажется мне унижительным, хотя я не хочу ничего такого ощущать, не хочу относиться к Санктине плохо. Однажды мама очень любила ее и любит теперь.

Так они стоят друг перед другом, Грациниан и Кассий делают по шагу в сторону, папа стоит у Санктины за спиной, и между мамой и ее сестрой не остается преград. Они смотрят друг на друга, взгляд у Санктины словно бы и спокойный, изучающий.

— Ты оставила меня.

— Ты должна была остаться.

И тогда мама бьет ее. Не той рукой, в которой зажат золотой нож, свободной, незащитной рукой. Санктина не делает никаких попыток избежать удара.

— Кто-то должен был остаться, — заканчивает она. — Я поступила с тобой ужасным образом.

— Ты поступила со мной ужасным образом, заставив меня думать, что ты мертва!

— Я мертва, — говорит Санктина и улыбается, и ее красные губы кажутся мне очень смешными, потому что помада скрывает их смертную обескровленность — Но ты ведь не для этого здесь, правда? Не для меня. Ты здесь, чтобы забрать своего сына.

Она смотрит на меня, глаза у нее совсем холодные, желтое не бывает, но цвет будто тускнеет.

— Я не хочу его убивать. Если бы я хотела, ничто бы не остановило меня.

Мне кажется, она говорит так с мамой специально, словно бы от ее слов маме должно наоборот стать легче. Как будто не сестра перед ней, а враг. Человек неприятный и чужой, мертвый, иной. Мамин взгляд должен спросить "что же с тобой стало?", но он спрашивает "зачем ты меня обманываешь?".

Любовь — это безграничное доверие, мама говорила со мной об этом.

Мама говорит:

— Ты сошла с ума от всего, что с тобой произошло.

— Если тебе приятнее так думать. Люди меняются. Мы с тобой больше не девочки, связывавшие косички, чтобы всегда быть рядом.

Мама смотрит на нее снова, а затем отдает нож Кассию и идет ко мне.

Она садится на колени, и, наконец, я могу увидеть ее без лилий, и мамины руки кажутся мне очень теплыми.

— Марциан, милый, ты не ранен?

Я качаю головой, мне хочется ее успокоить, но оттого, что я молчу, она волнуется еще больше.

— Он не сразу заговорит. Ему нужно время.

Санктина смотрит на нож в руках Кассия задумчиво, словно бы примеривается к покупке. Теперь, когда мама не обращает внимания на нее, Санктина говорит:

— Я не хотела этого.

— Что?

Мамина ладонь прижимается к моему лбу, и теперь мне пахнет не только розами и лилиями, но и фиалками от ее пульса.

Грациниан и папа молчат, словно бы им обоим сказать нечего. Для папы это естественное состояние, когда он не говорит, то словно бы и не существует. Грациниан же выглядит так, словно ему не терпится что-то сказать, но он тщательно и больно прикусывает себе язык. А Кассий выглядит так, будто ему надо выпить, и работу свою он не любит.

— Ты вправду думаешь, что я бы хотела привести в мир богиню? Но я кое-что понимала

о мироздании и богах. И только в этом заключалась ценность моей жизни.

— Пусть все умрут сегодня, а я завтра, это не самая лучшая жизненная философия, — говорит папа. — Мне не нравится. Хотя в этом случае, конечно, нужно построить фразу по-другому. Пусть все умрут завтра, а я буду жить сегодня.

Но Санктина даже не удостоивает его взглядом, да и папе явно не интересен ее ответ.

— Мне не хотелось умирать. Все, о чем я думала, попав к Матери Земле — я так не хочу умирать снова, я так не хочу вернуться к Зверю, я так не хочу опять быть там. Я была готова на все, Октавия, чтобы прекратить свои мучения. Что для меня значила еще не существующая дочь? Я дала Матери Земле идею, но она использовала для ее воплощения меня. Я не могла отказаться. Мы с тобой, милая, навсегда были бы разлучены в Непознаваемом. И я подумала, мне нечего терять. Я всеми силами старалась не любить Нису. Она просто расходный материал, думала я. Я заставляла ее страдать, потому что сердечная боль кормила ростки Матери Земли внутри нее. Я скрывала все это от человека, которого я любила. Я жила с этой тайной, все больше понимая, что с каждым днем приближается конец всего, что я знаю. Отсрочка, которую я купила себе, опалев от боли и страха, оказалась слишком дорогой и не слишком долгой.

Санктина говорит громко, словно бы она актриса в театре, читающая финальный монолог. Я знаю, о чем думает сейчас Юстиниан. Он думает: Санктина композиционно поступает как исповедующаяся злодейка, которую должны заткнуть финальным выстрелом. Интересно, как там Юстиниан? Вот бы услышать его дыхание и дыхание Офеллы снова. Волнение разгоняет мне кровь, но это не очень помогает. Наверное, после четырех месяцев под землей отлично помогает время. Надеюсь, не еще четыре месяца.

Что до Санктины, то Юстиниан в своих мыслях, которые мне так хорошо представляются, совсем не прав. Санктина не злодейка, потому что для себя мы все не злодеи, потому что каждый из нас герой драматический и вызывающий симпатию.

Но Санктина сейчас вовсе не героиня, словно она не воспринимает себя, словно она не является больше той, которая пришла сюда, словно скинула с себя личность, как одежду, и просто рассказывает историю. Так может папа, но Санктина кажется совершенно не приспособленной к такому разделению, оттого оно выглядит мучительным. Взгляд у нее обращен к Кассию, словно она плохая актриса, выбравшая одного из зрителей, чтобы не волноваться, говоря.

— Я пожалела о своем обещании. Но в тот момент я не могла поступить по-другому. Мне казалось, что я способна на все, лишь бы не возвращаться, моя милая. Я так хотела снова увидеть твое лицо, хотя бы на фотографии. Я так хотела увидеть солнце. Я так хотела, чтобы перестало быть больно. Я не испытывала жалости к еще не рожденному мной ребенку. И тем более я не испытывала жалости к миру. Я ненавидела его за то, что меня там больше нет.

Все слушают ее, никто не перебивает, и я бы тоже не перебил, даже если бы мог. У человека столько боли, что она льется, как будто у Санктины в ее лишенной сердца груди родник.

— Я и тебя обрекла на ужас, который принесет моя дочь. А знаешь, в чем главная проблема, моя Воображала? Я знала, как это сделать, как привести в мир бога. Смерть истончает реальность.

Переход между двумя единицами, думаю я, из минуса в плюс. Из одного нашего мира, в бесконечные миры наших богов, такие разные, но находящиеся...где? Это мне до сих пор не

стало понятно.

— Я выносила ребенка, который находился ровно между жизнью и смертью, мертвая мать, живой отец. Я знала, что стоит ей низойти в землю, все начнется. Я только не знала, когда.

А я помню, как все началось. Нисе было больно, вот и все. Всегда есть капля, после которой вода в стакане переливается через край. Одна только капля сдвигает такой большой объем жидкости.

— Все это время я искала способ отыграть все назад. И я поняла, что для этого нужно начать. Чтобы вытащить их из нее, нужно было дать им прорасти. Я бросила ее, потому что думала, что ей будет больно, ведь боль — это и есть ключ.

Но больно ей стало оттого, что ее семья так отличается от моей.

— Я хотела включить ее, — говорит Санктина. В какой-то момент мне кажется, что Грациниан сейчас вцепится ей в горло. Он удивительным образом и невероятно зол, и всецело ей предан. — Я должна была оставить ее в одиночестве. Затем я планировала извлечь из нее их всех. Наверняка, их тысячи. Но у нас есть вечность. Непросто, правда?

— Всегда был простой способ, — говорит папа. — Убить ее.

Я понимаю, что он не хочет этого, просто озвучивает еще один вариант решения проблемы, но Санктина шипит:

— Можешь считать, что я злобная тварь, животное, но я не собиралась этого делать. И если ты хоть пальцем дотронешься до моей дочери...

— Он не будет, Жадина, — говорит мама. Мне странно от того, что взрослые женщины называют друг друга детскими прозвищами. Но в то же время все звучит правильно.

— Все это слишком долго, — говорит Грациниан. — И хотя мы не спешим, нам нужен более простой способ.

— Забавно, — говорит папа. — Сейчас я все угадаю, одну секунду. Вы держите свою дочь взаперти, вытаскивая из нее росток за ростком при помощи, судя по всему, страданий. И кормите ее кровью нашего сына.

— Вносите приз, мы нашли самых лучших родителей года, — смеется Кассий.

Мама говорит совсем тихонько:

— Какой помощи вы хотите?

А я думаю, что это все страшно, но даже хорошо. Хорошо, что Санктина и Грациниан, которые, как я ни старался быть милосердным к ним, казались мне людьми злыми, чудовищными, на самом деле оказываются слабыми, человеческими и запутавшимися.

Это намного лучше, потому что всех запутавшихся можно распутать. Я даже не верю в то, что они вправду обращаются с Нисой так, как сказал папа.

Санктина ни маму, ни кого-либо другого не слушает, она говорит, словно завершает свой театральный монолог.

— Я не могла дать тебе ни известия о том, что я жива. Потому что жизнь моя была куплена ценой, которая меня не устраивала. Потому что я не смогла бы соврать тебе больше. Потому что я призналась бы, как тогда, про маму и про папу. Я не могла открыться тебе и никому не могла.

Потому что Санктина просто маленькая девочка, которая не смогла жить со своим выбором.

— Какой помощи вы хотите? — повторяет мама, чуть повысив голос. Она смотрит на меня, и я хочу сказать ей, что у нас есть кое-что важное, нужное, что мне только нужно в

минусовую реальность, чтобы узнать, что делать дальше.

Санктина вздрагивает, потом взгляд ее возвращает себе привычный холод, она улыбается, и ничего в ней не остается от запутавшейся девочки, совершившей глупость.

— Я была уверена, что боги находятся очень далеко от нас. В далеком космосе, на окраине Вселенной. Я думала, они пришли из пустоты. Но они пришли из места, которое связано с нашим миром. Строго говоря, их отделяет от нас тонкая метафизическая пленка. Представьте, словом, что это москитная сетка. Они не могут проникнуть за нее, но вода, льющаяся на сетку, проникает сквозь крохотные ячейки. Так и с нами. Мы кормим их. Нашим страданием.

Это неправда, думаю я, не страданием. Не только. Я вспоминаю, как Ниса расплакалась от счастья, и мне это становится абсолютно понятным. Санктина думает, что ключ — страдание. Но ключ нечто сильное, яркое. Проникающее за сетку, о которой она говорит.

— Каждый из них находит свой способ питаться, и мы просто их стада. Они разделили нас между собой, они связали нас с ними самым тесным образом, установили связь, и теперь пользуются нами. Думаю, все они будут не против войти в мир. Ростки Матери Земли — нитки, которые моя Ниса протаскивает сквозь сетку. Эти нитки должны разорвать сеть. Не думаю, что это плодотворно скажется на мире. И вместе с Матерью Землей придут и другие. Однако, есть среди богов один, который совершенно не желает вырваться сюда. Этот бог уже здесь.

Санктина разворачивается к папе, смотрит на него. Папа говорит:

— Сейчас не лучшее время называть меня животным, если я правильно понимаю.

— Твой бог разделил себя и вложил часть в каждого из вас, так?

Папа молчит, не подтверждая и не опровергая ее слова.

— И он единственный живет на этой земле, и его одного устраивает текущее положение вещей. Я хочу, чтобы ты обратился к нему, Аэций. Он может помочь нам всем. И я знаю, как обратиться к нему быстро. Тебе нужно попасть в мир, который Ниса открывает, когда один из ростков покидает ее.

Мне хочется засмеяться. Все становится ужасно забавным, ведь именно ко мне обратился мой бог, желая нас всех спасти.

— Эта потрясающая идея пришла к тебе в голову, когда ты похитила моего сына?

Санктина улыбается самым обворожительным образом, говорит:

— Я просто совместила полезное с полезным. Я предпочла бы любого другого варвара, не страдающего умственной отсталостью.

Это снова обидно. Она даже не выслушала нас, ни Нису, ни меня.

— Санктина, пожалуйста, — говорит Грациниан. — Если ты не прекратишь быть такой тварью, любой предпочтет разрушение мира общению с тобой.

— Им выгодно помочь нам, — говорит Санктина. — Зачем стараться?

— Жадина, если Аэций попытается тебе помочь, мы должны получить все гарантии, что ты отпустишь детей. И что для Аэция это будет безопасно.

— Я не знаю, безопасно ли это, — говорит Санктина. — На мой взгляд — не очень.

А я вспоминаю, сколько раз мы были там, и сколько раз путешествие туда оказывалось безопаснее, чем реальность. Опять смешно.

— Отличное предложение, но, пожалуй, разбирайтесь с паразитарной инвазией вашей девочки сами.

— Милый, мир может погибнуть, мы должны...

— Октавия, мы просто предоставим им возможность самостоятельно и вручную разбираться с этой проблемой. Монотонные занятия расслабляют. Вам обоим не повредит расслабиться.

— Я сейчас убью его, — говорит Грациниан.

— Пока рано.

— А потом убью тебя.

— Прекратите, — говорит мама. — Пожалуйста, нам нужно попытаться договориться.

— Ты просто хочешь помочь своей сестре, я это понимаю, однако мы здесь не за этим.

— Аэций, пожалуйста, ты ведь не сможешь жить с этим знанием.

— Это будет сложно, но я постараюсь.

— Он не серьезно! — говорит Кассий.

— Кассий, я плачу тебе не за порочащие меня сведения.

— Ты согласен или нет?! — спрашивает Грациниан. — У нас слишком мало времени, чтобы дурачиться.

— И на истерики времени тоже нет, — говорит папа. А мама говорит:

— Если бы ты пришла раньше, мы бы действовали вместе! Но ты дождалась, пока все начнется, ты похитила нашего сына!

— Я не хотела впутывать тебя, так получилось! Про бога варваров я догадалась и вовсе не так давно. Воображала, ты...

— Не смей меня так называть!

— О, потрясающе, давай вести себя, как маленькие девочки!

Все ругаются, и с каждой репликой все громче, только папина тональность остается прежней, но отчего-то его все равно слышат. Папа вообще выглядит забавно, он единственный не опускает оружия и стоит точно так же, как и раньше — уперев ружье в затылок Санктины, как будто телу его еще не поступил другой приказ, и он как механизм может сохранять одну и ту же позу невероятно долго. Все обвиняют друг друга во всем, от невмешательства до попытки разрушить мир, от предательства до потери элементарной вежливости. У меня ощущение, словно взрослые и высокопоставленные люди вернулись в школьные годы, причем не в самом лучшем настроении.

А потом я слышу голоса Офеллы и Юстиниана, и радуюсь им невероятно. Я слышу:

— Господа!

Я слышу:

— Мы хотим помочь!

И еще:

— Мы кое-что знаем!

Но никто больше словно бы не замечает, что Юстиниан и Офелла хотят сказать, и только папа говорит:

— Мне кажется, молодые люди хотят внести какое-то предложение.

Он кивает в сторону Юстиниана и Офеллы. И несмотря на то, что папа говорит тихо, все замолкают, тишина становится звенящей. Я, наконец, ощущаю, что язык у меня двигается, и еще прежде Юстиниана и Офеллы говорю:

— Синие слюни!

И говорю громко, словно бы все еще ругаются и нужно их перекричать.

Мама и папа смотрят на меня, и я впервые думаю, что меня не понимают даже собственные родители.

Все глядят на меня, и я понимаю, что оказался в центре внимания. Наверное, это здорово, хотя я и очень смущен. Мама обнимает меня, папа говорит:

— Марциан, поясни свою мысль.

А потом он улыбается, и я чувствую, как он рад видеть меня и как волновался все это время.

Грациниан подмигивает мне, а Санктина смотрит на меня странно, со смесью грусти и злости, словно бы я совсем не понимаю, о чем говорю. А я понимаю, лучше нее понимаю.

Я слышу голос Юстиниана, розы шевелятся, а потом Юстиниан неловко, опираясь на свою ограду, встает.

— О, мы были в темном сердце современной культуры Парфии! И взяли там немного синих слюней!

Мне кажется, Юстиниан ничего не проясняет, просто решил щегольнуть определением, поэтому я говорю:

— Это очень важно.

И понимаю, что сам объясняю не лучше. Из лилий по соседству с Юстинианом слышится голос Офеллы, похожий на голос какой-нибудь нимфы, в нем не хватает только журчания ручейка, но он так нежен от слабости, и мне становится Офеллу жаль.

— Дело в том, что мы были в реальности, которую открывает Ниса. Мы называем ее минусовой, но это сейчас неважно. Там бог Марциана пытался связаться с ним. Помочь ему, то есть Нисе, то есть, нам.

Мне кажется, даже сквозь стену белых лилий, я сейчас увижу, как покраснеет Офелла, которой так не нравится оговариваться.

Я говорю:

— Наш с папой бог сказал достать слюну изгоев из коконов. Но я не знаю, почему. С помощью нее они спасаются от разложения, но ведь Ниса не разлагается. Но я уверен, что мой бог знает, что делает.

— Если я правильно понимаю, — говорит Грациниан. — Твой бог безумен.

Я киваю, хотя вряд ли он видит это, потому что моя мама обнимает меня, а лилии обнимают нас. Папа идет к Офелле, помогает ей подняться, о чем-то спрашивает, но так тихо, что я не слышу. Она кивает, потом качает головой. Я говорю:

— Сейчас я тоже буду вставать. Еще пять минуточек. Ладно?

Мама улыбается мне и гладит меня по голове. Санктина говорит:

— Итак, твой бог порекомендовал тебе достать слюну изгоев. Поэтому вы полезли в лес, так?

— Так, — киваю я.

— Ниса говорила об этом. Я думала, она просто пытается заставить нас вытащить вас из-под земли. Мне казалось, это уловка.

Я качаю головой, а папа поднимает над головой флакон от духов, наполненный светящейся, синей жидкостью. В темном подземном саду флакон становится сапфировой звездой, настолько он яркий. Все тут же оборачиваются к нему и к Офелле, которая опирается на моего папу.

Санктина говорит:

— Это ведь мой...

— Совершенно точно нет, — говорит Офелла. — Просто у нас похожие вкусы.

Папа улыбается, а Грациниан и Кассий даже смеются, и тогда Офелла краснеет, но в синем отсвете румянец ее выглядит темным, похожим скорее на синяки.

— Я вам сейчас все объясню, — говорит Офелла. — С самого начала. Постараюсь, чтобы вышло недолго.

Я ощущаю, что мое самочувствие постепенно возвращается к тому, чем закончилось. Я вполне сыт, я выспался, только устал от бега. Словно бы и не было этих четырех месяцев. Это очень легко вообразить, и от этого жутковато.

Я сажусь на землю, кладу голову маме на плечо, и вместо наполненного запахом лилий, воздух снова становится фиалковым. Офелла и Юстиниан оба опираются на папу, и мне это приятно. Мой папа волнуется за моих друзей. Кассий смотрит на Юстиниана странно, и я думаю, что, наверное, он приехал сюда не только из безоговорочной верности папе. Думаю, что ему не все равно. Эта мысль еще приятнее.

А потом я, наконец, перестаю думать о том, кто, как и на кого смотрит, хотя это безусловно самое приятное занятие за последние четыре месяца. Я сосредотачиваюсь на словах Офеллы. Она рассказывает о ноле и двух единицах, которыми он разрешается, рассказывает о минусовой реальности и ее обитателях, даже бога-ребенка не забывает. Если бы рассказывал я, получилось бы спутано, а если бы рассказывал Юстиниан, получился бы моноспектакль. Я восхищаюсь речью Офеллы, и мне нравится, какими синими делает ее глаза свет от флакона.

Только клубникой она, наверное, больше не пахнет. Все мы пахнем землей и зелеными стеблями цветов.

Офелла завершает свой рассказ на том, как наша жизнь прервалась на четыре месяца. Она говорит:

— Я думаю, что это противоядие.

А я говорю:

— Но мы не уверены. Только не потому, почему обычно не уверен Юстиниан...

— Потому что мы живем в неопределенной, изменчивой ситуации постсовременности для тех, кто не знает.

— А потому, что мой бог ничего не говорил о том, как их использовать. Будет ужасно, если сделать что-нибудь наугад. Надо выяснить.

— Поэтому, — говорит Юстиниан. — Нам нужно к Нисе. И мы снова отправимся в минусовую реальность. Марциан спросит своего бога еще раз, и тогда все прояснится. Может, это ингредиент для чего-то. Лучше узнать.

Мама смотрит на меня взволновано, но ничего не говорит. Она доверяет мне и понимает, что я должен сделать для того, чтобы быть счастливым человеком. Иногда, чтобы быть счастливым, надо делать вещи сложные и неприятные, например, доставать синие слюни.

— Мы можем как-нибудь помочь вам? — спрашивает мама. Офелла говорит:

— Я думаю, вы скорее будете мешать. При всем моем уважении, мы там уже были. И мы больше знаем.

Санктина смеется, и я понимаю, что ей нравится Офелла. Для меня это странное открытие — я знаю, что она умеет любить и что умеет причинять боль тем, кого любит, но

что кто-то может быть ей по-человечески приятен — странно.

Офелла уже снова увлечена собственным рассказом. Она говорит:

— Я не понимаю только одного. Ведь когда я невидима, я попадаю к нашей богине. Марциан был у своего бога и говорил, что там звезды и пустота. Все это вовсе не похоже на реальность, в которой были мы.

Санктина достает свой портсигар, закуривает и протягивает сигарету Офелле. Кажется, будто они разговаривают вдвоем. И в то же время лопатки у Санктины болезненно сведены, словно бы она чувствует мамин взгляд. Она — маленькая девочка, которая хочет об этом забыть.

— Дело в том, что каждый из них, подходя к границе сетки, может влиять на реальность. Практически любым образом. Здесь они всемогущи. Между этим миром и тем есть тонкая прослойка, которая бесконечно гибка и покорна их воле. И там каждый из них способен построить свое вечное царство. Собственно, туда мы попадаем после смерти, а некоторые из нас, вроде твоего народа, путешествуют в их царства и при жизни. Но при всем своем великолепии, это не более, чем мыльные пузыри на тонкой границе между реальностью со знаком минус, как ты ее назвала, и реальностью со знаком плюс.

— Но я не понимаю, — говорит Офелла. — Все равно не понимаю, как тонкая граница может их сдерживать. Они ведь способны влиять на наш мир.

— Бесконечно сильно. Фактически, единственное, чего они не могут — проникнуть сюда. Я выяснила кое-что Офелла, я посветила этому свою жизнь, но это так мало по сравнению с тем, что остается скрытым.

— Я думаю, — говорит папа. — Вы успеете обсудить свои научные наблюдения и позже. Разве ты забыла, что где-то наверху у тебя заперта девочка, которая страдает по твоей вине? Может быть, лучшим выходом будет пустить их к ней и дать им помочь ей, если ты не способна на это.

Голос у папы спокойный, лишенный какого бы то ни было осуждения, но Санктина поворачивается к нему резко, как иногда делают очень разозленные кошки. А потом кивает.

— Да. Грациниан, давай-ка отведи их. А мы с вами останемся здесь.

— Я хочу знать, что происходит с моим ребенком, — говорит мама, но я качаю головой.

— Нет. Я не хочу, чтобы ты попала в минусовую реальность. Оставайтесь здесь, хорошо?

— Кроме того, — говорит Грациниан. — Вы наши гости, должны же вы проявить хоть каплю тактичности, раз уж ваш сын снова в порядке, правда?

И тогда мама шипит:

— Не смей говорить об этом так, словно это затянувшаяся шутка, Грациниан.

— Октавия, — говорит папа мягко. — Думаю, Марциан знает, как будет лучше.

Я говорю:

— Знаю. Вам нужно остаться здесь, пока мы пойдем туда. Вот и все. И надеюсь, что вас накормят, потому что вы выглядите очень изможденными.

Оба они вправду бледные-бледные, а под глазами у них синяки, и от них глаза выглядят глубже и темнее. Они четыре месяца думали, что я мертв, и они тоже невероятно устали.

— Все будет в порядке, — говорю я. — Доверяйте мне.

Мама и папа переглядываются, а потом одновременно кивают.

— Жадина, — говорит мама. — Нам с тобой нужно поговорить.

Санктина кивает. Она, в отличие от мамы, больше не показывает своих чувств. Словно бы мамы здесь и нет, или это чужая женщина, вовсе не ее сестра. Я думаю, что человек,

который совершил в жизни столько ошибок, наверное, очень боится. Это как ходить и думать, что каждый шаг может закончиться падением. Санктина боится, что всякое ее слово теперь может только навредить. И даже если она кажется невозмутимой, я знаю, что это неправда. И что она, хоть и мертвая, но все-таки живая внутри.

Идти оказывается легко, но странно. Так бывает, когда садишься на велосипед после того, как совсем его забросил. Непривычное положение пугает и приводит в восторг. Я пошатываюсь, и мама поддерживает меня. Мне так надежно, как не бывало даже дома. Они здесь, со мной, они пришли ко мне, и они меня защитят. А мне нужно просто делать то, что поможет Нисе и никого не бояться. Мне не страшны даже боги, пока родители со мной.

Кассий треплет Юстиниана по рыжим волосам, говорит:

— Молодца.

— Я думал, ты будешь расстроен, найдя меня живым, — говорит Юстиниан, но Кассий мотает головой.

— Все, хватит с тебя. Небось захотел, чтобы я расплакался от счастья и сказал, что люблю тебя, как сына. Твоя мать волнуется.

— Знаешь, это уже больше, чем я ожидал.

Когда я оказываюсь рядом с Офеллой и Юстинианом, они выпускают папу и обнимают меня, так крепко, что у меня внутри все приятно трещит. Я говорю:

— Привет.

Офелла говорит:

— Четыре месяца. Подумать только. Мои родители, наверное, сошли с ума.

И я обнимаю ее, потому что, наверное, и вправду ее родители места себе не находят. А Юстиниана обнимаю потом, потому что соскучился и по нему.

Он говорит:

— Знаете, в какой-то момент мне там понравилось. Я, конечно, не лучшим образом распорядился временем, проведенным под землей, но изрядно расслабился и роман написать по этому поводу смогу.

— Отметив, что все совпадения и факты случайны, — говорит Грациниан. — А теперь меньше разговоров и больше заботы о моей милой дочурке, которой ответственные за ее рождение люди совершенно ничем не могут помочь.

— По крайней мере, у вас есть самоирония, — говорит Офелла.

— Да, — говорит Грациниан. — Самоирония — очень хороший способ сбежать от себя такого, какой ты есть. Но да ладно, время депрессии прошло, настало время мании!

Мы поднимаемся по лестнице, вся конструкция с виду кажется мне шаткой, но на самом деле она крепкая, и цветущие под моей рукой поручни из зеленой меди освежающе холодны. Я смотрю на родителей. Они, Кассий и Санктина стоят внизу, в цветах, и отдаляются от меня, когда я поднимаюсь выше. Всюду розы и лилии, и мама с папой смотрят на меня чуть запрокинув головы. Все похоже на кадр из какого-то красивого фильма.

До свиданья, мама, до свиданья, папа, думаю я.

Санктина стоит ко мне спиной, ей словно бы и совсем не интересно, что будет дальше. Красивый фильм ей явно наскучил. А Кассий даже махает мне рукой на прощание, но выглядит все равно издевательски.

За дверью оказывается мир, которого я так долго был лишен. Он красивый и весь золотой, так слепит меня, что болят глаза. Грациниан говорит:

— Я всегда думал, что это просто чудо, что она у нас есть. Что Мать Земля выбрала

Санктину, что нам невероятно повезло.

— А вам повезло, — говорю я. — Ниса очень хороший человек.

Грациниан треплет меня по волосам, и это не оказывается неприятно. Его длинные ногти постукивают меня по макушке.

— Мы не верили ей, когда она говорила, что вы можете помочь. Это так глупо звучало.

— Не глупее, — говорит Юстиниан. — Чем лишить ее друзей. И чем сделать ее сосудом для разрушения границы между мирами. Словом, я бы не сказал, что вы с супругой в принципе поступали умно. Надеюсь, что это аффект. Впрочем, это общеромантический сюжет, в котором любовь родителей ведет к детской смерти.

— Юстиниан! — говорит Офелла.

— Я мыслю в категориях культуры!

— Ты ведешь себя, как социопат!

— И не говорите, пожалуйста, так, будто Ниса смертельно больна, — говорю я.

Мир смертельно болен.

Грациниан кивает и мгновенно становится грустный, человечный, и даже зубы больше в нем не страшны. Я касаюсь рукой его плеча. Я говорю:

— Мы ей обязательно поможем.

И тру глаза, потому что золото не перестает быть ярким, и мне кажется, что я больше никогда не привыкну к свету. Юстиниан и Офелла справляются быстрее, а на меня накатывает приступ головной боли, такой мучительный, что позолоченный потолок покрывается темными пятнами.

Нису держат за запертой на засов дверь, и мне становится противно.

— Вы серьезно? — спрашиваю я. — Она же человек. Нельзя просто запереть человека.

— Эти ребята и нас заперли, — говорит Юстиниан. — Если ты правильно помнишь. Думаю, у них нет принципов.

Грациниан отодвигает засов, ногой толкает дверь. Он говорит:

— Прошу!

И я знаю, что ему страшно. Страшно не от того, что могут ростки Матери Земли внутри его дочери, а от того, что он сделал с ней. Многие наши поступки не кажутся нам ужасными, пока мы не посмотрим на них с другой стороны.

Комната красивая, здесь и кровать с бархатным красным покрывалом, и покрытый изумительной золотой сеткой потолок, и освещение, которое почти не жжет мне глаза, и мраморный пол. Ниса сидит на кровати, и она просто Ниса. Не замученная Ниса, только одинокая. Папа был неправ, Санктина и Грациниан не издевались над ней, в конце концов, она их дочь. Они просто заперли ее.

— Ниса! — окликаю ее, и она оборачивается. Лицо ее закрыто золотой, вытянутой маской. Маска не изображает животное или профессию, или что обычно должны изображать маски. Она вообще ничего не изображает и я даже не знаю, на что она похожа.

— Выглядит так, будто ты снимаешься в артхаусном порно, — говорит Юстиниан.

А, точно. Вот на что она похожа. Маска закрывает все ее лицо и охватывает шею. Я думаю, мертвой Нисе она не доставляет никакого дискомфорта, ей не душно и не жарко, но все же дико видеть ее такой. Маска некрасивая, отлитая на скорую руку, без прорези для носа, а прорезь для рта закрывается железной пластиной.

И, наверное, Грациниан и Санктина каждый вечер вычищают эту маску от червей, не зная, закончатся ли они когда-нибудь.

Мы кидаемся к Нисе, обнимаем ее, и она глухо говорит что-то. Офелла отдергивает пластинку, закрывающую Нисе рот, и я слышу ее голос, вижу ее губы.

— Ребята!

Некоторое время мы сидим обнявшись, потом Юстиниан говорит:

— Думаю, тебе стоит снять маску.

Ниса качает головой, что явно дается ей тяжело.

— Нет. Так безопаснее. Они вас выпустили! Слава моей богине, они выпустили вас!

— Так не безопаснее, — говорит Офелла. Она показывает Нисе флакон. — Мы здесь чтобы помочь.

— Ты потеряла мою книгу? — говорю я. Ниса кивает. Странно не видеть ее лица, разговаривая с ней, когда я так соскучился.

— Будет сложно, но мы справимся, — говорю я.

— Я так люблю вас. Я так боялась за вас!

— Подожди, — говорит Юстиниан. — Не время плакать. Мы должны ввести тебя в курс дела. И, безусловно, наступит время для рыданий.

Мы рассказываем Нисе все, что обсуждали с родителями, моими и ее, и когда я не говорю, то рассматриваю ее комнату. Она богатая, комфортная, но безликая, хотя здесь множество вещей Нисы, но она не стала их раскладывать, у них нет своих мест. На тумбочке у кровати стоит стеклянный бутон, такой же как в саду, розовый от остатков моей крови. Получается стеклянная роза того оттенка, который непременно понравился бы Офелле.

Окон нет, но у одной из стен, в клетке с тонкими прутьями и цветами на вершине, сидит тоскующая канарейка и не поет.

Я бы тоже, наверное, не пел.

Когда мы заканчиваем рассказ, Ниса молча нащупывает замочек маски на затылке, открывает его. Она все это время могла снять маску, да только не хотела. Золотая конструкция падает к ногам Нисы, и я вижу ее неизменное, красивое, бледное лицо. На фоне маски ее золотые глаза казались незаметными, но вот они снова два драгоценных камня.

— Я думала, я проведу здесь всю вечность. В конце концов, это было бы лучше, чем разрушить мир, но...

— Но не лучше, — говорит Юстиниан. — Между собой и миром, я бы выбрал себя. Свобода это доэтический императив.

Ниса не спрашивает, готовы ли мы сделать это для нее. Мы готовы, поэтому мы здесь. Она говорит:

— Сейчас, мне нужно настроиться. Забавно, мои предки держат меня взаперти и в маске, как будто я персонаж извращенного фильмаца, а я не могу найти себе повод для печали вот так сразу.

Мы сидим в молчании минуту, а потом Юстиниан говорит:

— Тебе помочь?

Ниса хмурится, качает головой. А я говорю:

— Интересно, если тебя кормили мной, откуда во мне столько крови, если они держали меня под землей четыре месяца?

— Они возвращали тебе кровь через землю. Кровь слуг и животных. Они питали Мать Землю, а Мать Земля питала тебя.

А потом она плачет, и я понимаю, что ей стыдно оттого, что она считает, что предала меня.

— Это неправда, — говорю я. — То, что ты думаешь.

— Они не должны были так с вами обращаться. Я не должна была втягивать в вашу жизнь моих чокнутых родителей.

Она прижимает руки к лицу, но Юстиниан говорит:

— Расслабься. Это вовсе не страшно.

Но это страшно. Гуталиново-черный, блестящий росток покидает ее глаз беспрестанно извиваясь, а рубиновые слезы омывают его и оставляют дорожки на ее щеках. Я зажмуриваюсь.

Как мне поговорить с богом без книжки, думаю я.

Как нам спасти Нису?

И мне не нужно открывать глаза, чтобы почувствовать, как мир перевернулся. Становится холодно, и я слышу далекие помехи прерванного эфира, а когда открываю глаза вижу, что эти звуки вырываются из клюва канарейки.

Ниса встает с кровати, идет к выходу и распахивает дверь. Она говорит:

— Давайте действовать оперативно, мне надоело страдать на публику.

Юстиниан говорит:

— Никогда не думал, что страдание заставляет тебя трансцендировать в настолько буквальном смысле.

Мы выходим в зал, я вижу у двери Грациниана, он как картинка в телевизоре, исчезает и появляется. Он стоит у стены, глаза у него закрыты, а голова запрокинута. Мне неловко смотреть на него в таком настроении, это очень личные моменты в жизни каждого человека, свое и для себя страдание, которого никто не видит, и оно именно такое, потому что никто его не видит. Когда я очень страдаю, я раскачиваюсь. Грациниан стоит совершенно неподвижно, появляясь и исчезая, его отражение никак не меняется. Потому что это отражение мертвого человека.

Теперь я могу смотреть на зал без боли в голове, он больше не золотой, черно-белый, как и все вокруг. Но больше и не красивый, сияние уходит, а стены, потолок и пол покрываются тонкими трещинками. Мне кажется, пол вздымается, словно нечто большое дышит под нами.

Некто очень большой.

А если прислушаться, можно и свистящее дыхание услышать. Я думаю, это Мать Земля, а может и что-то совсем иное. Но нам в любом случае нужно бежать, и в какой-то момент меня охватывает ощущение радости. Мы одни в целом мире, никому нас не остановить и даже не увидеть. Нечто похожее я испытывал в аэропорту, но сейчас ощущение кристальное и звенящее, такое, какое и через много лет можно будет воспроизвести с первоначальной интенсивностью.

Мы взбегаем по лестнице, на бегу Ниса говорит, совершенно не задыхаясь:

— Я, правда, слабо представляю себе, как мы справимся без твоей книжки.

— Я буду очень стараться. Просто отвези нас в самое звездное место здесь, ладно?

— Я думаю, мы просто выберемся на поверхность, — говорит Ниса. — Вряд ли мы успеем доехать до обсерватории. Но нам ведь нужно от него совсем немного. Пусть только скажет, что делать!

Ниса идет к лифту, которого я вовсе не заметил, когда мы шли мимо в первый раз. Она говорит:

— И, мои предки чокнутые, я их ненавижу, но никто не издевался надо мной.

— Мы думали, что тебя мучили.

— Они все-таки не самые плохие люди во Вселенной. Просто немного больные.

В лифте свет ведет себя совершенно неподобающим образом, он загорается и гаснет, и отражается от стен, путешествует, словно брошенный мячик, и лица моих друзей то и дело тонут в полной темноте. У Офеллы глаза светлые, в них белесые точки, в реальном мире они желтые, как светлячки.

Она ловит мой взгляд, лицо ее делается строгим, словно она хочет сказать, что сейчас не до этого, а потом растерянным, как будто ей странно понимать, что мне нравится ее рассматривать.

Я отвожу взгляд, вижу зеркало. Там я, и я себе говорю:

— Не успеете. Найди воду, и обещай мне, что ее будет много.

— Стой, ты ведь можешь сказать сейчас! Скажи нам, что делать!

Но я молчу, я рассеянно смотрю в ледяную гладь зеркала, а затем оно трескается и мелкой крошкой осыпается к моим ногам.

— Он хочет воды, — говорю я. — И хочет, чтобы ее было много. Мы можем достать много воды? Может, нам пойти в ванную и там сделать много воды?

— У меня есть идея получше, — говорит Юстиниан. — Вправду очень хорошая идея. Обожаю вандализм!

Лифт останавливается, и мы выходим в темноту, в центре которой горит большое, стеклянное солнце. Мало что видно, а самое главное — звезды высоко-высоко над нами, над слоем земли и песка, до них не достать. Я говорю:

— Только, Юстиниан, нужно вправду много воды. Ты к этому готов?

— Безупречно готов. Ниса, где трубы водоснабжения? Откуда вода идет вверх? И главное не перепутай их с трубами канализации.

— Ты серьезно?

— В реальности вещи не разрушаются, если разрушить их здесь, так?

— Вроде.

— Жаль. Но тем не менее, я хочу пробить трубу водоснабжения. Воды будет море! Давай же, милая, ты должна знать или, по крайней мере, догадываться.

— Я по-твоему сантехник?

— Ты живешь под землей, неужели ты на них ни разу не натыкалась?

Нож светится у Юстиниана в руке, как его горящее сердце. Отчасти так и есть. От негс исходит свет больший, чем от огромного светящегося шара над нами, свет живой. Я вижу очертания парфянских подземных домов, вижу ограждения, вижу далекие каменные стены, и мы бежим к ним, догадавшись обо всем одновременно.

Хотя гордиться особенно нечем, довольно очевидно. Юстиниан взрезает камень легко, меня всегда удивляла способность преторианцев с такой удивительной простотой уничтожать материю, которая мне кажется совершенной в своей стабильности.

— Да, они здесь! Марциан, а ну иди сюда! Подсади меня, я хочу сделать все красиво.

— Давай ты все просто сделаешь, — говорю я, но вообще-то намного лучше будет сразу ему помочь, потому что Юстиниан упрямый.

— Я встану тебе на плечи, и ты меня поднимешь.

Звучит намного легче, чем происходит. Если скосить глаза, я вижу на своих плечах ботинки Юстиниана. Они блестящие и как будто из крокодиловой кожи.

— Теперь поднимайся.

Это оказывается очень медленно и очень-очень тяжело.

— Хватит?

— Выше!

— Теперь хватит?

— Еще выше!

— Может, сейчас хватит?

— Марциан, ты же высокий, статный варвар, хватит делать вид, что тебе тяжело.

— Но мне тяжело, ты тяжелый.

Наконец, мы замираем в положении очень шатком. Ниса говорит:

— Это тупо, я не буду тебе помогать, если ты упадешь, и у нас нет на это времени.

А Юстиниан вонзает свой преторианский нож в камень, а затем в железную трубу, вода шипит, испаряясь, а металл скрежещет. Юстиниан с ругательствами заталкивает в дыру металл, видимо чего-то особенного хочет добиться, а потом я понимаю, чего. Нас окатывает водой, струя не то чтобы очень мощная, но нам не надо многого, чтобы потерять равновесие, я оступаюсь и мы падаем. Поврежденные трубы выплевывают в нас воду, и напор становится все сильнее. Он направлен вперед, а не вниз, и в какой-то момент поток воды зависает над нами, как хрустальная радуга. Здесь, конечно, при всем моем уважении к фантазии Юстиниана, он ни при чем. Минусовая реальность работает так, как ей вздумается, она хаотична и нестойка.

Мы с Юстинианом лежим, и я спрашиваю:

— Ты как?

А у него спина болит. Он так и отвечает. У меня тоже болит. А девочки говорят:

— Ого!

Водяная дуга огибает нас, а потом капли сыпятся вниз, и некоторые из них — снежинки, а некоторые превращаются в пар. Все вокруг становится совсем неясным, потому что капли, кажется, испускают свет, а искусственное солнце — нет. Мы поднимаемся и смотрим, как вода распространяется. Поток становится все толще, все прозрачнее, он искрится.

— Какая сказочная красота, — говорит Офелла. Губы ее влажные и приоткрыты. Я вспоминаю, как мы с Нисой танцевали под дождем. Я запрокидываю голову, и прямо перед моим носом в тонкое облачко пара превращается капля. Я кружусь, ловлю горячее и холодное, смеюсь.

— И вправду хорошая идея, Юстиниан.

— Ты мне льстишь, это все-таки не я!

Вода расходится в разные стороны. Мы в хаотичном мире, в таком прекрасном мире. Ливень и снег, и огромная, словно стеклянная, дуга над нами, готовая обрушиться в любую секунду. Капли светятся в темноте, как звезды, и я понимаю, что мой бог имел в виду.

— Смотри на меня! — кричу я. — Смотри, здесь много воды! Здесь все, как ты хотел!

Здесь все прекрасно. Я ловлю капли, они падают мне на язык, разбиваются, оказываются холодными или обжигающими, я ловлю их в ладони, как крохотные бриллианты, которые тут же исчезают.

— Смотри, как красиво! Смотри! Теперь ты все расскажешь оттого, что здесь красиво?

Я прыгаю в луже и поднимаю светящиеся брызги.

— Это как на вечеринке, где я переборщил с наркотиками!

— Наркотики это плохо, Юстиниан. Так что, пожалуйста, помолчи!

Офелла кажется почти такой же восторженной, как тогда, когда нас едва не убили ежевичные кусты, а она парила надо всем, как девочка из книжки, которую похитили лесные и прекрасные существа.

Сейчас она девочка из моря, счастливая от воды и прыгающая по лужам вместе со мной.

А потом я останавливаюсь и говорю:

— Серьезно, где ты? У нас мало времени!

И хотя капли в темноте так похожи на падающие с неба звезды, его там нет. Я смотрю вниз, в лужу, и вижу себя самого. Я говорю:

— А разве мы куда-то спешим?

Мимика вовсе не моя, не человеческая вообще, будто я пытаюсь выразить все эмоции сразу. Глаза мои и не мои — снова.

— Расскажи нам, что делать?

— С чего бы мне начать? — спрашивает он, но говорю я. Падающие капли делают мое отражение изменчивым, гибким, и все светится так сильно. Ощущение от его слов странное, они вырываются из меня, но я не думаю о них, как о других словах, которые говорю. Я просто сосуд, и он наполняет меня, как вода наполняет выемки в асфальте, и так появляются лужи.

— Ладно-ладно, малыш, я вправду хочу вам помочь! Но как помочь людям, которые не знают, что происходит? Ты знаешь, почему я пришел?

— Потому что ты хороший и любишь нас.

Он смеется, и я делаю это за него, хотя мне вовсе не смешно. Он стучит моим пальцем по моему виску.

— Думай-думай, Марциан. Как может быть иначе? Как? Как? Как угодно! Любым другим образом!

Он почти срывается на крик, потом зажимает мне рот, и я вздыхаю.

Он говорит, отнимая мои руки от моего лица:

— Ну да ладно. Все это бессмысленно, и у меня есть только один, но фатальный, недостаток — я не должен существовать. Но я существую. Реальность огромна, Марциан, и ты ничего о ней не знаешь.

Капли разделяются в воздухе, разлетаются надо мной, словно маленький салют.

Вправду, я не знаю ничего, а реальность бесконечно велика, и большинство ее законов не знакомы не то что мне, а даже Офелле.

Я говорю:

— Пожалуйста, просто скажи, как нам сделать так, чтобы с Нисой все было в порядке. Зачем нам слюни?

— Я держу интригу, поэтому помолчи и позволь мне вручить тебе подарок, которого никто не заслуживает. Сущность колониализма в чем?

Я оборачиваюсь к Юстиниану, говорю:

— В чем?

Голос у меня звучит совсем иначе, и Юстиниан отшатывается, а потом говорит:

— В том, чтобы распространять историю.

Мой бог смеется, затем садится на землю и смотрит в лужу, в которой отражается водяная дуга, кажущаяся такой маленькой. Я уже не знаю, кого я вижу в отражении. Деперсонализация, так это называется, мне говорила Атилия. С ней такое бывает, когда она смотрит в зеркало и видит кого-то другого, и ей кажется, будто она не имеет ни малейшего

отношения к своему телу.

Я касаюсь пальцем воды, исчезая из отражения, я говорю:

— В месте за пределами всех мест, то есть тут, жили нездешние существа, мы будем называть их так. Нездешние существа бродили в темноте и одиночестве, в отражении мира, который вы называете настоящим. И хотя они могли развлекать себя, отстраивая целые царства, и хотя они могли влиять на реальность за пределами этой, и хотя они были могущественны и ничем не схожи со смертными, они пребывали в холоде и темноте, свойственным этому месту. Да, малыш, в темноте и холоде. А что хочется делать в темноте и холоде? Отвечай!

Мое отражение в луже снова замирает, я смотрю в собственные глаза, и в то же время это глаза моего собеседника.

— Спать, — говорю я. — От холода и темноты хочется спать. Когда я не могу заснуть, я открываю окно.

— Да, — говорит он, то есть тоже я. — Мы уснули. Один за одним, мы уснули, потому что жизнь здесь со всем ее потенциалом к могуществу, скучна и безрадостна. Мы не способны на вещи, на которые способны человеческие существа, мы различны с вами, мы иные внутри. Но каждый из нас проснулся, волна вашего страха окатила нас. Мы купались в ней, потому что не знали страха прежде. Отголоски вашего мира донесли до нас то, чего мы так долго ждали. Присущие жизни чувства. Мы заинтересовались вами и подошли так близко к границе, как никогда. Всего лишь тень тени, Марциан. Мы хотели большего. Тогда мы чуть подбодрили вашу великую болезнь. Мы сделали ее сильной, мы сделали ее непобедимой. Она имела все шансы стать просто очередной эпидемией, одной из многих. Но не стала. Мы были словно дети в живом уголке, мы хотели, чтобы вы танцевали для нас. Мы показали вам себя, и когда вы обратились к нам, это было словно... Я не знаю, мы устроены по-разному, Марциан. Наверное, это было словно твое дыхание. Не дыши, Марциан.

И я не могу дышать, и как ни стараюсь, воздух остается недостижимым. В голове у меня мутится, и жарко становится в горле и легких, а в глазах — темно.

Он говорит:

— Дыши, — и я вдыхаю сладость, удивительную сладость жизни, в груди становится свободно, неизъяснимо хорошо становится внутри. Упоительно, правильно, по-настоящему.

— Страшно? — спрашиваю я у самого себя. — Страшно это потерять? Ваши чувства, любовь, преклонение, ненависть, страх, страсть. Мы ощущаем их, каждую минуту, от каждого из живущих. Скажем, бог твоего друга Юстиниана чувствует всех преторианцев разом. И это позволяет ему не заснуть. Дыхание, вы для нас как дыхание. Без вас мы не умрем, много хуже. Мы уснем. Как это забавно, невыразимое могущество и тотальное бессмертие, и такая жалкая зависимость от милых, белковых созданий, населяющих обратную сторону мира.

Он говорит обратная сторона мира. Для него обратная — наша.

— Но я, как настоящий герой, справился с этим. Я, мой дорогой Марциан, изменчив и текуч, ни в чем не постоянен. То, что вы называете безумием — качество моего разума, позволившее мне не просто наслаждаться вами — быть вами. Я разделил себя, я существую здесь и там одновременно. И если мои дорогие нездешние друзья могут лишь уловить оттенок помады на губах твоей милой мамочки и восхититься ее фиалковыми духами, то я могу ее целовать. Я проживаю ваши жизни, сотворив вас из себя. И я не хочу, чтобы мои

друзья испортили вечеринку. Я хочу жить, наслаждаться страданиями и счастьем, а они превратят ваш мир в такое же пустынное и безрадостное место. Нет-нет, я хочу сохранить себя. Тебя. Вас.

— Тогда подскажи нам, — говорю я. Мне не становится обидно оттого, что он говорит. Не только потому, что это говорю я. Мы — источник жизни для существ страшных и непонятных нам, но чувствующих себя беспомощными перед нами. Мне хочется помочь им, а не злиться на них. Но еще больше хочется помочь Нисе.

— Нет-нет, последнее знание, с которым тебе предстоит жить. Они хотят пробраться сюда. Все до единого и каждую секунду. Мать Земля, как вы называете ее, подошла к этому ближе всего. Но этого желает любой бог. Ваш мир постоянно проверяют на прочность. И вовсе не потому, что вас хотят уничтожить. Все преследуют мирные цели. Все-все. Они любят вас. Они хотят быть с вами. Они привязались к вам, словно животные, которых прикармливаешь. Им так одиноко, Марциан.

Он шепчет быстро-быстро и жутко.

— Безумно, страшно, невероятно одиноко, и они хотят быть с вами. Боги любят человечество.

— Но разве ты не можешь объяснить им, что это приведет к нашей гибели?

— Мы так разобщены, Марциан, что у нас нет даже общего языка. Думаю, я ничего не могу объяснить. Мы общаемся...по-другому. Ощущениями. Вряд ли они поймут меня правильно. Я стараюсь держаться от ребят в стороне. Я тот парень, которого не ждут на вечеринках, помнишь?

Он подмигивает мне.

— Но у меня большое будущее. Так-то, Марциан. А теперь слушай внимательно, что я скажу и запомни навсегда. Возьми шприц потолще, как у милой медсестрички, и введи в сухие вены своей дорогой подруги этих слюней да побольше. У нее нет беды изгоев, она, в отличие от них, уже мертва, ее кровь не двигается и не обновляется. Противоядие не исчезнет из нее. Его может хватить лет на пять, а может на сотню или две. Этого ответа у меня нет, но мы отложим катастрофу. Ростки Матери Земли будут продолжать свое путешествие в вашей почве. Но им понадобится тысячелетие, чтобы охватить всю землю. Те, что еще остались в твоей Нисе, перестанут расти и выползать. Это заморозит их внутри. Изгой едят вас, несчастные мои, потому что в вас больше человеческой природы. А они уже почти мы. Только слабенькие и смертные. Их слюна — экстракт человека, человечности. Он заморозит части богини в Нисе, но и, как бы это сказать, взрослой ей тоже никогда не стать.

— То есть, она не сможет питаться кем-то, кроме меня?

— Ее развитие остановится. Силы не будут расти. Но, думаю, это приемлемая цена за всю вашу милую Землю? Ты все запомнил, Марциан?

— Я люблю тебя.

— А я тебя нет, ты глупый совсем, ты меня расстраиваешь.

Он смеется, а потом я спрашиваю:

— Разве Мать Земля не уничтожит Нису за это? И нас?

— У Матери Земли, мой дорогой, времени больше, чем у всех планет вашей Солнечной Системы. Ей, в сущности, все равно случится все завтра или через тысячу лет. Ее ростки в земле делают свое дело, и ваш паллиатив ей вовсе не интересен.

Только это совершенная неправда, потому что асфальт трескается и вздымается. Дуга из воды становится просто водой и окатывает нас всех.

— Бежим! Главное продержаться, пока нас не выбросит обратно! — кричит Ниса.

И мы бежим, потому что она двигается за нами, состоящая из земли, камней, асфальта и всего того, что над ней.

Но вообще-то как от нее бежать, если она — все здесь? Вся здесь. Асфальт пульсирует под ногами, вздымается, словно при дыхании. Она волной поднимается за нами, асфальт теперь похож на беспокойную реку в шторм. Вода устремляется к нам, и поток едва нас не сносит. Мы ведь сами под землей, мне кажется, Мать Земля должна предстать перед нами в своем истинном виде.

Но она всегда под, она никогда не над, и мы не увидим ее даже здесь, в ее темном, холодном доме.

У Офеллы в рюкзаке единственное лекарство от ее любви. Поэтому каждый из нас присматривает за Офеллой больше, чем за собой. Стоит ей упасть, разбить флакон, и нам придется возвращаться к изгоям.

А это время. И хотя вряд ли Ниса успеет выплакать столько ростков, чтобы покрыть ими всю землю, однажды это все равно приблизит конец света. Странное дело, мы волнуемся так, словно все произойдет завтра. Все произойдет, может, через тысячу лет, но это наша проблема. Потому что мы здесь и сейчас, а исправлять что-то нужно как можно быстрее. Так мне говорила учительница, и хотя к тому времени, как случится нечто ужасное, на земле будут жить, наверное, уже ее правнуки, и будут они немолодыми, нужно помочь ей и им сейчас.

— А если разделиться? — кричит Юстиниан.

— Ты с ума сошел?

— Кто-то должен был подать совет из фильмов ужасов!

Я думаю, надо же, а ведь Мать Земля делает почти то же, что и наш бог. Она разделила себя на части, как и он, чтобы заново прорасти. Так делают некоторые растения, особенно те, что обычно обитают на подоконниках.

Мать Земля хочет существовать, и это желание понятное и чистое, каждый чувствует, что оно означает. Интуитивный императив, сказал бы, наверное, Юстиниан, но Юстиниан бежит рядом со мной.

Наверное, думаю я, мы уже вполне подготовлены для соревнований по бегу. В конце концов, не каждый человек на земле способен убежать от богини. И успокаивать себя тем, что можно хотя бы бежать тоже не каждый способен.

Я оборачиваюсь и вижу, как проваливается за нами асфальт, рушится, трескается и падает в ничто. А это ее пасть, думаю я, вот так она ее открывает. У ее пасти нет дна. Поглоти врага, думаю я, но мы же тебе не враги?

Теперь мотивация бежать зрима и осязаемая. Когда Мать Земля была чем-то под, неизвестным существом за поверхностью всего, было вовсе не так страшно. В конце концов, неясным оставалось, что она может сделать. Теперь все очевидно, раскрытая пасть поглощает все.

Это заставляет меня утроить усилия, хотя нужно бы учетверить. Простора у нас достаточно, улица широкая, но вся она поглощаема. Я даже не жалею, что мы не на поверхности, потому что весь мир принципиально поглощаем.

Довольно страшная мысль, но не страшнее, чем ощущение высоты, которая пролегает под нами. Асфальт, словно он и вправду река, то и дело меняет свое течение. И мы, наверное

инстинктивно, не отдавая себе отчета, следуем по руслу этой реки. В конце концов, сворачивать просто страшно.

Я думаю, а сможем мы бежать пять часов, если мы здесь так же надолго, как когда были в самолете? Ниса сможет, поэтому стоило бы передать флакон ей. Я хочу об этом сказать, но потом меня поражает совсем другая, странная мысль.

Мой бог говорил, что все преследуют мирные цели. Никто не ведет войну просто так, никто не мучает из желания посмотреть мучения, никто не хочет убивать для убийства.

Я разворачиваюсь и говорю:

— Бегите, я ее задержу!

— Ты с ума сошел, или это еще одна типичная фраза из фильмов ужасов, чтобы придать происходящему атмосферности?

И как он даже в таком состоянии может выдавать настолько длинные и запутанные фразы? Провал двигается ко мне быстро-быстро, это еще называется стремительно.

— Пожалуйста! — прошу я на удивление тихо. — Доверьтесь мне. Вы ведь мне доверились один раз, а сейчас доверьтесь еще раз, хорошо?

— Но ты не можешь просто...

— Просто стоять, — говорю я, и неожиданно Ниса произносит:

— Мы будем тебя ждать.

Я оборачиваюсь и вижу, что они бегут. Но останавливаются метров за пять от меня. Да, думаю я, это хорошо. Вдруг, если я выйду из поля зрения Нисы, то так тут и останусь. Еще я останусь здесь, если Мать Земля поглотит меня. Я уже был внутри нее, и это не было приятным опытом, а четыре месяца моей жизни распрощались со мной, но я познакомился со всякими интересными существами вроде червей и цветов довольно близко.

Я вспоминаю, как держал Нису над пропастью, и как мне было страшно. Но это была просто репетиция, иллюзия моего бога без истинного понимания масштаба. А вот теперь я стою перед настоящей бездной, и она несется ко мне, и поглощает все-все вокруг, и симпатичные оградки, и машины, и здоровенные куски асфальта — все проваливается туда, в земляную пустоту, не имеющую дна, в прореху в мироздании.

Большую, беззубую и очень страшную. Я думаю, что мой бог мог пошутить, а мог ошибиться. Он безумен, и ему, наверное, не стоит доверять так сильно.

Но и мне не стоит доверять так сильно, ведь я дурак, только вот мои друзья дают мне шанс. Так я должен дать шанс моему богу.

У меня во рту, прямо под языком, бьется и отдает вкусом крови мое сердце.

— Ничего не бойся, Марциан, — говорю я себе.

Потому что бояться нечего. Хоть мир нестоек, изменчив, постоянно находится под угрозой проникновения, разрываем противоречиями, страшен и безразличен, он построен на любви.

И все преследуют мирные цели.

Я закрываю глаза и раскидываю руки (потом что так делают в фильмах, когда момент пафосный и красивый), я ощущаю, что готов. У меня внутри так странно, что этого даже нельзя объяснить. Наверное, если смешать смелость и решительность, но добавить к ней эйфорию, которая наступает у нас от осознания, что все мы одно целое, и получится это чувство.

Но я не уверен, потому что его нельзя описать.

В мирных целях, думаю я, они хотят разрушить нас в мирных целях. У меня перед

глазами полная темнота, но я не боюсь.

Зачем бояться тех, кто не желает тебе зла?

А когда я открываю глаза, то вижу, что пропасть останавливается ровно передо мной, так что едва касается моих ботинок, как слабая морская волна, которой не стоит остерегаться. Там внутри множество розовых червей, они извиваются и переплетаются. Там внутри переплетены корни и стебли растений, потенциал жизни. Там внутри глубоко-глубоко, и оттого безупречно темно.

Мне все-таки страшно, но не только. Я говорю:

— Привет.

Никто не отвечает мне, и я смотрю в темноту, даже чуть наклоняюсь.

— Я понимаю, что ты просто хочешь чувствовать то же, что и мы. А мы не хотим умирать, потому что умирать — страшно. И ты знала это, и дала своему народу самый лучший из всех даров. Ты очень любишь их, я понимаю. И больше всего на свете хочешь быть с ними. Ты не знаешь, что я говорю, так? Но ты можешь ощутить. Слова нужны, чтобы давать форму чувствам. Я не из твоего народа, но зато я здесь, в твоём мире. Ты меня слушаешь?

Бездна тяжело дышит, ползают черви, прорастают цветы. Жизнь и смерть разверзлись прямо передо мной.

Я понимаю, что в этой истории все желали только любви. Ниса просто хотела, чтобы мама и папа любили ее. Ее папа просто хотел спасти женщину, которая была ему дорога. Ее мама просто не смогла остаться в мире своего бога, а потом не смогла жить с выбором, который совершила, отказавшись от дочери, потому что тоже способна к любви. А Мать Земля, что ж, она хотела лишь быть с теми, кого любит. Она никому не желает зла.

Я говорю:

— Наверное, тебе не страшно и не плохо, у тебя есть вечность, чтобы прийти сюда, ты столько ждала и способна прождать еще столько же, не заметив ничего.

Дыхание остается размеренным, мне кажется, что когда земля подо мной поднимается, я могу соскользнуть в пропасть, но Мать Земля совсем бережная со мной.

— Ты не хочешь нам зла, но если ты придешь к нам, мы можем умереть. Я видел, что стало с одной тарелкой. То, что здесь разрушается — разрушается до основания. Представляешь, если кто-нибудь порежет палец? Мы не приспособлены для того мира, который ты приведешь с собой. Это очень грустно, и я бы хотел тебе помочь.

Сердце мое переполнено к этому существу такой жалостью, что на секунду мне кажется, я готов пожертвовать всем миром ради него, настолько оно большое и пустое без нас.

Только так делать нельзя.

— Представь, что с нами будет без тебя, а с тобой без нас? Ты ведь ощущаешь, что я говорю? Я понимаю, что словами твое желание не унять. Да, я в детстве очень хотел малиновую крышечку от клубничной газировки. Смешно звучит. В общем, я играл с крышечками, потому что они хорошенькие, и крышечки нравились мне больше самых дорогих и самых красивых игрушек. Но обычно на клубничной газировке были красные, и только ко Дню Избавления было несколько малиновых, там был какой-то особенный лимитированный вкус, про который мне было неинтересно. В общем, я добрался до крышечки прямо на улице, я был нетерпеливый, и она провалилась в сток. Я пытался ее поймать, но не успел, пытался найти другую бутылку с малиновой крышечкой, но не смог.

Это было глупо, но я грустил много дней. И мне уже была неинтересна крышечка, хотя я мог попросить у родителей, и они достали бы мне ее. В общем, я только сейчас понимаю, почему мне было грустно. Я почти что-то обрел, а потом оно исчезло. И мне тогда нужна была именно та крышечка, свалившаяся в сток, и никакая другая на целом свете.

Я говорю:

— Ты вообще понимаешь, о чем я тебе рассказываю? Уже даже я не очень понимаю. Но ты должна знать, как сильно может быть чувство потери. Только в отличии от меня, ты никак не сможешь отказаться от своей идеи, да? Она нужна тебе, как мне воздух. Ты очень хочешь к нам. Я понимаю.

Я и не думаю, что смогу переубедить древнюю богиню, но мне хочется дать ей немного, хоть капельку, тепла, до которого она так голодна.

— Любовь лучшая пища, чем ненависть, лучший воздух. Представляешь, как тебя любят? Ты хочешь, чтобы боялись?

Слова льются сами собой, но не так, как когда за меня говорил мой бог. Когда говоришь от сердца, не нужно думать, а сердце мое от страха совсем близко, под языком, так что тем более достаточно просто говорить.

Медленно-медленно пропасть запахивается, и земля поднимается вверх. Я говорю:

— Я знаю, что тебе тоскливо. Но, может быть, ты найдешь в себе силы оставить все, как есть. Не потому, что так правильно, а потому что пока это единственный выход для всех нас.

Земля схватывается, яма уменьшается, и вот Мать Земля снова вырастает передо мной. Она похожа на холм чернозема, в котором цветы перемешаны с червями. Она дышит.

Я не оборачиваюсь к друзьям, я знаю, что они ждут меня, они думают, я отвлекаю ее и даю нам всем время. Это вовсе неправда, я не герой. Она и не хотела нас пожирать. Мы были здесь, настоящие, живые, и она хотела быть ближе к нам. Как и бог ребенок, который наблюдал за нами, как и все другие боги, которых мы могли встретить здесь.

— Ты ведь не злишься? — спрашиваю я. Она не отвечает, и я думаю, ведь у нее есть язык, ведь Санктина говорила с ней еще когда принадлежала совсем другому богу. Неужели, она не станет говорить со мной? Или она не может найти слов?

Может, когда один из собеседников говорит так легко, второму становится сложно?

Мне хочется защитить ее, а не победить. Как странно, думаю я, самые могущественные существа во Вселенной так нуждаются в том, чтобы их любили, и сами не понимают этого.

Мир ровно такой, каким его описывают психотерапевты, все в нем нуждается в любви и в принятии, а действует плохо только от невыразимого голода.

Я протягиваю руку к Матери Земле, она вздымается, холм большой, намного выше меня. И он все растет, и мне кажется, что в конце концов он может достать до самого неба. Стать настолько же высоким, насколько глубока была бездна, открывавшаяся мне раньше.

— Прости нас, — говорю я. — Прости, что мы не можем тебе помочь. Может быть, это только пока. Может быть, однажды мы найдем способ сосуществовать вместе, и это будет золотой век, как у Гесиода или что-то вроде. Учительница заставляла меня читать Гесиода, чтобы я стал пессимистом. Называется "Труды и дни", хотя вряд ли ты читаешь по латыни.

Я протягиваю руку, и хотя мне немного страшно дотрагиваться до нее, потому что иллюзия внешнего спокойствия может распасться в любой момент, я глажу Мать Землю.

Ощущение такое странное, словно бы я никогда прежде не касался земли. Она насыщенная, мягкая и влажная, под пальцами у меня черви, они извиваются и живые.

Я чувствую не только розовых червей, но и тех, других, что живут в Нисе, их не

перепутаешь никак и ни с чем. Их так много, и все они сейчас кажутся мне очень ласковыми, как руки.

Я прикасаюсь к великой силе, но не только. Я прикасаюсь к существу, которое не может без нас, и это все равно, что к маленькому ребенку. Я закрываю глаза и стараюсь дать ей почувствовать абсолютно все, что ощущаю сейчас. Наверное, для них это нечто вроде коктейля. Если смешать печенья, мороженое, молоко и шоколад, будет очень здорово.

Если смешать сочувствие, страх, тепло и благодарность будет как?

Теплая, темная земля, колыбель жизни, касается меня в ответ.

А потом ощущение исчезает, я просто больше не чувствую ее, хотя рука моя остается на том же месте. Мы стоим на пустой и целой улице, под одним из искусственных солнц в месте, где всегда ночь.

Я не знаю, что она могла сообщить мне и могла ли вообще, но теперь ее нет. Нельзя сделать кого-то счастливее, просто поговорив с ним. Но я надеюсь, что ей хоть немного, а все-таки легче. Беззащитное существо, которое предстало передо мной, может поглотить весь мир, но я думаю, оно не будет этого делать. Я смотрю туда, где еще секунду назад была она, а теперь только круг света от большого светильника. Я глажу рукой в воздухе, уже понимая, что она не почувствует.

— Прости, — говорю я.

Позади меня тяжело дышат мои друзья, то есть Офелла и Юстиниан, а Ниса не дышит вовсе. Флакон у нас, и мы знаем, что с ним делать.

А это значит, что пора возвращаться домой.

Странно идти по пустой улице, странно думать, что минуту назад она была разрушена до основания. Странно, безумно странно, понимать, какая это хрупкая штука — мир, и как много в нем тех, кто просто хотел тепла.

Мы идем в полном молчании. Не потому, что нам грустно или мы проиграли, а потому что каждому есть над чем подумать. Но мне нравится, что мы думаем надо всем вместе, не разлучаясь.

Широкая, нетронутая улица с оградками, пристройками, гаражами, все это целое и настоящее, но я видел, как оно уходит под землю.

— Деконструкция нашего сюжета удалась бы, — задумчиво говорит Юстиниан. — Если бы прямо сейчас Офелла разбила флакон.

В этот момент Офелла, может быть от волнения, спотыкается, но Юстиниан ее ловит. Она говорит:

— Ты придурок.

Затем говорит:

— Спасибо.

И мы снова надолго замолкаем. Через некоторое время Нисе удастся сказать:

— Мы слышали, как ты говорил с богом.

— Да, — отвечаю я. — Мой бог это я.

— Это было странно.

— Ага, — говорю я.

И думаю, что больше всего на свете мне сейчас хочется спать. Все мы очень вымотались. На сколько хватит нашего лекарства? Мы спасли мир? Нет, конечно, нет, но мы дали ему время, а это тоже много.

Никто из нас не чувствует себя героем, нам странно думать о том, что мы сделали что-

то для всего мира, потому что мы делали все для Нисы. Она наш друг, и некоторое время она будет в порядке. Возможно, даже очень долгое время. А это, в конце концов, здорово.

Я улыбаюсь, и хотя мое сердце рвется от жалости к существам на другой стороне мира, я верю, что однажды всем нам станет уютнее в этой большой, разделенной надвое Вселенной. После того, как я едва не потерял папу, когда я думал, что мой бог меня обманул, мне казалось, что энтропия только растет. Но теперь я думаю о другом. Всякое живое существо умеет противостоять энтропии, так говорила учительница, живые системы сопротивляются хаосу и распаду. Мы противостояем. И это очень даже замечательно.

Я думаю, что у меня есть планы на будущее — я буду бороться с энтропией. Еще не знаю, каким образом, но обязательно буду.

— Я люблю вас, — говорю я.

— И я, — говорит Офелла.

— Да, безусловно, — говорит Юстиниан. А Ниса молчит, а потом останавливается остается позади и через некоторое время кидается к нам со своей странной, нечеловеческой быстротой. Она нас обнимает, а потом говорит:

— Так уж и быть. Только давайте без сентиментальностей, ладно? Я не хочу туда возвращаться. Не будем откладывать дело в долгий ящик, коли меня сразу же, как придем, Офелла.

— Что?! Я?!

— Ты же медсестра и хочешь стать врачом.

— Но это огромная ответственность.

— В отличии от того парня с гайморитом, она не подаст на тебя в суд, — говорит Юстиниан.

— В отличии от того парня с гайморитом, от нее зависит судьба мира! И откуда ты вообще знаешь про историю с тем парнем?

— Я слежу за тобой.

— Что за история? — спрашивает Ниса.

— Кое-кто не умеет прокалывать пазухи. История довольно отвратительная, но тебе может понравиться.

Офелла толкает Юстиниана так сильно, что он едва не падает на асфальт.

— А ты дикая! И тем не менее, лучше это сделать тебе. Смотри, Ниса уже создала нам проблемы, я устроил перфоманс, Марциан опять отвечал за социальное взаимодействие, что, кстати, странно, пора и тебе проявить свою компетенцию.

— Вообще-то это я объяснила вам про минусовую реальность и украла кокон!

Я улыбаюсь, мне нравится, что они спорят и смеются. Это просто и как-то правильно, а сложного больше ничего нет. Есть только мы и ровная лента асфальта, которая никуда не девается. Я думаю, наверное, папе очень страшно, если он не знает, что такое стабильный мир. Я видел, как он может быть хаотичным, и мне не понравилось, и я не смог бы жить там.

Интересно, думаю я, папин мир похож на минусовую реальность, или он совсем, совсем другой?

Нас встречает мама, и у меня появляется странное ощущение, словно это ее дом, наш дом. Она обнимает меня, спрашивает:

— Все в порядке?

Я киваю и только потом замечаю папу. Он стоит, прислонившись к ограде, взгляд его блуждает по мне и моим друзьям. Он говорит:

— Молодцы.

Как будто уже знает, что у нас все получилось.

— С чего ты взял...

Но закончить я не успеваю, папа говорит:

— Вы смеялись.

Мы возвращаемся домой к Нисе, и теперь, когда я знаю, что Нису любят, пусть и неумело, все здесь кажется мне лучше и словно бы роднее. Пока мы едем в лифте, я спрашиваю у мамы:

— Вы поговорили?

Она кивает, но это удивительно похоже на отрицательный ответ.

— За разговор все не исправить и не решить. Но мы начали. Лучше расскажи, как все прошло у вас.

Я хмурюсь, смотрю на своих друзей.

— Это долгая история, — говорю я. — Но я ее расскажу. Попозже.

Мы приходим туда же, откуда парфянская часть наших приключений началась — в столовую. Странно видеть Кассия, сидящего на подушках. Он мрачный, а когда видит Юстиниана, то еще больше мрачнеет, но выражение его лица все же выдает затаенное волнение.

— О, все же вернулся. Я подумал: отправить сопляков на самоубийственное задание — отличная идея! Может, не придется больше видеть твою морду! Но нет, не повезло. Это, кстати, странно. Мне обычно всегда везет. Может, на тебя сейчас что-нибудь свалится?

И тут я понимаю, как похожа манера говорить у Кассия и Юстиниана. Они говорят о разном, но одинаково. Кассий кажется мне настоящим отцом Юстиниана, хотя они вовсе не похожи внешне.

Санктина и Грациниан стоят, я вижу, что они держатся за руки, впиваясь ногтями друг другу в кожу.

— Все в порядке, — говорит Ниса. — Рады?

— Пшеничка, милая, мы так любим тебя!

Санктина сохраняет молчание. Лицо ее ничего не выражает. Но, учитывая обычное содержание ее реплик, молчание и есть проявление любви.

Ниса хмурится, потом говорит:

— Несите шприц.

Санктина проходит мимо. Я вижу, как она едва заметно касается пальцами макушки Нисы. Так осторожно, словно Ниса сделана из хрусталя. Грациниан смотрит Санктине вслед. Думаю, она уходит не случайно. Они с мамой встречаются взглядами, но очень ненадолго.

Мы все садимся на подушки, и я глажу мягкие кисточки на их уголках.

— Ну! — говорит Кассий. — Хочу историю! Я сюда ради этого приехал! И еще, потому что Аэций сказал, что, может быть, мы будем убивать!

— Я такого не говорил, ты себе это придумал, чтобы мотивировать себя на поездку.

Мы сидим вокруг стола без ножек и ждем, все нервничают, и когда Санктина возвращается со шприцом, я вздрагиваю.

— Теперь давайте сделаем это побыстрее, — говорит Офелла. Она достает флакон, сильное, синее свечение кажется мне удивительно красивым. Мне приятно от мысли, что оно окупится в Нису и спасет ее, и нас всех.

Шприц большой, с золотым поршнем и цилиндром из тонкого стекла.

— О, это шприц моего прапрапрапрадеда! Ему вырвали зубы за одну неприятную махинацию с финансами! И до сих пор не позволяют их отрастить. Но он, к счастью, уже не пользуется этой антикварной вещичкой, купил себе современную капельницу с рычагом. Я думал, мы его выбросили.

— Нет, Грациниан, ты сказал, что он дорог тебе, как память!

— Совсем забыл!

Они оба смеются, приобретая нечто человеческое, и я понимаю, что они рады. Офелла берет шприц, кажется, она волнуется еще больше оттого, что шприц антикварный, красивый и явно дорогой.

Все, кто сидел, встают. Это происходит не потому, что момент торжественный или заиграл гимн. Просто все волнуются и усидеть на месте никак не получается. Кажется, мы еще больше раздражаем Офеллу. Наверное, если бы здесь не было папы и мамы, она бы всех выгнала, даже Кассия выгнать бы не побоялась, а тем более двух вечных, кровадных существ.

Офелла осторожно открывает флакон, и я понимаю, что это самый напряженный момент из всех, гораздо напряженнее побега из дома Нисы, путешествия к изгоям, пробуждения в подземном саду и даже разговора с Матерью Землей.

Офелла тоже так чувствует, поэтому движения у нее медленные и осторожные. И хотя мы не столпились над ней (все стоят как можно дальше, почти у стен) Офелле от этого не легче.

— Ниса, — говорит она. — Подойди.

Но Ниса не подходит, пока Офелла не набирает полный шприц светящейся жидкости. Она вязкая, ничем не пахнет, и в шприц помещается все, что было во флаконе. Ниса говорит:

— Фу, гадость какая.

— Да, — говорит Офелла. — Приятного мало.

Наверняка, она радуется, что синие слюни скоро исчезнут из ее жизни навсегда. Ниса говорит:

— Пожелайте мне удачи.

Но говорю только я.

— Удачи!

Все остальные стоят неподвижно, смотрят, и момент оттого кажется невероятно торжественным, а он на самом деле вовсе не такой. Просто все боятся. Грациниан и Санктина снова хватаются за руки, папа обнимает маму, Кассий складывает руки на груди, а мы с Юстинианом стоим к Офелле ближе всех, даже чуть наклоняемся к ней.

Ниса садится перед Офеллой, подставляет руку и закрывает глаза. Вовсе не потому, что ей может быть больно. Офелла прикусывает губу. Наверняка, она чувствует себя еще хуже, чем на экзамене.

— Главное, найди вену, — говорит Юстиниан, а я говорю ему:

— Тшшш. Хватит издеваться.

И, наверное, он и вправду понимает, что хватит, потому что замолкает, и тишина становится напряженной, готовой зазвенеть. Офелла не выпускает из шприца воздух, как в фильмах, наверное, потому, что для Нисы это совсем неважно. И еще потому, что ни капли драгоценной жидкости нельзя потерять.

Вправду драгоценной. Сапфировой. Когда кончик иглы исчезает в руке Нисы, я

понимаю, что разучился дышать. Мне странно, голова кружится, и все вокруг кажется нереальным, словно все онемело, и я онемел вместе со всем.

Жидкости становится все меньше и меньше, но я не хочу, чтобы Офелла закончила, потому что это значило бы встретиться лицом к лицу с последствиями. Вдруг мой бог ошибся? Вдруг я ошибся, доверяя моему богу? Вдруг все было зря?

Все это — вероятности, а вероятности учительница говорила рассматривать, как веер. Во-первых потому, что веер похож на набор карт, и можно вытащить любую, а во-вторых, потому что каждое ребро смотрит в своем направлении.

Я закрываю глаза, а когда открываю, то оказывается, что синих слюней больше нет. Вернее, они есть, но в пустых венах Нисы. То есть, и вены Нисы уже не пустые. Все изменилось.

Некоторое время Офелла закручивает крышку на флаконе, и все пользуются этим временем, сохраняя молчание и убеждая себя, что все получилось. Никогда прежде я не чувствовал, что настолько хорошо понимаю всех вокруг.

Я словно бы со всеми на одной волне, и мы ясны друг другу. Какими бы мы ни были разными, мы волнуемся об одном и том же.

Как только Офелла закрывает флакон, все начинают говорить, словно из флакона исходило распространявшееся здесь молчание.

— Ты чувствуешь себя по-новому, Ниса? — спрашиваю я.

— О, умоляю, скажи мне, что это сработало, — говорит Юстиниан.

— Все в порядке? — спрашивает Офелла.

— Я думаю, она не может ответить на эти вопросы, пока мы не проведем эксперимент, — говорит папа. А мама говорит:

— Ниса, милая, мы никуда не спешим, помни об этом.

Наверное, маме странно, что Ниса — ее племянница.

Кассий говорит:

— А я думал, спешим!

Грациниан говорит:

— Не трогайте мою Пшеничку, у нее стресс, ей плохо!

И только Санктина молчит, а взгляд у нее цепкий.

— Тебя снова обидеть и довести до слез? — спрашивает Юстиниан.

— Если ты будешь обращаться подобным образом с моей дочерью, я отрежу твой член и скормлю его собакам.

— И вы можете говорить о том, что кто-то неправильно обращается с вашей дочерью после того, во что впутали ее! — возмущенно говорит Офелла. А Ниса вдруг кричит:

— Замолчите все!

И все снова молчат, а Ниса сидит очень сосредоточенная, а потом я вижу слезы, прозрачные слезы в уголках ее глаз. Такие же, как и раньше. Никогда я так не радовался человеческим слезам. Ниса плачет не оттого, что ей грустно, а от облегчения. В момент, когда первая слеза падает на пол, Санктина бросается к Нисе и обнимает ее, целует в макушку.

Санктина обнимает Нису настолько крепко, что у меня бы все кости заболели, но Ниса неживая, и ей нравится.

Папа говорит:

— Что ж, поздравляю тех, у кого все в порядке. В том числе, конечно, и нашу семью. У

нас с Октавией через семь часов встреча с царем.

Грациниан и Санктина оборачиваются к нему, а папа смотрит на меня, а потом на маму.

— Мы обсудим рост цен на нефть, — говорит он задумчиво. — А перед этим я хочу немножко отдохнуть. Понимание законов, по которым функционирует экономика, требует от меня очень много сил. Марциан, я полагаю, что ты хочешь обсудить все произошедшее со своими друзьями?

Я говорю:

— Да. Но еще я хочу домой.

Мама и папа одновременно кивают. Грациниан говорит:

— Спасибо, я этого не забуду, Аэций.

— Не забудешь, — говорит мама. — Мы в этом уверены.

Санктина все еще крепко обнимает Нису, снова целует ее. Ниса не улыбается, но глаза у нее совсем другие. Наверное, она очень довольна. Я тоже хочу ее обнять, но у меня будет для этого достаточно времени. Все не то чтобы закончилось, скорее уж поставлено на паузу, но и это настоящее счастье, и я думаю, что нам с друзьями стоит просто расслабиться и больше ни о чем не думать. Хотя я не уверен, что Офелла так умеет.

— Я провожу вас, — говорит Грациниан. — С превеликим удовольствием.

А Санктина вдруг оборачивается к папе и маме, говорит:

— Ты, животное, думаешь, что оказал нам услугу, что все прощено и забыто. Это не так, ты — убийца моего народа, и однажды ты ответишь за свои преступления.

Мама говорит:

— Совершенно недальновидно с твоей стороны. Я разочарована.

А папа оборачивается к Санктине только у самой двери, взгляд у него пустой и светлый, и папа смотрит на Санктину долго. А потом подмигивает ей.

В больших городах много предметов в магазинах и много дел у людей, вот как мне казалось. А Саддарвазех сверху оказывается совершенно другим. Шумный, золотой город, где никто, ничего не делает, потому что все время жарко.

Мне нравится гулять по нему, но больше всего нравится сидеть у фонтана и смотреть, каким становится от солнца камень, как шумят официанты и продавцы. Я не вижу тех, кого солнце заставляет разлагаться, но думаю, что многие здесь замерли в шаге от вечной жизни. Ниса говорила, что в Саддарвазехе слишком много таких, как она, и больше уже не нужно.

Народы здесь совершенно неопределимы, все ходят в черном, держатся одинаково и громко говорят на языке, который мне непонятен.

Город грязный, и оттого еще более душный. Мы с мамой и папой сидим у фонтана. И хотя мы в пустыне, под слоем песка — чернозем, в котором я спал и слышал грунтовые воды. Я понимаю, что недостатка воды в Саддарвазехе нет, но бьющая в апельсиновое солнце струя все равно кажется мне роскошью.

Фонтан похож на большой цветок, и струи воды сделаны, словно его опадающие лепестки. А в золоте и воде даже большое, пустынное солнце кажется мне ласковым. Когда холодные капли попадают мне на нос, я ощущаю себя еще счастливее, чем я есть.

А ведь я очень счастлив, потому что счастлива Ниса, а еще потому, что мы возвращаемся домой. У нас самолет через четыре часа, и Ниса едет с нами. Наверное, некоторое время она не захочет видеть родителей. И они хорошо ее понимают, я знаю. А если кто-то кого-то хорошо понимает, это значит, что у них есть шанс однажды снова друга друга полюбить. Кроме того, придет день, когда нам придется посмотреть на Нису и сказать, что нужно сделать что-то еще, чтобы спасти ее и все остальное.

И я надеюсь (не потому, что я ленивый), что это сделают ее родители, потому что учительница никогда не исправляла мои ошибки, говоря, что на это имеет право только тот, кто их совершил.

Мы с мамой и папой гуляем уже два часа и очень устали, так что сидеть у фонтана здорово. У нас пластиковые, золотого цвета креманки с мороженым, на них тот же мудреный парфянский орнамент, в котором видится всякое, и это красиво, а мороженое — очень вкусное. У мамы карамельное, у папы мятное, а у меня лимонное. На лимонном, теряющем свою форму кружочке моего мороженого лежит мармеладка, она одинокая, как взобравшийся на высокую гору путешественник, и мне жалко ее есть.

Папа говорит:

— Октавия, когда ты утверждала, что здесь совершенно невозможным образом жарко, я думал, что ты не совершишь эту ошибку в выборе десерта.

Мама ложечкой подцепляет мороженое, на котором тонкая волна карамельного соуса.

— С чего ты взял, мой дорогой, что я совершила ошибку?

— Судя по тому, что ванночка с карамельным мороженым была нетронута до тебя, ты первая, кто предпочел его сегодня.

— Общество, законы рынка, и даже биохимические реакции в моем организме не детерминируют мой выбор.

— Инсулиново-триптофановая зависимость детерминирует твой выбор.

Они смеются, и на обоих сразу становятся заметными лучи солнца. У папиных зрачков красные точки, берущиеся от отсвета, источник которого я не могу увидеть, хотя то и дело оборачиваюсь.

Я вожу пальцами по воде, как будто я водомерка. Хотя у водомерки, конечно, нет пальцев. У нее есть длинные лапки, из-за которых водомерка выглядит жутковатой. На самом деле она вполне добрая. Мама говорит:

— Хотите попробовать?

А я говорю, что меняюсь мармеладкой на карамельный соус. Папа добровольно отдает мне листик мяты, и теперь на вершине моего лимонного шарика что-то природное.

Я говорю:

— Там был одинокий мармелад, а теперь листок мяты. Значит, вырос лес.

— Лес на лимонной горе, — говорит папа.

— Звучит, как название романа твоего друга Юстиниана, — говорит мама. А папа добавляет:

— Однако, не хватает названия какого-то наркотика.

Мы смеемся, а потом я говорю:

— Он правда талантливый.

Мама говорит:

— Очень.

А папа говорит:

— Думаю, мое восприятие не заточено для того, чтобы улавливать тридцать процентов его речи.

Мы болтаем, словно бы просто приехали на отдых, и они совсем не ругают меня. С одной стороны я счастлив и страшно по ним соскучился, а с другой стороны я чувствую себя обманщиком.

Я опускаю руку и достаю из фонтана монетку, чтобы больше сюда не вернуться, кладу ее в капкан кармана.

Я говорю:

— Простите меня.

Мама и папа перестают смеяться, а папина ложка замирает в мятном мороженом.

— Милый, ты ведь понимаешь, что...

Но я не даю маме закончить, я говорю:

— Я не должен был сбегать так. И вообще сбегать. Если бы я был честным, ничего этого не случилось бы.

Они переглядываются, а потом обнимают меня за плечи, руки их встречаются, и оба они придвигаются ко мне. Я смотрю на папу. Папа любит видеокамеры, петь и меня. Мама любит сладкое, сцеплять пальцы и меня.

Мне становится так стыдно. И я все еще не могу рассказать им всей правды. Не могу рассказать, что теперь Ниса не съест меня, потому что не станет взрослой. А вообще-то должна была. Понимаю, что теперь мы с ней в пограничной позиции, не там и не здесь, ровно на той черте, где оба несвободны. Понимаю, как родителям страшно, что она пьет мою кровь, но они и половины всего не знают.

Это мамина племянница, и она питается от меня. Вот как все получилось, и они вне себя от волнения.

Папа говорит:

— Не должен был.

А мама говорит:

— Но сделал так. Это твой выбор, Марциан, который привел к последствиям. Может быть, случись все по-другому, эта история закончилась бы намного хуже. Жизнь очень непредсказуема, милый мой, иногда только ошибившись можно прийти к правильному ответу, хотя это и звучит парадоксально.

— Мы любим тебя и волнуемся за тебя, — говорит папа. Он смотрит куда-то вперед, на солнце, будто бы к красному кругу над нашими головами и обращается. — Но ты взрослеешь, и мы нужны тебе для того, чтобы помочь, а не для того, чтобы решать за тебя. Однажды, когда ты станешь очень взрослым человеком, примерно как мы, ты поймешь, что все это было не зря.

— Вы боитесь за меня из-за Нисы? — спрашиваю я. Они кивают, получается совершенно синхронно, странно, словно в фильме.

— Но мы доверяем тебе, — говорит папа. — Потому что любовь это не клетка.

— И не поводок, — говорит мама. — Ты делаешь то, что считаешь правильным и важным для себя.

— Это, безусловно, не значит, что мы позволим Нисе убить тебя, если что-то пойдет не так, — говорит папа. — Мне кажется, ты излишне свободно понимаешь контекст этого разговора. Тяжелые наркотики пробовать все еще нельзя.

— И неосторожно обращаться с электрическими приборами тоже, — добавляет мама.

Я смеюсь. А потом говорю очень серьезно:

— Ниса хороший человек. Одна из самых лучших людей, которых я знаю.

Мама улыбается уголком губ, а папа не улыбается вовсе. Это значит, они вспоминают о родителях Нисы. Я некоторое время слушаю чужую, незнакомую речь вокруг, а еще как журчит фонтан. Мама отставляет мороженое и раскрывает парасоль, у него кружевные края, сквозь которые свет и тень падают на ее скулы, давая им узор.

— Я встретил и твоего друга, папа. Его зовут Дарл.

Взгляд папы становится не рассеянным, как обычно, а растерянным.

— Я думал, он мертв, — говорит папа, а потом улыбается. — Дарл — великолепный социопат.

— Больше был похож на батрака.

— Он уехал просветляться, — говорит папа. — Наверное, у него получилось.

— Ты мне о нем расскажешь?

— У меня сложные отношения с памятью.

Папа знает об абстрактных вещах больше, чем о собственной жизни, но мне ужасно интересно, кто этот человек, в честь которого он хотел назвать меня.

— Ты хочешь увидеть его? — спрашиваю я. Папа качает головой.

— Нам не нужно друг друга видеть.

И я не понимаю, закончилась их дружба или нет. Но спрашивать кажется мне неловким, потому что у папы делается странное выражение лица, незнакомое, как будто вместо него рядом с нами сидит другой человек.

— Мама, а ты помирилась с тетей Санктиной?

Тетя Санктина. Как странно обрести вторую тетю за два месяца. Тетя Санктина и тетя Хильде. Мамина боль и папина тайна.

Мама смеется, смех у нее залиvistый, совсем девчоночий, он сливается с говором воды

в фонтане.

— Мой милый, — говорит она. — Все это не так просто. Но однажды мы помирился. У нас есть много времени. Я не ожидала, что у меня будет хоть секунда, а оказалось, что я могу жить со знанием того, что и она жива. Это все очень хорошо. Лучше всего на свете. И без тебя я не узнала бы об этом.

— Разве если бы ты не узнала, не было бы лучше?

Мама только качает головой и крутит в руке зонтик, узор скользит по ее бледной коже, и я вижу, что от солнца у нее на носу и щеках выступила россыпь веснушек, которые появляются у нее только поздней весной и исчезают уже в конце лета.

Кружева скользят передо мной, и купол зонтика похож на купол над детской каруселью.

Солнце садится, и от этого становится красным-красным. Дома из бело-золотых превращаются в рыжие, а в фонтане поселяются рубиновые искры.

И тогда я говорю, потому что это нужно сказать, потому что никогда не будет спокойно без этих слов.

— Папа, чтобы спасти тебя я совершил безумство.

Мама и папа остаются спокойными, и я продолжаю.

— Мы с мамой совершили. Все это было очень странно, как будто я хотел стать тобой, и все это было неправильно, и ты никогда меня не простишь, но я не могу быть нечестным.

— И твоя мама не могла, — говорит папа. Я спрашиваю:

— Когда?

А мама говорит:

— В тот день, когда ты сбежал, за пару часов до того, как мы узнали. Так получилось.

Я не знаю правильно она поступила или нет, но мне становится легче. Папа смотрит на солнце, ныряющее в песок. Он говорит:

— Нам всем придется учиться с этим жить. Это, собственно, и есть жизнь, Марциан. Ты делаешь что-то, а затем учишься тому, чтобы это не разрушило тебя.

Любовь тоже такая штука.

— Ты не перестанешь любить маму и меня?

Он качает головой.

— Твоя мама тоже многое мне прощала.

Некоторое время мы молчим, но я не чувствую, что мы разобщены. Если это и значит быть взрослым, то не так уж и страшно все оказывается.

Вот как мы сидим, и каждый думает о своем, все очень непросто. Солнце уходит, жара окончательно превращается в духоту, а вода становится цветной от зажженных фонарей.

А потом папа толкает меня в фонтан. Мама выставляет зонтик, который так и не закрыла, хотя солнце уже село, защищаясь от брызг, а мне становится хорошо и прохладно, и вся духота спадает мигом, уступая место свежести.

Папа хватает меня за руку, и я тяну его за собой, мама снова выставляет зонтик.

— Вы совершенно сумасшедшие, — говорит она, потом громко и отчаянно смеется, потому что это правда. Она помогает вылезти нам обоим, и я вижу, что папа улыбается.

— Зато теперь мы знаем, куда потратить два часа до самолета, — говорит мама. — Вернемся в гостиницу, и вы переоденетесь.

Мороженое в ее креманке — карамельное молоко, а зонтик в каплях воды. Папа берет маму под руку, и это смешно, словно бы она совсем не замечает, что папа весь мокрый.

Я оборачиваюсь к фонтану, сую руку в намокший, тесный карман и достаю монетку.

Все-таки Парфия не такое уж плохое место. Может и неплохо было бы попасть сюда еще раз однажды.

Монетка тонет в фонтане. Как и она, я скоро вернусь домой.

Больше книг на сайте - Knigolub.net